

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Дон-Аминадо

Антология Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

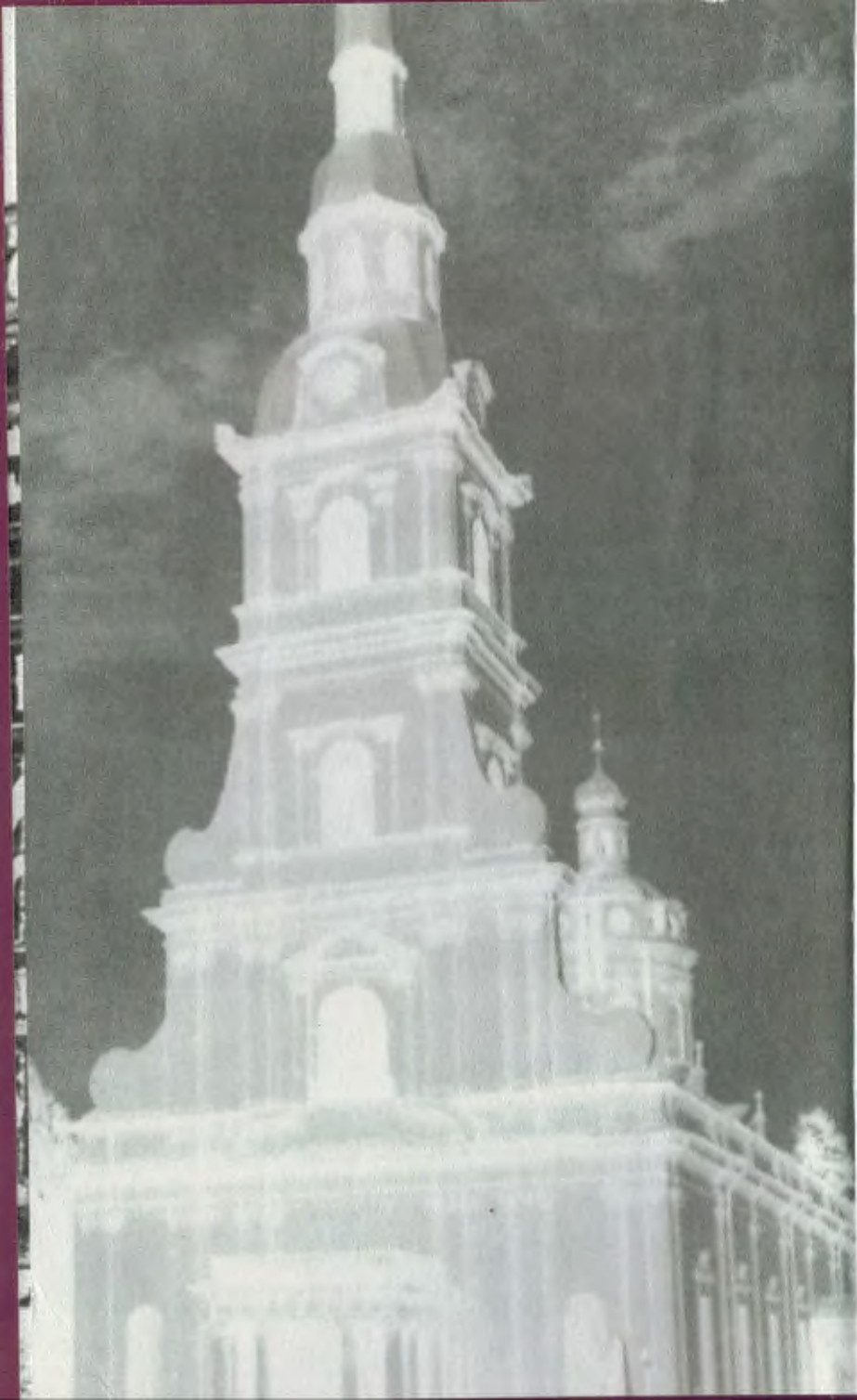
Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века











# Антология Сатиры и Юмора России XX века

Х - 2007г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Дон-Аминадо

Антология Сатиры и Юмора России XX века

---

# Дон-Аминадо

---

«ЭКСМО» 2004

УДК 882  
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4  
Д 67

## АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Дон Аминадо

Серия основана в 2000 году



*С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»*

### Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,  
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Составитель *Станислав Никоненко*

Дизайн переплета *Ахмед Мусин*

Дон Аминадо

Д 67 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 33. —  
М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 464 с., ил.

УДК 882  
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-06416-8 (т. 33)  
ISBN 5-04-003950-6

© Никоненко С. С., составление, предисловие, 2004  
© Кушак Ю. Н., составление, 2004  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2004



# Содержание

Ст. Никоненко. Последний сатириконец 12

Из книги «Наша маленькая жизнь» 21

УРОКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ 23

Электрификация мозговых полушарий 25

Руководство для начинающих 28

Чем ночь темней... 31

О чистоте языка 33

Всеобщая перепись 36

Акажу и прочее 37

Зарубежный письмовник 40

Наука стихосложения 42

Самовнушение 45

Коля Сыроежкин 47

Трудная публика 49

Жажда общения 52

Письма обиженных людей 55

Рассказ простого человека 58

Крик души 60

Переписка с начинающими	62
Летом	65
Несколько полезных сведений об Америке	67
О пользе воды	70
«У Лукоморья дуб зеленый...»	72

## Рассказы и фельетоны, не вошедшие в книгу

Интервью	75
Квартирология	77
О суевериях	79
Дневник Коли Сыроежкина	81
Кафе-натюр	84
Три русс 1	87
Три русс 2	89
Наша маленькая жизнь	93
	96

## Стихотворения

### ИЗ СБОРНИКА «ДЫМ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА»

О птицах	135
Константинополь	137
Свершители	140
Честность с собой	142
Про белого бычка	143
«Возвращается ветер...»	144
Все течет	145
	146

---

Колыбельная	146
Застигнутые ночью	148
Мантеон	149
Стихи о бедности	150
Резолюция	151
Черноземные порывы	152
Струженики моря	153
Семнадцатое сентября	154
ИЗ СБОРНИКА «НАКИНУВ ПЛАЩ»	
Города и годы	156
Жили-были	157
Матьянин день	158
Признание	159
Призыв к бодрости	161
Элегия	162
Бабье лето	162
Мост	163
Тяга на землю	164
Март месяц	166
Голубые поезда	167
Вариант	168
Дневник неврастеника	168
Юбилей	169
Любовь от сохи	170
«Ход коня»	170

ИЗ СБОРНИКА «НЕСКУЧНЫЙ САД»

Наша маленькая жизнь 172

Труды и дни 173

Подражание Игорю Северянину 176

Творимая легенда 176

Вершки и корешки 177

Аси – Муси 178

Последние римляне 179

Вечеринка 180

Крик души 181

Синоптикум 181

Стоянка человека 182

Родная сторона 183

Поэт 184

Познай себя 186

Признания 187

Ночной ливень 188

Как рассказать 189

ИЗ СБОРНИКА «В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА»

«Пролегомены» 190

Беловежская пуща 192

Без заглавия 192

Искания 192

Идиллия 193

Друг-читатель 194



Послесловие	194
Натюрморт	194
Лирический антракт	195
Биография	196
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ	
Дамы на Парнасе	198
Собрату по перу	199
Причина всех причин	199
Весеннее безумие	201
«Моралитэ»	203
Как провести лето?	204
Вольное подражание	206
«Сильным и достойным»	208
Ваня, дитя эмигрантское	209
Натюрморт	211
Эмигрантские частушки	212
Человеческое и кошачье	214
То, чего не знает Коля	216
Весенний бал	217
В альбом	219
Любовь разложившегося коммуниста	221
Домашнее	222

Как сочинять сценарий	224
Язык богов	226
Хрестоматия любви	227
Эмигрантская ода	229
А. А. Алехину	231
Любовь по эпохам	232
Наша маленькая жизнь	234
Сесенка	236
Летние рассказы	237
Четыре подхода	238
Только не сжата...	240
Без заглавия	241
Послание Демьяну Бедному	243
Ряд волшебных изменений	244
Без заглавия	246
Вешние воды	247
Отрывки из истории мира	249
Человек и его притоки	250
«Гамлет, принц вятский...»	252
Без заглавия	253
Оскомина	255
На кошачьей выставке	256
Снесни изгнания	258
«Дождь был. Слякоть. Гололедница.»	261

ОТНЮДЬ НЕ МЕЛОЧЬ  
(пародии, афоризмы, частушки) 263

ИЗ ЦИКЛА «ФИШКИ» 265

ИЗ ЦИКЛА «АЛЬБОМ» 272

ИЗ «АЛЬБОМА ПАРОДИЙ» 276

Частушки 281

АФОРИЗМЫ ИЗ ЦИКЛА  
«ТЬМЫ НИЗКИХ ИСТИН» 285

АФОРИЗМЫ ИЗ ЦИКЛА  
«НОВЫЙ КОЗЬМА ПРУТКОВ» 288

ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ 323

СОВРЕМЕННОСТИ О ДОН-АМИНАДО

И.А. Бунин. Дон-Аминадо гораздо  
больше своей популярности 436

Георгий Адамович Нескучный сад 436

Леонид Зуров. Дон-Аминадо 442

Андрей Седых. Сатирик в нем  
был сильнее юмориста 448

Александр Бахрах. «Поезд на третьем пути» 453

Зинаида Шаховская. Дон-Аминадо 457

Библиографический комментарий 463

## Последний сатириконец

—Дон-Аминадо — такого нет в Советском Союзе! — восторженно воскликнул Бабель в 1927 году, прочитав несколько фельетонов поэта в парижской газете «Последние новости». В устах знаменитого автора «Конармии» это была высочайшая похвала, тем более что в ту пору в Советском Союзе творили и Зощенко, и Ильф и Петров, и Евгений Замятин, и Пантелеймон Романов, и Михаил Булгаков, и Владимир Маяковский, и Валентин Катаев... Однако, сделав поправку на восторженный, взрывной характер Бабеля, следует тем не менее признать, что, быть может, такого универсального юмориста-сатирика в те годы на родине не было. Он писал сатирические стихотворения и стихотворные фельетоны, великолепные тонкие, психологически точные юмористические рассказы, пьесы, юмористические миниатюры всех разновидностей, наконец — афоризмы. Он втискивал в свои произведения такое разнообразие тем (от сугубо бытовых до политических), что вполне заслуживал наименование энциклопедиста (пусть и юмористического). И под конец жизни выпустил книгу мемуаров «Поезд на третьем пути», которая несомненно останется в русской литературе как яркий и емкий портрет эмиграции, портрет эпохи.

\* \* \*

Он был последним сатириконцем, литератором, который прошел школу самого знаменитого юмористического российского журнала XX века и оставшийся навсегда верным его принципам.

Некоторое время в парижском изгнании параллельно с ним работали и другие знаменитые сатириконцы — На-



дежда Тэффи, Саша Черный, Петр Потемкин, Валентин Горянский, но постепенно они уходили. Дон-Аминадо — последним. Правда, в Советском Союзе еще и после его смерти оставались бывшие соратники — Эмиль Кроткий, Михаил Пустынин, Георгий Ландау, но они утратили былой боевой настрой и ничем не выделялись на общем сером фоне советской послевоенной юмористики. Так что сопоставления здесь просто неуместны.

\* \* \*

Псевдонимы нужно выбирать умеючи. И на наш взгляд, Дон-Аминадо — не из лучших. Отдает какой-то претензией, цирком. Но, слава Богу, здесь можно, переиначив древнюю мудрость, сказать: не псевдоним красит человека. Псевдоним приняли, приняв и полюбив творчество того, кто за ним скрывался. Впрочем, он вовсе и не скрывался, и все, кто хотел, могли узнать, что фамилия его Шполянский, а зовут Аминад Петрович (если быть совсем точным, первоначальным его именем было Аминодав Пейсахович).

Родился наш герой в небольшом городишке Херсонской губернии Елизаветграде в 1888 году в мещанской вполне благополучной семье. Во всяком случае он получил среднее образование, а затем и высшее: сначала он учился на юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе, потом перевелся в Киев, где в апреле 1910 года в университете Св. Владимира сдал выпускные экзамены. В том же году переехал в Москву и начал работать помощником присяжного поверенного.

Разносторонность его интересов со студенческих лет поразительна: история и современность — дела российские и международные; литература русская и зарубежная; театр, цирк, живопись; языки — он владел древнегреческим, латынью, немецким, французским, писал и читал по-итальянски, по-английски, вторым родным был для него украинский (на нем он написал несколько стихотворений).

Он рано начал писать для газет и журналов — стихи, пародии, заметки, фельетоны, с 1914 года стал сотрудничать в «Новом Сатириконе». С начала мировой войны —

он на фронте, был ранен. Его впечатления — в сборнике лирических стихов «Песни войны».

Успеха эта книга не имела, он еще не обрел своего пути, он только приближался к нему, нащупывал его, хотя на литературном поприще сумел уже проявить себя разносторонне: и в стихах, и в прозе, и в газетном репортаже, и в пародии, и в театральных обзорах и рецензиях.

Не приняв Октябрьской революции, Дон-Аминадо уезжает на юг страны, а в начале 1920 года из Одессы эмигрирует в Париж.

Как и многие эмигранты, он не сразу обретает и постоянное пристанище, и надежную работу. Удачно начав в 1920 году работать фельетонистом в либеральной газете П.Н. Милюкова «Последние новости», он в результате интриг уже в 1921 году теряет это место. Впрочем, без работы он не остается: в 1920—1921 гг. он вместе с Алексеем Толстым редактирует затеянный ими детский журнал «Зеленая палочка». А после закрытия журнала — средства на его издание, естественно, вскоре иссякли — Дон-Аминадо возглавляет литературную часть театра миниатюр «Карусель», много гастролирует, попадает в Берлин, где тут же включается в литературную жизнь, публикуясь в местной русской прессе. Но вскоре, в конце 1923 года, он перебирается за океан. Ненадолго. Америка ему не понравилась. В апреле 1924 года он окончательно возвращается во Францию, и теперь уже на долгие годы его литературная судьба вновь связана с газетой «Последние новости».

В Париже в предвоенные годы издавалось множество русских газет. Но самыми крупными и читаемыми были две: «Последние новости» и «Возрождение». Если в «Возрождении» блистала своими фельетонами и рассказами Тэффи, то «Последние новости» привлекали читателей фельетонами, рассказами, стихами и афоризмами, автором которых был Дон-Аминадо.

Если собрать воедино все опубликованное Аминадом Петровичем в газете, то наверняка получилось бы несколько больших томов. Но писатель к своему творчеству относился строго, хотя внешне, казалось бы, не придавал ему серьезного значения, так, мол, пустяки... Поэтому и

выпустил всего лишь несколько книг, но зато в них трудно найти недостойные внимания. Сборники его стихов «Дым без отечества» (1921), «Накинув плащ» (1928), «Нескучный сад» (1935), «В те баснословные года» (1951), книга рассказов «Наша маленькая жизнь» (1928) раскупались очень быстро и пользовались огромной популярностью у читателей, причем не только, так сказать, рядовых, но и знаменитых. Достаточно назвать хотя бы два имени из числа тех рецензентов, кто откликнулся на книги Дон-Аминадо, чтобы понять то значение, какое придавалось его творчеству в Русском Зарубежье: Иван Алексеевич Бунин и Георгий Викторович Адамович. Один — последний — русский классик, нобелевский лауреат, другой — признанный всеми лучший литературный критик русской эмиграции.

Одним из даровитых поэтов эмиграции, которые «искренняя и верно отражают подлинное настроение», назвал Дон-Аминадо М. Горький («За рубежом», 1936, № 18. С. 411).

И. А. Бунин, написавший рецензию на первую эмигрантскую книгу стихов Аминадо «Дым без отечества», подметил у поэта и сатирический дар, и лирическую душу. «...Наряду с чисто сатирическими стихами в книжке Аминадо есть и другие, почти чуждые злобы дня, — много легких, нежных и прелестных (и по форме и по чувству) строк:

«Когда-то, — говорит он, —  
Пел рояль... Играли в фанты...  
В зеркалах мелькали банты».

Но, главное, что отмечает Бунин: «в его книжке, минутно озаряемый умом, тонким юмором, талантом, — едкий и холодный «дым без отечества», дым нашего пепелища» (Общее дело. 1921, № 346, 27 июня. С. 2).

Издеваясь над порядками в Советской России, Дон-Аминадо не щадит и заболтавшихся демагогов эмиграции, способных лишь разглагольствовать на темы спасения России от большевиков, но полностью утративших понимание реальности и лишенных даже позывов к какому-либо положительным действиям:

Живем, скрипим да медленно седеем,  
Плетемся переулками Пасси  
И скоро совершенно обалдеем  
От способов спасения Руси.

Бунин не раз восклицал по поводу стихов Дон-Аминадо: «Какой удивительный талант!» «...Что ни слово, то золото..»

Георгий Адамович, писавший с не меньшим восхищением о творчестве Дон-Аминадо, значительное внимание уделил его афоризмам. И, думается, это вполне справедливо, поскольку в XX веке вряд ли можно найти более крупного мастера этого литературного жанра, хотя в разных странах афоризмы создавали талантливые писатели (скажем, Станислав Ежи Лец в Польше).

В рецензии на книгу Аминадо, написанную по-французски в содружестве с писателем Морисом Декобра, Адамович отмечает и безукоризненность французского языка Аминадо, и его тонкое понимание и ощущение той грани, за которой юмор может превратиться в пошлость. «Аминадо всегда чувствует, что нам не по душе словца чересчур «красные», и поэтому всегда усиливает юмористическую сторону своих изречений, как бы заранее страхуясь от упреков. Его суждения часто бывают очень серьезные. Но вовсе не одна только репутация, не одно только официальное положение «общественного увеселителя №1» заставляет его особенно подчеркивать каламбур, — нет, у Аминадо силен инстинкт, подсказывающий ему необходимость усмехнуться, чтобы не усмехнулся до него, помимо его воли, читатель...»

Афоризмы Дон-Аминадо зачастую поражают не только остроумием, неожиданным поворотом мысли (а отсюда и усиление эффекта!), но и современностью, злободневностью, хотя большинство их — вне времени, поскольку в них — блестящее постижение человеческой природы вообще, глубоких корней человеческого существа.

Вот лишь несколько примеров:

«Человек вышел из обезьяны, но отчаиваться по этому поводу не следует: он уже возвращается назад».

«Программа-максимум — сохраниться, программа-минимум — уцелеть».

«Прошлое принадлежит археологам, настоящее — спекулянтам, будущее — химикам».

«Народное творчество выражается не только в пословицах, но также и в виселицах».

«Молодость стремится вдаль, зрелость — вширь, старость — вглубь».

«Из любых деревень можно колхозы сделать, а особенно из потемкинских».

«В семье народов — не без уродов».

«До торжества великих идей доживут не пацифисты, но старожилы».

«Когда кого-то больше не признают — это значит, что его хорошо знают».

«Легче рассуждать о смерти ближнего, чем понять его жизнь».

«Богатые люди ставят на лошади, а бедные на конину».

«Со дня октябрьского переворота прошло шестнадцать лет. Это значит, что до нового переворота осталось на шестнадцать лет меньше».

«Если управлять государством может кухарка, то маляр тем более».

И т. д. и т. п. Честно говоря, хочется цитировать и цитировать, потому что афоризмы Дон-Аминадо доставляют почти чувственное наслаждение: их воспринимаешь не только глазами, разумом, но как бы пробуешь на вкус, смакуешь, кажется, что их можно пощупать.

Короткие фразы приобретают объем, вес, занимают какое-то пространство, они оживают, наполняются новым содержанием, которое вносит в них наш опыт, наше мировосприятие.

Прозаик, автор сатирических и юмористических стихов, драматург, творец афоризмов — не слишком ли много талантов для одного человека? Оказывается, нет. Ведь Дон-Аминадо не только сатирик, но и замечательный лирический поэт. Причем признанный таким замечательным русским поэтом, как Марина Цветаева. Несомненно, высокая оценка Бунина дорогого стоит (ведь Бунин тоже поэт), но Марина Цветаева — прежде всего поэт. И когда поэт с восторгом обращается к другому поэту, стоит к его словам прислушаться: «Милый Дон-Аминадо. Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно за-

мечательный поэт, — писала Цветаева Дон-Аминадо 31 мая 1938 года. — ...Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе».

Да, действительно, Дон-Аминадо движется как будто по краю настоящей поэзии, он будто стесняется быть серьезным и даже во вполне серьезном, лирическом стихотворении стремится подшутить над собой, над подлинностью чувства: не надо, мол, принимать все всерьез, легче жить, когда улыбаешься, ведь тогда легче мириться с потерями...

Но порою он все же забывает о своей маске шутника и весельчака, и тогда из-под его пера рождаются безыскусные, такие простые и берущие за душу строки, как эти — в стихотворении «Уездная сирень»:

Как рассказать минувшую весну,  
Забывтую, далекую, иную,  
Твое лицо, прильнувшее к окну,  
И жизнь свою, и молодость былую?

Была весна, которой не вернуть...  
Коричневые, голые деревья  
И полых вод особенная муть,  
И радость птиц меняющих кочевья.

Апрельский холод. Серость. Облака.  
И ком земли, из-под копыт летящий.  
И этот темный глаз коренника,  
Испуганный, и влажный, и косящий.

О помню, помню!.. Рывкнул паровоз.  
Запахлю мятой, копотью и дымом.  
Тем запахом, волнующим до слез,  
Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна  
И пыльною уездною сиренью,  
Которой пахнет русская весна,  
Приученная к позднему цветенью.



Незадолго до кончины Дон-Аминадо выпустил книгу мемуаров «Поезд на третьем пути» (1954), в которой запечатлел картины дореволюционной России и жизни русской эмиграции. Грустная и веселая книга, сочетающая собственные впечатления и наблюдения с описаниями событий и фактов, почерпнутых из других источников, эта книга лаконично и ярко отобразила множество деталей, нюансов времени, которые делают ее емкой, динамичной, энциклопедически содержательной. Без этой книги нам было бы наверняка труднее представить в целом тот континент, который ныне мы называем Русским Зарубежьем.

На страницах книги оживают портреты деятелей культуры и политиков: А. И. Куприна, Алексея Толстого, И. А. Бунина, Ф. И. Шаляпина, Д. С. Мережковского, П. Н. Милюкова, И. Н. Евреинова, З. Гиппиус, В. И. Качалова, В. Брюсова, А. Ф. Керенского...

Но Дон-Аминадо был не только литератором. Его неумной энергии, искусства общения хватало еще на многие дела. Он организовывал литературные благотворительные балы, которые помогали многим бедным и даже нищим поэтам и прозаикам удержаться какое-то время на плаву, а некоторым попросту выжить. Вечера Дон-Аминадо пользовались популярностью. О их проведении сообщалось заранее. Так, например, в газете «Последние новости» 19 сентября 1929 года можно было прочесть объявление: «19 октября, в субботу, в большом зале Гаво состоится ежегодный литературно-артистический вечер Дон-Аминадо с участием крупных русских и французских писателей и артистов». В связи с этим объявлением Георгий Адамович писал 21 сентября Зинаиде Гиппиус: «Дон-Аминадо уже объявил свой вечер — значит, сезон начался».

Когда среди парижских русских литераторов созрела мысль о возрождении «Сатирикона», о необходимости юмористического издания, подобного тому, которым Аркадий Аверченко целое десятилетие гремел на всю Россию, Дон-Аминадо естественным образом вошел в число главных сотрудников и стал фактическим редактором париж-

ского «Сатирикона». И если журнал сумел продержаться некоторое время (1930—1931 гг.), то именно благодаря энергии, увлеченности и его способности увлечь за собой талантливых поэтов, прозаиков, художников. Но... — тривиальная проблема: отсутствие денег. Обычное дело в эмиграции. Журнал почил.

\* \* \*

«Вся Ваша поэзия — самосуд эмиграции над самой собой», — писала Марина Цветаева, обращаясь к Дон-Аминадо. Что ж, оценка хотя и резкая, но в значительной мере верная. Однако вовсе не исчерпывающая многообразного творчества писателя. Как сатирик он подмечал несуразности и глупости эмигрантской жизни, но в не меньшей степени он обличал несуразности и глупости советского быта, о чем мог судить лишь косвенно и все же остро и по существу. А в преддверии Второй мировой войны и с ее началом поэзия Дон-Аминадо обретает яростную антифашистскую направленность.

Дон-Аминадо скончался в Париже почти полвека назад, в 1957 году, но его стихи, его замечательные воспоминания, его неувядаемые афоризмы «Новый Козьма Прутков» не поблекли, на них нет налета нафталина, они не отдают провинциальной затхлостью, их краски свежи и ярки. Вызывая у современного читателя улыбку, смех, а порой и легкую грусть, произведения Дон-Аминадо напоминают нам, что настоящая литература не имеет возраста. Она всегда современна.

Ст. Никоненко



Из книги  
«Наша маленькая  
жизнь»





# Уроки русской истории

С — повести временных лет,

откуда русское зарубежье есть пошло и как российская зарубежная земля стала есть.

В глубокой древности, у верховьев разных европейских рек осели различные племена, как-то: рябушане, скаргане, треповичи, носовичи, трегубовичи, гревеничи и билимовичи.

Каждое из этих племен состояло из отдельных родов, а каждый род управлялся родоначальником или старейшиной. Племена жили оседло, занимаясь воспоминаниями о земледелии, скотоводстве, охоте, рыбной ловле и пчеловодстве.

В важных случаях старейшины собирались на сходку, или вече.

Чаще всего вече происходило на верховьях реки Сены.

Вечевые сходбища отнюдь не отличались миролюбивым характером, а даже совсем наоборот.

Однажды, когда усобицы и раздоры грозили перейти в настоящее побоище, вече решило, что только сильная и твердая власть может спасти их от гибели.

Послы отправились по соседству и сказали:

— Зарубежная земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами.

Таким образом, с 1926 года после Р. Х. и начинается история Зарубежного Русского Государства.

Овладев Парижем и назвав его зарубежной матерью городов русских, вышеперечисленные племена определили размер дани и обложили друг друга.

В собирании дани особенно прославился один мудрый Палеолог, прозванный за свои подвиги Вещим.

В это время Зарубежная Русь распалась на уделы, во главе которых стоял главный, безоговорочный, удельно-вечевой орган, долженствующий управлять всем населением удельного зарубежья.

Население делилось на служилое сословие, людей и смердов.

Служилое сословие было разноплеменным, ибо в него входили и старые рюриковичи, являвшиеся прямыми потомками Аскольдовой могилы, и представители норманнских и угрских племен, как Нейдтарт, Ольденбург, Гримм, и другие и даже некоторые хазары, дававшие деньги.

Служилое сословие часто переходило от одного великого князя к другому.

Так, например, известен не один случай перехода к удельному князю Кириллу, сидевшему на земле Кобургской.

Служилое сословие, или бояре, играло видную роль, и из них назначались разные должностные лица, воеводы, посадники и тиуны.

Так, известный польский воевода Скаржинский кормился от воеводства Белградского, другой воевода Крупенский получал доходишко от бессарабской вотчины своей; что же касается храброго, как тур, и неустрашимого, как лев, Маркова II Евгеньевича, то он за доблести и ратные дела гордо именовался: Марка-Посадница, назло язычникам и иноплеменникам.

К служилому сословию принадлежали и гридни, или отроки, составлявшие особую дружину, или союз отроков.

Когда старшие приказывали, отроки должны были как один человек кричать во всю мочь — ура или вон!!! Смотря по обстоятельствам.

Людьми назывались свободные жители разных городов и сел, приезжавшие на вече отхожего промысла ради.

Что же до смердов и холопов, то сии и пикнуть не смели и имели по одному голосу на каждые сто пятьдесят миллионов.

Границы русского зарубежья в 20-м веке были сле-

дующие: от пляс Питаль до Кордильерских гор, к северо-востоку от вольного города Шанхая до Новой Земли, и на юго-запад, от Сахаровского пустыря до Сербов, Хорватов и Словенцев.

С расширением границ хлынуло в русское зарубежье и просвещение.

Первая зарубежная азбука была сочинена князем Кириллом и по его имени получила название Кириллицы.

После составления азбуки широкое распространение получили всякого рода сказания, апокрифы, летописи и мемуары.

Все они были проникнуты духовно-нравственным содержанием, как, например, произведения известного песнопевца Краснова.

Были и чисто народные легенды, размножавшиеся разными каликами переходжими, вроде крестьянского бандуриста Котомкина и других.

Но самым замечательным произведением этой эпохи следует признать «Русскую зарубежную Правду», составленную боярином Треневым.

Это поистине один из лучших памятников народного творчества, как выразился сам князь Щербатов, старина и роскошь русского зарубежья.

Но об этом в следующий раз.

1926

## ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ МОЗГОВЫХ ПОЛУШАРИЙ

*М*илостивые Государины и Милостивые Государи!

Темой настоящей лекции является: крушение парламентаризма и необходимость диктатуры. Остановимся и попробуем разобраться.

### 1. ГНИЛОЙ ЗАПАД

Надеюсь, что уже никто из присутствующих не сомневается в том, что так называемый Запад окончательно сгнил и что сегодняшний день может быть смело назван последним днем Помпеи.

Лучшие русские мыслители, начиная от покойного генерала Дитяткина и кончая благополучно здравствующим Игорем Северяниным, сходятся на том, что Европа должна погибнуть, как Вавилон и другие провинции.

Причины гибели вполне доступны для каждого невооруженного глаза, а тем более для вооруженного.

Главнейшая суть: фокстрот и всеобщее голосование.

Все танцуют и все голосуют... Где ж это видано?!

Было ли что-нибудь подобное во времена Ампира или даже Рококо?!

— А ну-ка, мудрый Эдип, отвечай!..

И, конечно, он ничего не отвечает, а молчит.

Но можем ли мы, лучшие представители зарубежной мысли, обойти молчанием?

Нет, не можем.

## 2. ДАНСИНГИ И ПАРЛАМЕНТЫ

Какая разница между дансингом и парламентом?

Никакой разницы, милостивые государи, между ними нет.

Это оба очага общественного бедствия открыты всю ночь напролет, что же касается нюанса конечностей, то в одном происходит простым поднятием руки, в другом — простым поднятием ног, но факт налицо: всеобщее разложение нравов и борьба за власть.

Пристало ли нам подвергаться сей мировой заразе и, следуя программе Ивана Калиты, переносить чужеродный негритянский джаз в черноземную полосу средней России?!

## 3. ДИКТАТУРА

В чем же спасение? Или где же выход?

Мы много над этим думали и надумали: спасение — в диктатуре, и выход там же.

Но прежде всего остановимся и попробуем разобраться.

Диктатором называется человек, умеющий диктовать.

Все остальные пишут под диктовку и называются населением.

Кто не желает подчиняться правилам правописания, высылается вон и называется эмигрантом.

При диктатуре пролетариата правописание — новое, при едином диктаторе правописание — старое.

Но эмигранты неизбежны при всех правописаниях.

Кроме того, мы настаиваем на обоих юсах, большом и малом, как для вывесок, так и для частной переписки.

Мы говорим честно: лицом к истории и спиной к Европе!

При двух юсах у нас не будет двух палат, ура! и пошлем почтотелеграмму!..

## ВЕЛИКИЕ ПРИМЕРЫ

Самое лучшее, когда диктатор из военных.

Это, так сказать, идеальный случай.

Но могут быть, конечно, и другие случаи с диктаторами. Совершенно штатские.

Остановимся и попробуем разобраться.

Страной, наиболее нам родственной по духу и традициям, является Испания.

Старое русское выражение «никаких испанцев» является теперь очевидным и вопиющим анахронизмом.

Наоборот, именно испанцев и как можно больше!

В смысле нравов сплошное целомудрие, за всю свою многовековую историю — каких-нибудь тринадцать альфонсов, при такой территории цифра явно ничтожная.

Несмотря на это, Испания была накануне гибели, от которой ее спас храбрый кавалерийский генерал с чудной, непере译имой фамилией.

Он распустил парламент и особым декретом уничтожил дамские декольте.

Через несколько дней страна расцвела.

Но возьмем другой пример, возьмем Грецию.

Греция была накануне гибели. Короля укусила обезьяна. Венизелос, которому было семьдесят два года, женился, а парламент непрерывно заседал.

Тогда явился храбрый греческий адмирал и поднял адмиральский флаг.

Вслед за этим он немедленно распустил парламент и

подтянул гречанок, которых до него чересчур распустили греки.

Приказом по армии и флоту адмирал мужественно изменил короткие женские юбки.

Страна немедленно расцвела, а кефаль безумно подешевела.

Но и Испания, и Греция должны ступешаваться пред страной, на которую обращены наши вожделенные взоры.

И страна эта — Италия...

Герцог Муссолини, прямой потомок Ромула и Рема, вскормленных молоком волчицы, непревзойденный зачинатель итальянского ренессанса, вот великий пример для нас, зачинателей ренессанса по-русски.

Тысячи дансингов и один парламент были им закрыты в мгновение ока. Вот она, вечность во мгновении!..

И поэтому мы и говорим:

— Да здравствуют Ромул и Рем, и мамка ихняя, ур-р-ра!

1926

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

### ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

**Г**осударственным переворотом называется такое явление, когда все летит вверх тормашками.

Тормашки есть юридическое понятие, установленное с незапамятных времен энциклопедией права.

Тормашками можно лететь только вверх, и ни в каком случае — вниз.

Это очень важно, так как при обилии государственных переворотов внизу не хватило бы места, в то время как наверху его сколько угодно.

Когда переворот не удастся, он называется бунтом.

Между тем как удавшийся бунт называется переворотом.

Есть такие государства, которые переворачиваются не менее четырех раз в год.

Так, например, Мексика очень гордится своими мек-



сиканскими тормашками, стяжавшими ей всемирную славу.

Не меньшую подвижность обнаруживали в свое время и русские пейзаисты.

— Сенька, поддержи мои семечки, я ему морду набью.

В этих простых словах ясно чувствуется отвращение к парламентаризму.

## ГЕНЕРАЛ

В приличном обществе принято, чтобы перевороты производились генералами.

Если генерала нет, то это не общество, а черт знает что.

Боевой генерал рассуждает так: выйти ему в отставку или перерезать телефонные провода?!

Логика прямо указывает на то, что лучше перерезать провода.

Тогда генерал садится на коня и верхом въезжает в заседание Сената.

Увидев в своей среде настоящую живую лошадь, сенаторы заявляют, что хотя они пешеходы, но душой и тормашками принадлежат отечеству.

Генерал берет под козырек и говорит, что он желает немедленно присягать.

Все в восторге.

Чтобы подчеркнуть торжественность момента, сенаторы выстраиваются полукругом, и против каждого из них устанавливается пушка, заряженная по всем правилам артиллерийского искусства.

Тогда генерал вынимает шашку и, замахнувшись по обычаю на председателя собрания, в конном порядке присягает на верность конституции.

Вечером город роскошно иллюминирован и погребав взрываются один за другим.

Празднично настроенное население сбегается смотреть на похороны жертв революции, а на уличных столбах вместо всем надоевших афиш каких-нибудь индийских факиров и дрессированных блох яркими пятнами красуются воззвания генерала к стране.

## ВОЗЗВАНИЕ

«Португалцы, португалки и португальские дети!  
Отечество в опасности.

Важнейшие телеграфные провода, равно как и лидеры партий, перерезаны!

Палата депутатов распущена до последней возможности.

Уступая давлению народных масс, президент республики удавился.

Но это неважно. Он все равно должен был быть предан суду

Новые выборы будут назначены через десять лет, и пусть наконец страна выскажется.

В тяжкую минуту ниспосланных нам испытаний я принял на себя бремя власти.

Поэтому мародеры будут хорониться за государственный счет, а предварительно расстреливаться на месте.

После семи часов вечера никто не имеет права показываться на улицу, не исключая и домашних животных. С нами Бог!

Подпись:

Генерал от кавалерии Перес Малхамувэс-Алфонсино-Гомес».

## ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ

Чрезвычайно деликатно положение иностранных дипломатов, аккредитованных при переворачивающемся государстве.

Существующий беспорядок вещей требует величайшей осмотрительности.

И пуля — дура, и бомба — дура, разорвет тебя на полную мелочь, а потом иди доказывай, что ты не португалец, а полномочный посланник республики Боливии.

В таких случаях принято, чтобы победоносный генерал извинялся перед иностранными державами за каждого разорванного дипломата в отдельности.

Как только телеграфные провода восстановлены, генерал начинает телеграфировать, а пострадавший ди-

пломатический корпус запечатывается в роскошный цинковый гроб и отправляется к себе на родину под чудные звуки военного оркестра. Это очень трогательный обычай.

Ввиду того что в стране царит полное спокойствие, генерал доарестовывает членов бывшего правительства и сажает их в тюрьму, где уже сидят члены еще ранее бывшего правительства, равно как и правительства давно прошедшего.

Происходит радостная встреча, обмен впечатлениями и воспоминания, воспоминания без конца.

Перес вспоминает, как он арестовывал Торреса, Торрес — Хереса, Херес — Малагоса, а Малагос — Мордальноса.

Вся история страны, генералов и лошадей проходит перед мысленным взором государственных деятелей, отдавших свои последние тормашки возлюбленному отечеству.

### А В ЭТО ВРЕМЯ...

А в это время уже чья-то новая, горячая рука перерезывает холодную проволоку из Лиссабона в Опорто. Новый генерал садится на коня, и...

— Держись, Гомец, начинается!

1926

### ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ...

Ну, слава богу!..

Теперь, как в пожарной команде, можно устроить сбор всех частей.

Последний пробел восполнен, последняя дырка заткнута, недостававшая часть налицо.

— В противодействие Союзу Советских Республик в Париже образовался Союз Русских Дворян.

Приятно отметить, что дворяне организовались не с кондачка и не экспромтом, а на десятый год со дня революции и, так сказать, накануне юбилея.

Значит, все эти девять лет люди о чем-то все-таки думали.

После того как разные средства спасения Родины были испробованы, стало ясно, что путем политическим в Москву не войдешь.

Оставалось только одно: ведение родословных книг и честная метрика.

Когда черные тучи обволакивают черный горизонт и на душе черно, как в черном желудке упившегося чернилами негра, «Союз дворян» кажется каким-то ярким пятном, какой-то светлой точкой на безрадостном фоне нашей эмигрантской жизни!..

Пусть борзописцы и построчные либералы негодуют и надрываются изо всех сил.

Пусть эти кухаркины дети и ораторы неизвестного и, может быть, даже внебрачного происхождения вопят и сатанеют по поводу нового мощного объединения.

Пусть!

Человек, происходящий по прямой линии от Руслана и Людмилы, имеющий в качестве одной бабушки Пиковую даму, а в качестве другой бабушки Аскольдову могилу, такой человек только презрительно пожмет плечами и закажет себе кафе-натюр, и выпьет его за здоровье своих предков!..

Что может быть общего у прямого потомка Бахчисарайского фонтана с каким-то постным разночинцем, у которого, может быть, и совсем не было никаких родителей?!

Зато когда у человека весь спинной хребет сделан из белой слоновой кости, а в жилах течет даже не голубая кровь, а сплошная ляпис-лазурь, то не ясно ли, что такой человек не может удовлетвориться каким-то мещанским нансеновским паспортом, где вся геральдика сводится к нумизматике, а вся нумизматика к пятифранковой монете, хотя бы и золотой?..

Но теперь, слава Богу, мучиться уже недолго.

С понятным нетерпением ожидает исстрадавшаяся эмиграция новой жалованной грамоты заграничному дворянству с предоставлением оному законно-выстраданных льгот, коих артикулы тому следуют:

1. Дворянское дите, хотя бы и родившееся за рубежом, но от двух потомственных дворян разного пола, уже на основании самого факта рождения считается членом Благородного собрания с музыкой и танцами.

2. Всякий зарубежный дворянин, приобретший на правах собственности три аршина зарубежной земли в департаменте Сены и Уазы, считается однодворцем и освобождается от телесных наказаний.

Лица же, имеющие латифундии в виде целого семейного склепа, почитаются феодалами, причем все наличное население вышеупомянутого склепа прикрепляется к земле на вечные времена.

3. В каждом доме, где имеют жительство господ дворяне, в количестве более чем два, надлежит выбирать уездного предводителя дворянства, утверждаемого в сей должности консьержкой.

4. Все уездные предводители ежегодно собираются на свой зарубежный съезд, на каковом и избирается губернский предводитель всего, как мелкопоместного, так и многосклепного дворянства.

5. Что же касается дворянских недорослей, равно как и перерослей, то сим, купно собравшись, образовать «Союз Объединенных Митрофанов» под кратким и живорыбным названием «Сом»!

И поступить сему «Сому» на казенный кошт купеческого сословия первой и второй гильдии, понеже не перевелись в заграницах честные давалыцы, не щадящие для блага отечества ни звонкой разменной монеты, ни ассигнаций.

Дано в Пассях, на Сене и Уазе, в лето от российской революсьон десятое. Амины!

1926

## О ЧИСТОТЕ ЯЗЫКА

*В* хорошем обществе во время файф-о-клока принято говорить о засорении и порче языка.

Известно, например, что знаменитый французский писатель Марсель Прево на вопрос, чему он посвящает свои досуги, не без скромности ответил:

— Главным образом изучению французского.

Ввиду того что русские, собравшиеся за границей, сплошь принадлежат к хорошему обществу, не говоря уже о том, что время они проводят исключительно за файф-о-клоком, рассуждения о засорении родного языка принимают характер непрерывного и взаимного угощения.

Вздыхают не только о денационализации эмигрантских детей, но и о папах с мамами.

Все, разумеется, относительно.

Или, как здесь выражаются, са-депант...

Иван Сергеевич Тургенев половину своей жизни провел за границей и, несмотря на это, создал тургеневский язык.

Каким образом за семь-восемь лет заграничной жизни умудрились мы этот язык испортить, пусть решают ответственные и безответственные распорядители файф-о-клока.

По совести говоря, я думаю, что в разговорах о порче, засорении и искажении есть просто много кичливости и истерики, самовлюбленного сумбура и некоторой раздражительной амбиции.

Есть такие вечно обиженные мужчины, считающие своей священной обязанностью охранять народное достоинство, хотя никто и никогда и никакого достоинства им не поручал.

А затем... почему-то всегда так выходит.

Начинается с чистоты славянских корней, а кончается намеком на инородческое засилье.

Трехэтажное татарское зодчество милостиво принимается, а на город Кременчук обижаться изволят.

Развязный Корней Чуковский еще двадцать лет назад шумел по поводу того, что русской литературой имеет право заниматься только тот, кто десять веков подряд просидел по горло в мерзлом снегу и питался одними кислыми щами.

Со времени этой Корнейчуковой теории сделано уже немало уступок и выдано несколько разрешительных свидетельств на занятие российским литературным ремеслом не только нисходящим по прямой линии от Рюрика,

Синеуса и Трувора, но и таким несомненным хозарам, как г. г. Брокгауз и Ефрон.

Что же касается эмигрантского файф-о-клока, то здесь инвиду пробуждения национального самосознания вместо общепринятого европейского чая с бисквитами вновь привлекается на свет Божий покрытая плесенью самобытная ботвинья, которой хорошее общество и обжирается до икоты и отрыжки.

Ботвинья состоит из «Слова о полку Игореве», густо заправленного европейскими и армянскими анекдотами.

Для пущей достоверности анекдоты называются фактами, кропотливо собранными на зарубежном пространстве русского рассеяния.

В качестве одного из рассеянных дарю обидчивым мужчинам, как рюриковичам, так и хозарам, несколько заграничных фактов!..

— Бездетная семья со всеми удобствами берет на содержание, можно и без.

Требуйте новое средство от волос.

— Краснова читать, так тебе ноги не болят, а с мамой гулять пойти, так тебе ноги болят.

— Он с ней неразлучен, как банный лист.

— Ах, лучше и не говорите, девушка из фамилии, а пошла по стопам...

— Будьте знакомы, товарищ ухажера моей дочери.

— Вы берете Кондорд и меняете ее на Шатлэ.

— Продается сносильное белье мужского рода без посредников.

— Грандиозный бал в пользу недостающих учеников.

— Покупаю смокинги по курсу дня.

— Страхование от жизни, землетрясений и прочих несчастных случаев.

— Ничего себе, май! Я мерзну, как рыба об лед.

— Молодой человек! А штанов у вас есть?!

— Дуглас Фербэнкс уже год крутит с Мэри Пикфорд.

— Исторический фильм из жизни Малютки Скуратова.

— Один скульптор сделал бюст руки моей невесты.

А вы, говорите, файф-о-клок...

## ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ

Ввиду непрекращающихся споров о численности эмиграции мы решили устроить частным путем:

Одновременную перепись русского населения за границей.

Учет населения должен начаться сегодня и закончиться завтра.

Так надо!..

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**В**аше имя? Отчество? Фамилия? Кличка? Прозвище? Псевдоним? Ваш титул, корень, пол и род?

Если вы родились, то когда и где?

Какой у вас паспорт? (При наличии нескольких назовите главный.)

Состоите ли вы в браке, или так?..

Сколько у вас детей? (Своих, подкидышей, футболистов и денационализированных.)

Прибегаете ли к займам и зачем?

Прибегаете ли к отдачам и зачем?

Боретесь ли вы за существование и зачем?

Садитесь ли вы уже на землю или еще нет?

Умеете ли делать дамские шляпки, модэс, робэс, шашлыки и маникюр?

Когда вы празднуете свой юбилей?

Где вы живете? В меблированной, в немеблированной, с ходом через хозяйку, с консьержку не беспокоить или независимо?

Вносите ли квартирную плату или вы выше этого?

Сколько кубических футов воздуха приходится на вас и на каждого денационализированного ребенка в отдельности?

Выяснили ли вы свои отношения к фамм-де-менаж?

Ну, и?!

Едите ли вы?

Сколько питательных калорий достается вам и сколько уходит на гостей?



Достаточно ли в вас фосфору?

Фосфоресцируете ли вы?

Какое у вас отопление, освещение и настроение?

Какой способ самоубийства вы предпочитаете?

Собираете ли вы или нет почтовые марки?

В чем у вас выражается тоска по родине и признаете ли вы «ф» десятиричное?

Кто ваш самый любимый писатель после Краснова?

Грамотны ли вы?

Читали ли вы «От двуглавого орла к красному знамени и обратно»?

Пишете ли вы сами? Векселя, мемуары, письма в редакцию?

Являетесь ли вы лично одним целым или вы дробитесь на партии?

Верите ли в возможность сговора с самим собой?

Есть ли у вас писаная торба?

Есть ли у вас собственная урна и что вы в нее опускаете?

Не собираетесь ли вы прикрепить французских крестьян к земле?

Если нет, то почему?

Можете ли вы сами сочинить манифест?

Стоите ли вы за присоединение Абиссинии к Румынии, или наоборот?

На кого вы ставите: на середняка, на бедняка, на кулака, на мужика или на дурака?

И как вы думаете вернуться на родину: на белом коне или пешком?

1926

## АКАЖУ И ПРОЧЕЕ

О страсти нашей к так называемым оказьонам и скидкам можно было бы написать целое исследование и по крайней мере в пяти томах.

Но, конечно, лучше не надо, потому что пять томов — это уже не оказьон, а катастрофа.

Что же касается скидки, то это есть понятие не столько арифметическое, сколько психологическое.

Помню еще в так называемое доброе старое время священная формула — вместо рубля пять копеек — в состоянии была обезоружить самые свободомыслящие умы.

Формулой этой веками держался весь вербный торг, и очень почтенные семейные люди дюжинами покупали пуговицы царского режима, носившие соблазнительное название «Радость холостяка».

Приобреталась эта радость исключительно потому, что вместо рубля стоила пять копеек.

С той поры переменили мы немало пуговиц и немало режимов, а страсть к скидкам не только не исчезла, но окрепла и развилась, став неотъемлемой принадлежностью каждодневного существования. Но теперь это уже не от психологии, а от жестокой необходимости.

Капиталу-то у нас и пяти копеек не наберется, а вкусы благородные и утонченные.

Отсюда — и оказьон.

Видали ли вы когда-нибудь, чтобы самый рядовой, самый обыкновенный эмигрант купил себе простой, честный стул для того, чтобы на нем можно было сидеть или, если надо, чтобы его можно было бросить в голову?

Никогда.

Стулья такие еще есть, но таких эмигрантов нет.

— Я ем горький хлеб изгнания, но на блюде в стиле Директории!

Человек отправляется на Марше-о-Пюс (смешно скрывать, но Пюс — это блоха) и упорно разыскивает ночной столик, непременно из акажу и обязательно ампир.

— Когда дела поправятся, мы купим кровать и шкаф, нельзя же все сразу...

А пока у человека есть стильный ночной столик, безопасная бритва и электрический утюг.

Утюг куплен в Берлине и на здешний вольтаж не годится, но все ж таки движимое имущество.

Если только захотеть, и с этими вещами можно устроиться вполне уютно.

Главное — это хорошее настроение, бодрость и ясность духа.

И, конечно, чтобы все было выдержано в стиле.

Квартиру и мебельщика обставить нетрудно, а художественный вкус вырабатывается веками.

Это только нувориши покупают на рынке старинные портреты в овальных рамах и устраивают себе собственную галерею предков.

Но человек с самолюбием, будь он даже самых передовых убеждений, никогда не решится на что-нибудь подобное.

«Маркизом можешь ты не быть,

Но бабушку иметь обязан!»

А если только у человека была бабушка, его уже инстинктивно тянет на акажу.

Это так же неопровержимо, как существование Пюс на Марше-о-Пюс.

Что касается скидок, то тут могут быть и разновидности.

Скидка — это отравка, которая, раз проникнув в организм, разлагает его медленно и упорно.

Есть маньяки, которые способны по случаю купить несколько пудов наждачной бумаги, хотя наждак этот им так же нужен, как президенту лысина.

Скидка заводит человека в тупик, пробуждает в нем самые плебейские инстинкты и в конце концов превращается в неизлечимую страсть, безумие и одержимость.

Я знаю одну очаровательную даму с такими тонкими чертами лица, как будто их гравировал мастер восемнадцатого века на медальоне из слоновой кости; ну сказать Адриенна Лекуврер — это значит ничего не сказать. До того сублильна.

Так вот, надо было бы вам видеть эту самую Адриенну, когда она вернулась с аукциона, где за неимением больших средств эта благородная женщина с пылающими щеками и воспаленным взором купила... черт знает сколько метров... аптекарской фланели для согревающих компрессов!

И не только купила, а еще с большим азартом доказывала:

— Но зато ведь прямо даром!!!

...Вот вам и гравюра.

## ЗАРУБЕЖНЫЙ ПИСЬМОВНИК

### ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕИЗДАТЕЛЯ

Идя навстречу назревшей потребности, переиздательство наше предлагает просвещенному вниманию господ соотечественников, а также соотечественниц настоящий письмовник, состоящий из образцов писем на разные случаи эмигрантской жизни и смерти.

*С совершенным почтением Переиздательство.*

### ПИСЬМО О ЗАЙМЕ

Дорогой Владимир Андреевич!

Спешу поделиться с вами своей радостью.

Только что получил телеграмму из Ниццы, что наша фамильная персидская шаль в принципе уже продана богатейшей американке.

Деньги будут переведены, как только удастся оформить сделку.

Как видите, предчувствие меня не обмануло.

Кстати, о деньгах.

Не можете ли вы ссудить меня пятью франками до вторника после обеда или в крайнем случае до после ужина?

Если это возможно, то благоволите деньги вручить подателю, который имеет от меня официальную доверенность на всю сумму.

Заранее благодарю Вас и крепко жму Вашу благородную руку.

### ПИСЬМО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Дорогие и милые Анна Петровна и Александр Александрович! Какая безумная досада! Только что получили вашу милую открыточку с извещением, что вы будете у нас сегодня вечером, и безумно обрадовались.

Но пять минут назад нас внезапно выселили из квартиры, и мы должны, по новому квартирному закону, немедленно выехать на улицу.

Безумно жаль, но ничего не поделаешь.

Как только вернемся с улицы, так сейчас же пригласим вас на новоселье.

Пишите до востребования.

### **ПИСЬМО ДЕЛОВОЕ**

Любезнейший Яков Яковлевич!

Имею к Вам очень серьезное дело.

Дело в том, что мне нужна виза на въезд в Париж.

При Ваших связях Вам, вероятно, ничего не будет стоить добиться благоприятного результата.

На всякий случай напоминаю Вам, что меня зовут Семен Семенович Канданаки, землемер, 49 лет, при нем жена Мария Спиридоньевна, урожденная Папандопуло, 42 лет, и дети: Кирилл, Мефодий и Артаксеркс, 14, 13 и 12 лет, а познакомились мы с Вами, кажется, в Гурзуфе, кажется, в 1902 году, если это только были именно Вы.

Господи, как время бежит!

Писать можете прямо: Чехословакия, город Брно, угол Трно и Крно, номер пять, мне. Но визу, голубчик, непременно по телеграфу.

Спасибо, спасибо, спасибо.

### **ПИСЬМО ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ**

Дорогой Соломон Федорович!

Вот уже ровно три с половиною месяца, как вы с честью несете знамя нашей дорогой зарубежной матушки-России.

Иных уж нет, а те далече, но вы бодро идете вперед и стоите на посту.

Но все-таки впереди огоньки.

И настанет же день, и погибнет Ваал, и идея восторжествует, как феникс из пепла.

Ура! Ура! Ура!..

Подписи

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Милостивый Государь г-н редактор!

Прошу вас не отказать дать место нижеследующим строкам на страницах вашей многоуважаемой газеты:

В отчет о концерте-бале в пользу «Общества борьбы с трахомой среди русских подкидышей» вкралась досадная опечатка:

С обычной грацией был исполнен чардаш не г-жой Телятниковой, как было ошибочно сказано, а г-жой Коровиной.

Примите и проч.

## ПИСЬМО НА СЛУЧАЙ САМОУБИЙСТВА

Когда вы будете читать эти строки, душа моя будет уже за рубежом.

Что касается тела, то это ваше дело.

Умираю, чтоб досадить окружающим, пусть повозятся.

Венков и цветов не надо, сами нюхайте.

И затем не прощайте, а до свидания. Надеюсь, скоро встретимся.

## ПИСЬМО ЖЕНИХА К НЕВЕСТЕ

Дорогая Катя!

Не такое теперь время, чтоб жениться.

Твой Коля.

1926

## НАУКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ

На днях получил письмо.

«Многоуважаемый Мосье.

У нас есть к вам просьба, но мы не решаемся ее выразить.

Но, между прочим, решившись, выражаем.

Мы, группа молодежи, хотим писать стихи для красо-

ты и вообще для самообразования, чтобы издавать рукописный журнал, хотя бы еженедельный или раз в месяц.

Но, наверное, это очень трудно, хотя родной папа одного нашего сотрудника уверяет, что нет такого болвана, который не мог бы сочинять стихи.

Пожалуйста, будьте настолько любезны и научите в короткий срок, до востребования, и прилагаем марку в 50 сант. для ответа.

*С совершенным почтением группа молодежи.*

Мне почему-то кажется, что группа эта, столь расточительно швыряющая пятьдесят сантимов, состоит из одного человека и что человеку этому не ранее как через два с половиной года исполнится полных пятнадцать лет.

Но кто его знает, может быть, и нет.

Возможно, что в самом деле пред нами новая общественная группировка, этакий коллектив честных эмбрионов, которых следует отчески поддержать и, в гроб сходя, благословить.

Поэтому не стану копать, а просто открою курсы заочного практического стихосложения.

Итак.

— Многоуважаемая группа!

Анонимный папа одного из ваших сотрудников, увы, совершенно прав.

Действительно, нет ни одного мало-мальски законченного болвана, даже совершеннолетнего, который не писал бы стихов.

Но это обстоятельство должно вас только ободрить.

В одной советской России появилось за последние несколько лет сорок тысяч зарегистрированных юношей, рифмующих пятницу и яичницу, а также палец и мерзавец.

Вы понимаете, дорогие дети, что сорок тысяч — это уже целая дивизия, и притом конная, потому что вы должны усвоить раз и навсегда, что Пегас — это лошадь.

Для того чтобы писать стихи, надо прежде всего не думать.

Стих должен литься, как вода из водопровода, хлюпая во все стороны.

Такое явление называется «брызги пера».

Если у вас есть перо и нет ни одной лишней мысли в голове, садитесь и брызгайте!

Все, что вам удастся набрызгать, озаглавьте как можно проще.

Скажем, «Из цикла».

Или: «Триоли и Триолеты».

Или просто: «Лес шумит».

Легче всего и благороднее писать стихи с настроением.

Против стихов с настроением не устоит ни одна порядочная девушка, будь она даже каменная, как антрацит.

Настроение черпается где угодно — в глазах, в губах, в зубах, но обязательно во множественном числе.

Не дай Бог начать в единственном... все дело испортите!

Например:

— «Я утонул в твоих глазах»... Правда ведь, ничего себе?!

А попробуйте сказать:

— «Я утонул в твоём глазу...» Катастрофа!

То же самое с губами или зубами.

Даже очень мило выйдет, если сказать:

— «И он припал к её губам».

И посудите сами, что получится, если вы скажете:

— «И он припал к одной губе!..»

Пусть губа и не дура, но разве она это может выдержать?

Конечно, нет.

Все, что до сих пор сказано, относится к какому-нибудь одушевленному предмету.

Но настроение может быть и беспредметным, неопределённым и, так сказать, воздушным.

Например:

Звездочка блестит,  
Девочка не спит,  
Звездочка блеснула,  
Девочка заснула.

Здесь дело не в звездочке и не в девочке, а в том пантеизме, которым проникнуто все стихотворение.

А пантеизм — это, дети мои, вещь.



Самый последний человек, даже такой, у которого паспорта нет, и тот должен быть пантеистом.

Вот спросите вашего папу, если он специалист по болванам, так он вам это еще лучше объяснит.

Во всяком случае, на сегодняшний раз довольно.

Одно только помните — то, что говорили еще древние: «Поэты рождаются, а... рукописи не возвращаются»...

1926

## САМОВНУШЕНИЕ

**Я** думаю, что действительно пора нам заняться самовнушением.

Все, что можно было внушить окружающим, мы уже внушили, — и то, что мы не эмиграция, а Россия, выехавшая за границу.

Внушение, как известно, подействовало блестяще...

Европа носится с нами как с писаной торбой и прямо не знает куда посадить.

Таким образом, с точки зрения международной мы устроились.

Но в личной жизни, каждодневной, обыденной, будничной, до полного благополучия еще далеко.

Нельзя же предположить, что все два миллиона поют в цыганском хоре, танцуют казачка, а в антрактах едят паюсную икру.

Бывает, что и не едят.

Я не спорю, безвыходных положений вообще не существует, и эмигрант, которому уже совершенно нечего есть, может в крайнем случае умереть с голоду.

Однако, если исключить самосожжение, самообложение и самоудобрение, то остается одно:

— Самовнушение.

По теории француза Куэ надо каждое утро говорить самому себе:

«Мне очень хорошо и с каждым днем становится все лучше и лучше».

Разговор с самим собой не надо затягивать.

Сказал — и не возражай.

Иначе — раздвоение личности и двойные расходы: десять фотографических карточек, два нансеновских паспорта, четыре подошвы, а про трамвай, семейное счастье и почтовые марки я уже и не говорю.

Самовнушение должно происходить в очень мягкой и деликатной форме.

Орать на самого себя не надо.

«Эй ты, черт тебя подери, выжатый лимон, дохлятина и невозвратное время! Поймешь ли ты наконец, что ты катаешься как сыр в масле и с каждым днем будешь катиться все дальше и дальше!!»

Такой способ ничего хорошего не сулит.

Человек начинает избегать самого себя.

Зачем в самом деле обострять отношения со своей личностью, когда для этого имеется достаточное количество личностей совершенно посторонних?..

Самое лучшее — это обращаться к себе не во втором лице единственного и даже не во втором лице множественного числа, а в первом лице единственного числа.

«Мне хорошо, я доволен. Мне очень хорошо, я очень доволен. Вот именно, оттого я так и доволен, что мне так хорошо...»

Если утренняя доза не действует и человеку все-таки плохо, то самовнушение надо производить в течение всего дня, вечером и даже до рассвета.

В таких случаях и говорят: дружеская беседа с самим собой затянулась далеко за полночь.

Так надо продолжать изо дня в день до самой смерти — и тогда результаты не замедлят сказаться.

Возьмем для примера самый обыкновенный эмигрантский случай.

Икс заказывает себе костюм в рассрочку. Костюм готов.

Проходит месяц, в течение которого Икс ходит в новом костюме и упорно занимается самовнушением.

А портной в это время занимается шитьем других костюмов и подсчетом грядущих получек.

Подсознание говорит Иксу, что не надо ходить по той улице, где живет портной.

А сознание говорит ему, что почему бы и нет, раз костюм уже оплачен?

Конфликт между подсознанием и сознанием неприятен, тем более что портной явно становится на сторону подсознания и сам... приходит к Иксу.

Дальнейшее совершенно ясно.

Грубая натура, портной, пристаёт с деньгами и подаст в суд, в то время как одухотворенная натура, Икс, совершенно искренне считает, что деньги давным-давно уплачены.

Надо ли говорить, что окончательная победа остаётся все-таки на стороне Икса, несмотря на то, что его новый костюм продается в аукционной камере с публичного торга...

Оставшись в одном нижнем белье, Икс внушает себе, что это далеко не белье, а великолепная фракная пара, но в обтяжку.

А человека, который умеет нечто крепко завинтить себе в голову, обратно развинтить уже невозможно.

— Мне хорошо... Какой на мне чудный фрак! Какая дешёвая жизнь во Франции!.. И завтра будет ещё дешевле.

1926

## КОЛЯ СЫРОЕЖКИН

Если бы Коле Сыроежкину дать полную свободу, то житья в доме, конечно, не стало бы...

— От твоих вопросов можно с ума сойти, — говорила мадам Сыроежкина, вышивавшая для богатой американки древнерусское шелковое белье: Царь-колокол на фоне плакучих ив.

— Коля, заткни свой фонтан, — внушительно говорил мосё Сыроежкин, шофер и глава семьи.

Но Коле было восемь лет и семь месяцев, домашние попреки сносил он с поразительным мужеством и с утра до вечера грыз свои собственные ногти, требуя ясных и категорических ответов на тысячи ребром поставленных вопросов.

В один прекрасный день папа Сыроежкин совершенно потерял терпение, купил Коле клеенчатую тетрадь,

ткнул карандаш в руки и сказал таким басом, каким говорят все папы, когда они сердятся:

— Напиши все свои вопросы, но не смей приставать ни к маме, ни ко мне. Когда вся тетрадь будет исписана, я тебе сразу на них отвечу... Понял?

Что ж тут было не понять?..

Коля даже засопел от удовольствия, дернул за хвост взятую им на воспитание кошку и умолк.

Каракули свои он выводил медленно и все время, пока писал, грыз то ногти, то карандаш, то карандашную резинку.

И в доме наступили тишина и благополучие.

А через три дня первый том сочинений Коли Сыроежкина вышел в свет — родителям на утешение, будущему отечеству на пользу.

И вот что было написано в знаменитой клеенчатой тетради:

— Куда идет мой папа, когда он выходит из себя?

— Почему, когда мама плачет, у нее черные слезы, а у меня не черные?

— Что делает центральное отопление, когда оно не действует?

— Почему папа никогда не штопает мамины чулки?

— А у полицейского тоже бывает папа?..

— Почему, когда приходят гости, мама все время пудрится и извиняется?

— Почему, когда гости уходят, мама говорит: слава Богу?

— А что такое рассрочка?

— А почему дети не бывают холостые?

— Почему ангелы не летают на аэропланах?

— Почему папа заварил кашу, а ее не кушали?

— Почему чертей бывает тысяча, а ведьма только одна?

— Что такое нервы?

— И как их взвинчивают?

— И почему их не отвинчивают обратно?

— А кто открывает двери консьержке?

— Зачем папа влезает в протоколы, если он не может из них вылезти?

— Что такое лямка?

— И куда ее все время тянут?

- Почему нельзя играть в игру природы?
- Что делают с истерикой, когда она кончается?
- Почему акцент не отвечает, когда с ним говорят?
- Что такое нечистая сила воли?
- За что тетя Катя держится, когда она ходит по скользкой дорожке?
- Почему на железной дороге никогда не случается никакого счастья?
- Чем режут правду?
- Если Бог видит, когда папа накручивает счетчик, почему Он не скажет папиному клиенту?
- Почему мама говорит, что нельзя грызть ногти, а сама грызет всего папу?
- А как могут все большевики висеть на одном волоске?
- И почему...

Мосье Сыроежкин захлопнул тетрадь, посмотрел на мадам, на Царь-колокол, вздохнул и ничего не сказал.

Ничего не сказала и мама Колина, и только черные слезы, слезы умиления, потекли из ее подкрашенных глаз.

Но Коля этого не видел.

Он спал беззаботным сном, обхватив обеими руками взятую на воспитание кошку, и, наверное, ему снились те сладкие сны, какие снятся всякому человеку, разумно прожившему свои восемь лет и семь месяцев.

1926

## ТРУДНАЯ ПУБЛИКА.

Угловое кафе, как это часто бывает в Париже, помещалось на углу и ничем особенным от десятка тысяч других таких же кафе не отличалось.

Кофе заваривался раз в год, номера «Иллюстрасьон» были тоже по большей части прошлогодние, а бритый, пятидесяти с лишним лет, почтенный и седой дядя назывался гарсоном.

Завсегдатаи называли его просто Жюль и, пользуясь правами дружбы, десять-пятнадцать сантимов зажиливали из пурбуара.

Относился к этому Жюль добродушно, тем более что убытки широко покрывались иностранцами.

Вот об этих иностранцах и был у нас с ним разговор.

— Больше всего, — излагал мне свою философию Жюль, — поражают меня ваши соотечественники, мосье!

Удивительный народ эти русские.

Во-первых, никогда не приходят они в одиночку, как все прочие нации, а всегда целой компанией.

А во-вторых, — и это самое, мосье, замечательное, — никто из них не знает, чего ему хочется!..

Вот, скажем, приходят наши, французы. Сядут. И сейчас же:

— Гарсон, четыре бока и одно деми!

И больше ничего. Все ясно. Приносишь им четыре бока и одно деми и бежишь к другому столу. А там испанский анархист с девицей из картье. Эти сразу начинают с бенедиктина. Конечно, политикой я не занимаюсь, но должен вам сказать, что пьют эти анархисты как лошади.

Потом, скажем, подъезжает шофер.

Тоже никаких затруднений: кафе-натюр и несколько капель кюрасо! Выпил, сел в свое такси и уехал.

Но вот, мосье, приходят ваши компатриоты. Шесть мужчин и две дамы.

Я ничего не говорю, дамы очень даже комильфо и так же мужчины.

Но скажите: зачем они сейчас же сдвигают все столы в одно место, как будто у них юбилей или банкет?!

А стулья? Вы знаете, мосье, когда они начинают представлять эти стулья, то проходу уже не остается...

Ну хорошо, пусть, думаю, делают, что хотят, наверное, у них такой обычай...

Подхожу и спрашиваю я, как полагается: «Мсьедам!..»

Вот тут и начинается самое главное.

Ни один человек не знает, чего он хочет.

Все весело хохочут, а никто ничего не заказывает.

Я, знаете, переминаюсь с ноги на ногу, потом ухожу, опять возвращаюсь, потом десяток других клиентов успеваю удовлетворить, а они все совещаются.

Наконец подзывают и говорят: «Один оранжад пур мадам, а мы еще подумаем»...

Конечно, я говорю: «Думайте, сильвуплэ!» — и иду заказывать оранжад.

Вдруг крик: «Гарсон!!!!» — Все восемь в один голос кричат.

«В чем дело?»

Оказывается, мадам передумала: не оранжад, а сандвич — о-жамбон!..

Ничего не поделаешь, приношу сандвич о-жамбон и жду.

А патрон уже, знаете, из-за конторки зверем смотрит.

Конечно, один жамбон на такое большое общество — это тоже, знаете, не торговля!..

Но приходится терпеть. Стоишь и ждешь.

Вдруг опять кричат: «Гарсон!»

«Мосье?»

«Дайте нам карточку!..»

Ну, тут даже и меня сомнение берет. Какая ж, помилуйте, может быть в угловом кафе карточка?! У хозяина фон-де-коммерс сорок два года существует, по наследству перешел, и никогда ни один человек никакой карточки не требовал... «Извините, — говорю, — но карточек у нас нет; а если угодно, так я весь прејскурант могу наизусть изобразить!»

«В таком случае, — говорят, — дайте один бок, одну яичницу, одно мороженое...»

Мон Дье! Конечно, политикой я не занимаюсь, но должен сказать, что уж очень много у вас, у русских, этих самых партий и программ! Каждый ваш компатриот заказывает что-нибудь другое.

А затем, вы меня извините, мосье, но если человек идет в кафе, так он же должен по крайней мере знать: хочется ему пить или хочется ему есть? Хочет он горячего или желает он холодного?!

Правда, ни одна нация не дает такой большой пурбур, как ваша, но зато же и набегаешься с вами сколько угодно...

Жюль не успел закончить разговора и побежал на зов: испанский анархист в десятый раз требовал два бенедиктина для себя и для девицы.

Очевидно, эти твердо стояли на одной и той же платформе.

## ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ

Но вечерам, когда она за целый день как следует не работается, эмиграция ходит друг к другу в гости.

Хождение в гости — это, в сущности говоря, очень сложное явление.

Нечто среднее между неизлечимым сумасшествием и взаимным грабежом.

Но так как русские еще тысячу лет назад взяли исторический подряд на хлебосольство, то отказываться уже поздно.

Хочешь не хочешь, а надо.

Обычай искоренять не так легко и просто, особенно в так называемой домашней жизни.

Социальная революция может опрокинуть целый государственный строй, а подклеенное любимое блюдечко все-таки останется на своем месте.

Одним словом, что говорить, быт это то, на чем все держится.

Империи падают, быт остается.

— Что вы делаете завтра вечером?

— Мы еще не знаем. А что?

— Нет, ничего... но если у вас ничего более интересного не предвидится, то заходите к нам на огонек.

— Спасибо, непременно!

И, сломя голову, с тремя сногшибательными пересадками, люди отправляются к черту на кулички, чтобы посмотреть, как он горит, этот самый огонек.

А потом начинается.

— Ну, знаете, к вам добраться... фу, дайте дух перевести... ужасающая даль... прямо кругосветное путешествие.

У хозяйки сразу слетает вся пудра с носа.

— Ну, что вы... а мы так уже привыкли... и притом до Оперá от нас ровно двадцать две минуты...

Это значит: контрудар.

— Раздевайтесь, пожалуйста... Марья Петровна, дайте вашу шляпу, я ее пристрою... вот здесь... в ванной.

Марья Петровна нервно закусывает крашенные губы.

Как, разве вы с ванной?



— Неужели вы не знали? Конечно! Я же вам говорила, что с ванной, с шаржами и с комнатой наверху...

— Ты пони-маешь, Володя?

В вопросе Марьи Петровны, обращенном к мужу, одновременно и преклонение, и зависть, и ревность, и какое-то глухое раздражение по адресу самого Володи.

Увертюра, во всяком случае, сыграна. Начинается действие первое: хозяева показывают гостям квартиру.

Марья Петровна фальшиво восхищается, а Володя, умсющий угождать дамам, дергает какую-то цепочку и восклицает с непритворным восторгом, наблюдая за шумом воды:

— Чудесно! Настоящий Бахчисарайский фонтан...

После увеселительной прогулки в кухню и по длиннейшему катакомбообразному коридору гость уже имеет полное право на чай.

Обычай — деспот меж людей.

И тут свой, освященный годами и обстоятельствами, графарет: груда развесных бисквитов и одна смутная ложноклассическая птифурка.

Не выносящий асимметрии, Володя сразу приканчивает одинокую птифуру, после чего и завязывается обычный светский разговор.

— А сколько вы даете консьержке? Всего двадцать пять франков в месяц?! Ты по-ни-маешь, Володя!

Но Володя налег на бисквиты, ибо приглашение на огонек было им легкомысленно понято как приглашение на ужин, в то время как об ужине и помину не было, не смотря на три пересадки и мебель рюстик...

— Кстати, почему это вы все, господа, помешались на этом самом рюстике? Ну, скажите мне, пожалуйста, Иван Иванович, что у вас общего с Нормандией и почему этот ваш подстаринный буфет должен быть непременно нормандским?

Иван Иванович человек прямой, а затем, чего стесняться с людьми, которые, вообще-то говоря, живут в мебели-рашках.

— Дело в том, Владимир Петрович, что ведь это только так говорится, — рюстик... а на самом деле это просто рассрочка.

— В рассрочку?! Ну нет, друзья мои, я бы уже предпо-

чала всю жизнь жить в меблэ, чем каждый раз рассрочиваться и волноваться.

Чтобы смягчить явно запальчивую выходку супруги, Володя переводит разговор на международные темы.

— А франк все-таки поднимается...

— Кстати, как вы устроились с налогами?

С налога разговор незаметно переходит на психологию среднего европейца, который готов повеситься, чтобы только сэкономить свои двадцать пять сантимов.

Явление, конечно, безотрадное и от русского хлебосольства бесконечно далекое.

На этом основании Володя снова хрустит бисквитами, а Марья Петровна и Анна Семеновна отправляются сначала в Бахчисарай, а потом посмотреть, как Анне Семеновне переделали ее новое прошлогоднее платье.

Потом гости начинают собираться домой.

— Бог с вами! Куда вы спешите? Посидели бы еще немножко, вот ваша шляпа...

— Нет, спасибо, три пересадки, страшная даль, завтра рано на работу, теперь очередь за вами, смотрите! не надуйте...

— Непременно...

— Конечно...

— До свидания.

— До свидания.

— До скорого!

— Не забывайте!

— И вы тоже...

— Тсс... ради Бога, на лестнице потише...

— Да, да, всего хорошего!

Внизу хлопает дверь.

— Слава Богу, что еще забыла бриоши подать...

Это говорит Анна Семеновна и быстро выключает все выключатели.

— Лучше бы я на эти три франка, что метро стоит, марсельского мыла купила бы..

Это говорит Марья Петровна, спускаясь с Володиной под землю. И все.

## ПИСЬМА ОБИЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Ого я собирал эту коллекцию. Наконец могу похвастаться.

Оказывается, что, если принять одесскую систему деления некоего целого на большую половину и на меньшую, то вся большая половина любезных соотечественников только и делает, что обижается.

Происходит ли это от особой чувствительности или от обмена веществ, не знаю.

Знаю только, что обижаются и опровергают.

Иногда эта страсть к опровержениям захватывает целый беженский район вроде ветряной оспы или краснухи.

Бывает и так, что обиженная личность выступает самостоятельно, опираясь только на самолюбие и орфографию.

Не посягая ни на то, ни на другое, публикую для пользы просвещения несколько выдающихся экземпляров.

### 1

На основании устава о наказаниях, налагаемых господами мировыми судьями, а также покойного императора Наполеона 1-го, действующего на территории Французской Республики, прошу в ближайшем номере вашей, так сказать, уважаемой газеты исправить досадную опечатку, вкравшуюся куда следует, а именно, что, танцуя мазурку в пользу восстановления родины с благотворительной целью, сказано, что я «бык на своем месте»...

Полагаю, что довольно неудобно публично выражаться про труженика сцены, что он есть грубое животное — бык и еще, главное, что он на своем месте, как будто это какой коровник или вообще загон для скотины...

С почтением

Солист короля Черногорского  
и заслуженный артист международных танцев  
Пяткин-Терпсихоров.

## 2

Многоуважаемая Редакция!

В целях восстановления истины не могу обойти фактом молчания факт искажения правды и матки в вашем органе.

Да погибнет мир, но да здравствует юстиция, как выразались наши древние римляне.

Что же касается существа, то, не говоря уже о деталях вашего сотрудника, в публикуемых мемуарах имеется вопиющая историческая неточность и даже грубая ретроспективная ошибка, на которую считаю себя обязанным пролить.

Поэтому, на основании ответственности перед лицом грядущих поколений, настоящим заявляю, что: я, нижеподписавшийся, штурман дальнего плавания в отставке, Иван Игнатьевич Герасименко, пятидесяти четырех лет, вдовец и теософ, с лицом, пожелавшим остаться неизвестным и скрывшимся под тремя звездочками, ничего общего в упомянутых мемуарах не имею, равно как бунчуковым писарем при ясновельможном пане Гетмане никогда в своей земной жизни не состоял, хотя действительно принужден был при перемене режима удалиться на паровозе, во избежание вышеупомянутого народного гнева.

Настоящее же опровержение считаю необходимым на случай совпадения двух личностей в популярном мало-русском окончании, как, например, Левченко или даже Гриценко.

*Примите все прочее. И. Герасименко.*

## 3

Дорогая Редакция.

В качестве друга периодической печати, позволяю себе задать небольшой вопрос: уместно ли в такое тяжелое время и при ежедневной дороговизне жизни печатать столь подробные сведения о происходящих землетрясениях, которые самым нежелательным образом действуют на психологию читательских масс, принужденных бороться за существование?

Мне кажется, что, наоборот, надо сеять разумное, доброе, вечное, а не подобный пессимизм, говорящий о грустных явлениях природы, каковые плюс похоронные инонсы убивают дух самодеятельности.

Прошу сочувствующих этому начинанию откликнуться на столбцах, и, конечно, извиняюсь за беспокойство. С совершенным почтением. Старый друг.

#### 4

М.Г.

Чтобы далеко не бегать, позвольте прибегнуть к содействию голоса печати.

В интересах картд-идантите, каковые до пятнадцати лет считаются младшим возрастом без всяких расходов, надо же ж выяснить, как быть с нашей объединенной молодежи, среди которой имеются многие, что им де-юре под семьдесят, но де-факто никак больше шести-семи лет дать нельзя.

Неужели брать с таких семилеток весь налог полностью, невзирая на букву закона?!

На ответ прилагаю марку.

А. Л. Г.

#### 5

В номере вашей газеты напечатаны так называемые силуэты, в которых имеется один силуэт, прозрачно намекающий на меня, несмотря на явно вымышленное имя мадам де Курдюковой, устроительницы патриотических собеседований на пляже.

Хотя ваш маленький фельетон и не отрицает наличности купального костюма на моем корпусе, но все же позволяет клеветать как по адресу моего пола, так и характера.

Сим заявляю, что я привлекаю его к ответственности и надеюсь, что, хотя он маленький, но от Немезиды не уйдет.

С сов. почтением (подпись).

## РАССКАЗ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

**Б**ольшее всего на свете уважаю я медицину.

На днях, от нечего делать, пошел к доктору: себя показать, на него посмотреть.

Доктор из хохлов, симпатяга.

Обрадовался мне, как родному.

— Здравствуйте, — говорит, — и на что жалуетесь?

— Не такое теперь, — говорю, — время, доктор, чтоб жаловаться, но, между прочим, вам виднее.

— В таком случае ложитесь и не дышите...

Лег это я на ихнюю докторскую мебель, вытянулся во весь рост и не дышу.

А он сейчас же, значит, молоточек вынимает и как начнет со мной, лежачим, по всему корпусу перестукиваться, так его уж и остановить невозможно.

Ну, думаю, пропал я со всеми потрохами!..

Практика у них в эмиграции, наверно, неважная, зато, как до пациента дорвутся, в живых не оставят...

В общем, наступал он по всем местам как следует, потом стал животики мять и говорить:

— Теперь скажите «а»! и еще! и еще!.. и все время!

Он, стало быть, мнет, а я акаю.

Так мы с ним минут десять вместе и веселились.

Потом, видно, и его совесть замучила.

— Одевайтесь обратно, я, — говорит, — на скорбный лист записать вас должен.

— Неужели, — говорю, — так плохо?..

— Дело, — говорит, — не в этом, а именно что у вас товарообмен неважный и во всех ваших веществах никакой диффузии нету!

Гм... ну, думаю, им, конечно, виднее, оделся себе обратно и сел.

А доктор, значит, гроссбух вынимает и, очками нос оседлавши, все вопросы подряд спрашивает.

— И по какому поводу прабабушка умерла, и не было ли у нас в роду падучей, и не сосет ли под ложечкой перед заходом солнца, и не злоупотребляю ли натошак маминой сельдью, и прочее.

Расспросил все, что полагается, а потом скороговоркой и говорит:

— Избегайте грибов, бобов и сыров. Как увидите, сейчас же избегайте!

— Черного мяса не ешьте, белого мяса не ешьте, никакой рыбы не ешьте и овощей тоже не ешьте.

А все остальное ешьте!

— Спите при открытых окнах, прямо на подоконнике.

Дышите правильно, правой и левой грудью попеременно!

— По утрам заваривайте крутой кипяток для чаю, но только чаю, Боже вас сохрани, не сыпьте, а прямо так, один чистый кипяток сверху донизу на себя и лейте!..

Для правильного кровавого обращения.

— Перед сном делайте легкую гимнастику, вытягивайтесь на носках и потом приседайте, так час-полтора, не больше.

После чего немедленно в аптеку бегите и на весы кидайтесь.

А с весов домой, на подоконник — и спать!.. Поняли?

— А главное, — говорит, — климат переменить надо и, ни в каком случае, в метре не ездить!.. Поняли?

— Как не понять!.. Может, — говорю, — обращение у меня и кровавое, а только, — говорю, — извините, голова у меня, слава Богу, в порядке-с...

И заплатил ему, сколько надо, и вышел.

Даже дверью от досады хлопнул.

Полез в Норд-Сюд, чтобы климат переменить, трясусь по второму классу и думаю:

— Оно, конечно, великая вещь медицина, но не про нас, эмигрантов, писана...

А потом такая меня тоска взяла, что хоть вешайся.

Вылез я на какой не помню станции, зашел в угловую бистру и так этим самым пиконом ихним наложил, что только под утро и опомнился.

Стал на углу и думаю:

— Как-никак, а и доктора ошибиться могут... Ведь вот, можно сказать, полный солнечный восход солнца происходит, а у меня, между прочим, под последней ложечкой сосать начало...

## КРИК ДУШИ

«Дорогая редакция Задушевного Слова!

Папа говорит, что я совершенно де-на-ци-о-на-ли-зи-ро-ванный ребенок и что ничего путного из меня не выйдет, потому что, когда ему было одиннадцать лет, так он не ходил с голыми коленями, а бегал в прерии и жил в настоящем вигваме у них на даче и, вообще, была романтика, а я хожу с голыми коленями и бегаю только к эписьерке, когда мама приходит из кутюра и посылает меня купить шикоре.

Но папе хорошо так говорить: он задавил старуху, потому что плохо знает французский язык, и мама носила ему кушать два с половиной месяца за неосторожную езду.

А вот дядя Петя говорит, что это ничего, лишь бы я учился на казенный счет и мог бы быть химиком, потому что когда мы поедем обратно в Россию, то химики будут первые люди, которые все возродят, тогда папа ему опять говорит, что канализация гораздо важнее, потому что на одних аперитивах далеко не уедешь, как дядя Петя.

Они очень кричали и даже закрыли двери, но я подслушал, что у Коли — Коля это я — взболтанные мозги, и он помешан на бициклетках без единой басни Крылова.

Прошу вас, дорогая редакция, напечатать, что я не согласен, потому что мне уже тринадцать лет и я вовсе собираю почтовые марки, и что мама гораздо добрее, хотя у нее зрение от болгарских крестиков, но она говорит, что я недюжинная натура, потому что я подаю ей надежды и все, что она просит.

У нас самый лучший лицей и самый первый по футболу хоккей, но очень строго по калькюль, потому что если получаешь стипендию, то надо все знать наизусть по-французски, потому что по-русски со мной занимается папа по воскресеньям и заставляет писать диктант, Василий Шибанов, или прямо из русских газет, чтоб я знал всю изящную словесность, но, слава Богу, не наизусть, а то можно с ума сойти, так много.

Но я больше люблю фильм — компле<sup>1</sup> «Шпионка с чер-

---

<sup>1</sup>Здесь: полностью (фр.).



ными глазами» и «Роковой поцелуй на Ниагарском водопаде», только для взрослых; относительно сильно-комических, то Шарло и этот толстяк Понс, помпье<sup>1</sup> без квартиры.

Я имею двух товарищей, один Жан-Жак и другой Жан-Поль, они раньше удивлялись, что я им набил морду.

Они говорят, что из-за русских все стало дорого, потому что все русские ездят на такси, а ихние папы должны терять на царских бумагах и ходить пешком, но я им обещал, что когда буду химиком, то все уплачу до копейки, а если будут приставать, то опять набью, и они замолчали, но, в общем, они ни черта не понимают, потому что за одну советскую с могилой Ленина дадут три новых Гваделупы.

Из русских детей я знаю только Вову Шмендрикова, но мне не позволяют с ним встречаться, потому что его дедушка союз молодежи и мой папа говорит, что он не переносит его, хотя я этого не понимаю, зачем папе возиться и переносить совершенно чужого человека и при чем тут Коля, тем более что он бойскаут и тоже с голыми коленками.

Вообще мама говорит, что у папы испортился характер и что одна надежда, что зарубежная Россия и «Иллюстрированная Россия» соединятся вместе и тогда можно будет жить по-человечески, а не прозябать физическим трудом без ванной комнаты.

Я еще хотел рассказать про Люс, в которую был влюблен в начале прошлого учебного года, но дядя Петя говорит, что любовь — это святое чувство, особенно если француженка, и могут быть неприятности, поэтому я не пишу, пусть она лучше умрет вместе со мной.

Кроме того, мне трудно выражаться, потому что я все время думаю по-французски, даже вергюль.

Прошу Вас, дорогая редакция, напечатать эту биографию и сообщить, кто еще из детей может составить семнадцать мо круазе из архимандрита по диагонали.

*Коля Сыроежкин».*

1926

---

<sup>1</sup>Пьянчуга (фр.).

## ПЕРЕПИСКА С НАЧИНАЮЩИМИ

Не останавливаясь пред почтовыми расходами, несколько самопишущих соотечественников почтили меня целым рядом писем и присылкой своих литературных опытов.

Большинство авторов — явные самородки, и мне кажется, что для некоторых из них публичный ответ может явиться своего рода поощрением и содействовать развитию их скромных зарубежных дарований.

— Как знать, — пишет один из них, — может, меня надо только как следует толкнуть, а дальше я уж сам пойду...

Что ж, толкнем, пожалуй.

И в самом деле: если в советской России на тысячи неграмотных приходится по одному пролетарскому писателю, то в России зарубежной должно быть совершенно наоборот: по тысяче писателей на одного неграмотного.

Итак, будем толкать.

### 1

*Госпоже Сафо Попандопулос*

Многоуважаемая Сафо!

Присланную вами драму «Липочки цветут» мы получили и не скроем, что она потрясла нас до основания.

Особенно поразителен третий акт, на вокзале, где, после десятилетней разлуки, героиня принимает совершенно чужого начальника станции за своего умершего жениха и покрывает его безумными поцелуями на фоне всеобщего крушения поездов.

Вы спрашиваете, есть ли у вас эспри и не найдется ли у нас подходящего издателя?

Как вам сказать?

Издатель, пожалуй, нашелся бы, но, представьте себе, совершенно без эспри; даром не напечатает.

Самое лучшее, если бы вы послали вашу драму доктору Нансену.

Как-никак, а все-таки он официальный комиссар по русским делам.

Всего хорошего и мерси!

## 2

*Последнему могикану*

Последний могикан ставит вопрос ребром:

Имеет ли право человек в возрасте после шестидесяти называть себя дитятей, или уже, так сказать априори, он считается отцом семейства, и в споре между отцами и детьми обязательно должен находиться на стороне отцов и действовать как таковой?

Вопрос, несомненно, глубоко волнующий и острый.

Разве не видим мы сплошь и рядом, что человек по паспорту камергер, а по душевным качествам теленок.

И как определить, где кончается паспорт и где начинается душа?

И является ли вообще впадение в детство юридически наказуемым, особенно если впадение это совершается по политическим убеждениям и на чужой территории?

Трудно советовать, господин могикан! И высший монархический совет, который мы можем вам дать, — один:

— Впадайте дальше.

## 3

*Жене Рыжикову*

Ваша статья о бойскаутах свидетельствует о безукоризненном знании предмета.

Вы смело срываете маски и категорически подчеркиваете, что бой это одно, а скаут это другое.

Если мы вас правильно поняли, то дело идет о полном раздвоении личности.

Так всегда бывает: личность раздвояется, а папа с мамой убиваются.

Если они совсем не выдержат, приходите к нам, мы из вас сделаем спортивную команду!

## 4

С.М.К.

Повторяем снова, что Старая Русса — это город, а не пожилая русская дама, как вы ошибочно полагаете.

Стыдились бы!.. а еще пишете рассказы из эмигрантской жизни в Бессарабии и просите дать вам какую-нибудь захватывающую тему.

Ладно, вот вам тема:

Самоубийство с целью грабежа! Но только обязательно в Кишиневе!..

## 5

*Ивану Ивановичу из Биянкура*

Никогда бы не поверил, что такой черноземный талант прозябает в каком-то Биянкуре, в то время как до Парижа двадцать минут езды по трамваю!

Иван Иваныч пишет:

«...и будучи человеком скромным, сочиняю в свободное от занятий время стишки, главным образом из жизни младшего возраста, без всяких этих современных фиглей-миглей...»

Так, например:

Сижу, как бедный зяблик,  
И грустно до того,  
Что делаю кораблик,  
А больше ничего.

Вы правы, Иван Иваныч, от стихов ваших несет такой свежестью, что простудиться можно.

Для ободрения посылаем вам ответ, тоже в стихах и тоже, знаете, без всяких фиглей-миглей:

Во флот вы не годитесь,  
А правильной всего,  
Пойдите — утопитесь,  
И больше ничего...

## ЛЕТОМ

**З**имой люди делятся:

На умных и глупых, бедных и богатых, веселых и скучных, добрых и злых, серьезных и легкомысленных, холостых и женатых, партийных и беспартийных, худых и толстых, нормальных и сумасшедших.

Летом все эти детали исчезают, и остается только одно: Уезжающие и остающиеся.

Человек, который уезжает, — это человек.

Человек, который остается, — это не человек, а так себе.

Никакие социальные перегородки не разъединяют людей так резко, как так называемый летний сезон.

Неизвестно почему и кем, но с незапамятных времен установлено, что порядочный человек хоть раз в году должен: отдохнуть, загореть или в крайнем случае покрыться веснушками.

Недаром сказано, что женщина без веснушек все равно что дача без мебели.

И в самом деле.

Для чего существует это самое лоно природы, как не для того, чтобы в него погрузиться?!

— Я погружаюсь, ты погружаешься, он, она, оно — погружается...

Конечно, и здесь существует множество ухищрений, и бывают такие двуличные натуры, которые ставят перед собой горшок с геранью и стакан водопроводной воды и на вопрос, куда вы едете этим летом — с неподражаемой наглостью отвечают:

— Да Бог с вами... зачем нам ехать, когда у нас и так настоящая дача!..

Но о них и говорить не стоит:

— Парии и лицемеры.

Тот, у кого еще сохранились остатки самолюбия, заявляет честно и открыто:

— Мог бы поехать, но не хочу.

— Почему же, собственно говоря?

— Собственно говоря, потому, что жизнь мне еще не надоела.

— Я вас решительно не понимаю.

— Не понимаете... Хорошо. Так вот, когда у вас будет, собственно говоря, сотрясение мозга, тогда вы все и поймете.

— Почему же от морских купаний, и вдруг такая... вещь?

— И он еще спрашивает почему?!

Несчастный! Да разве вы не понимаете, что ни до каких морских купаний вы просто не доедете! Что, отъехав двадцать километров от Парижа, вы погибнете на двадцать первом, со всеми вашими саквояжами, несессерами и полосатыми брюками, что на следующий день ваше имя будет с ошибками напечатано в хронике железнодорожных происшествий?!

Конечно, если вы настолько честолюбивы, что ради газетной рекламы готовы даже рисковать жизнью, тогда, разумеется, поезжайте, и сча-стли-во-го вам пути...

После такого диалога остающемуся все-таки как-то легче на душе.

В качестве напутствий можно еще упомянуть: кражу в пути, ограбление, нападение на поезд, эпидемию, сквозняки, лихорадку от перемены климата, смерть от перемены пищи, мало ли чем можно подбодрить человека, который уезжает!

Если же ничего на него не действует, то надо махнуть рукой и сказать себе самому:

— В сущности говоря, загореть можно и в городе.

Из всех народов самый непоседливый — это, конечно, русский.

У французов есть декларация прав человека и гражданина, у англичан — великая хартия вольностей, у немцев — Веймарская конституция, и только у русских — расписание поездов.

Кроме общеизвестных пяти чувств, мы обладаем еще и шестым: чувством железной дороги.

За восемь лет мы столько наездили и столько проделали сезонов, зимних и летних, под столь разными градусами долготы и широты, что география стала нашей историей, а история превратилась в географию.

Поэтому, как только наступает лето, у нас начинает сосать под ложечкой, и нет такого последнего эмигранта,

которым не овладевали бы беспокойство, охота к перемещению мест.

— Все разъехались, позвольте и мне разъехаться!..

Режим экономии для нас не существует.

Мы уже столько режимов пережили, что и экономить не стоит.

И, наконец, нашли на чем! Потеряв собственное отечество, будем мы теперь на чужой климат скупиться, еще чего захотели!!!

В результате начинается: визы, фотографии, консульские удостоверения, нансеновские паспорта, путеводители, телеграммы, почки, печенки, семейные анализы, детские костюмы, брюки в полоску, брюки просто — одним словом, вертиж.

А по совести говоря, все это, если хорошо взглядеться, сплошной оптический обман и из ста уезжающих русских уезжает только один, а девяносто девять отделяются тем, что пососет-пососет у них под ложечкой и перестанет.

Зато разговоров об отъезде не оберешься.

Послушать, так в первую минуту кажется, что все сорок тысяч эмигрантов пятнадцатого июля утром отправятся прямо в Биарриц; только и ждут, чтобы четырнадцатого Бастилию взять и сейчас же на рассвете уехать.

А на самом деле никто никуда не едет, ибо ни у кого ничего нет; разве только почки.

Так у бедных людей почки и в городе загорают.

1926

## НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ АМЕРИКЕ

### 1

**А**мерика ежедневно омывается тремя океанами со всех трех сторон.

С четвертой стороны у нее — только канал, но зато Панамский.

Коренными жителями являются индейцы, число коих четыреста лет назад доходило до пяти миллионов, ныне

же благодаря американской технике доведено до пяти тысяч человек.

Все остальные нации являются элементом пришлым.

Англичане и ирландцы стоят на главном месте.

Потом, постояв, первые идут в губернаторы, вторые — в полисмены.

Итальянцы занимаются парикмахерским делом и убийствами.

Румыны играют на скрипках, женятся и разводятся.

Евреи печатают так называемые шифскарты<sup>1</sup> и потом рассылают их по всем своим родственникам.

Что же касается русских, то они делятся на духоборов и присяжных поверенных.

Духоборы постепенно вымирают, а присяжные поверенные служат судомойками...

Политический строй Америки — веселый и жизнерадостный.

Из тридцати американских президентов большинство умерло своей смертью и только трое были убиты, но при большом обороте такой ничтожный процент не имеет, разумеется, никакого значения.

Из бывших президентов особенно популярен Джон Вашингтон.

Он прославился борьбой за независимость и ежегодным освобождением учащихся от занятий в день своей смерти.

Монетной единицей считается доллар, поэтому Америка и богата.

Сами американцы очень добродушны и отзывчивы. Достаточно сказать, что в самой большой своей тюрьме, Синг-Синг, они устраивают для смертников прекрасные концерты накануне казни: сначала исполняются духовные песнопения, потом выступает Шаляпин, потом всем раздаются бутерброды.

Кстати сказать, и самая казнь обставлена очень гуманно. Человека сажают на электрический стул, вставляют в него штепсель и дают полное парадное освещение всех внутренностей.

---

<sup>1</sup>Шифскарты — пароходные карты.



## 2

Что же надо для того, чтобы попасть в Америку?  
Прежде всего надо, чтобы в другом месте вам жилось плохо.

Раз вам живется плохо, то это уже хорошо.

Остается только заполнить опросный лист.

Будьте осторожны и предусмотрительны!

Прежде всего под угрозой тяжелого наказания за дачу ложных сведений вы должны ответить честно и прямо:

Была ли у вашей бабушки скарлатина?!

Я знаю робких и двоедушных людей, которые уклончиво писали:

— Корь...

Но должен сказать, что это не помогает.

Следующий вопрос: не сумасшедший ли вы? На этот вопрос лучше всего кратко ответить: нет.

Затем вас спрашивают:

— А как вы относитесь к многоженству?

Пишите уверенным и размашистым почерком:

— С нескрываемым отвращением!

Наконец, последний вопрос: Имеете ли вы при себе пятьдесят долларов на первое время?

Отвечайте: да, имею.

И не беспокойтесь, любая пароходная компания выдает эту сумму напрокат перед спуском на берег, а затем, после исполнения всех формальностей, у вас эти пятьдесят долларов отнимут.

Если хотите, можете их записать в расход.

## 3

Еще один практический совет.

Приехав в Америку, непременно изучайте английский язык.

Способов изучения — тьма, но самый популярный и простой — это после четырнадцати часов работы на бисквитной фабрике — посещать бесплатные вечерние курсы для взрослых.

Через три месяца вы умрете от истощения, но зато с просветленным и твердым сознанием, что эйч не всегда произносится так, как пишется.

1926—1927

## О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ

Прежде всего разберем с точки зрения, что есть вода как таковая.

Так называемая вода есть не более и не менее как влага, или, точнее говоря, жидкость.

Принимая во внимание подобный факт, мы имеем перед собой задачу, которую нам дал товарищ Задачник нашего рабочего факультета, или, точнее говоря, рабфака, а именно что?

А именно то, что вода бывает дождевая, идущая сверху, и минеральная, идущая снизу, не говоря уже о таких явлениях природы, как всем известный кипяток.

Смешно скрывать, что вода имеет громадное значение для всего человечества, как воодушевленного, а также для членораздельных животных и всех, вообще, органов, живущих на нашем земном шаре, включая даже такие несознательные индивиды, как домашний скот.

Если случается, что вода течет, значит, нет никакого сомнения, что это вода вполне текущая; если же, наоборот, она стоит на одном месте, то это уже, извиняюсь, болото.

Главное значение вода имеет для: питья, мытья, стирки и наводнения.

Но, кроме пользы, от воды бывает и социальный вред, как холера и тому подобное, если пить в сыром виде, как говорится, в чем мать родила.

Таким образом, перейдем на морской путь.

Если б не было морской воды, то для флота было бы очень плохо, потому броненосец не может долго держаться на суше и во что бы то ни стало должен плавать в противоположном направлении.

Такой же вопиющий факт имеется в отношении рыбы, как, например, кефаль или селедка как таковые.

В то самое время, как без воды они, так сказать,дохнут на ваших глазах и, напротив, как в воду опущенные,цветут, как роза.

Опять же, метота икры невозможна сухопутным путем по причине того идеала, что всякое сырье любит сырость, а если нет, — позорная смерть и полное прозябание.

Что касается в смысле урожая растений, то хотя она прет прямо из земли, а поливать надо до последней капли человеческой жидкости.

Из истории мы узнаем, что еще древние египтяне занимались разлитием Нила, чтобы поддержать цветущую промышленность своих хлебных злаков; чего нельзя сказать об эскимосах во глубине сибирских руд.

Во времена проклятого самодержавия сколько гибло озимых и яровых от сухой погоды и солнечных ударов, как страшная жертва общественного термометра, невзирая на голодающие губернии и даже уезды.

Но наша советская власть повернулась своим лицом к деревне и собственноручно оросила несжатую полосу крестьянского хозяйства вплоть до исстрадавшихся низов киргизской республики, объединив в мощную канальскую систему разрозненные каналы водопроводной сети.

Переходя к предмету настоящего сочинения, необходимо остановиться на значении воды в отношении антисанитарного здравоохранения революционных элементов нашей необъятной родины.

Почему всевозможная человеческая индивидуальность умывается и даже ходит в баню, несмотря на потерю времени для самообразования?

Почему?!

А потому, отвечает аналогия, что если наша индивидуальность не будет мыться, то ее окончательно загрызает вша, сей гнусный пережиток деспотического режима и сверхъестественной истории.

В заключение не можем не упомянуть про классовую борьбу женского сословия, каковое зачастую рыдает навзрыд по причине алиментов или несходства пола и характера в гражданских браках вышеизложенной эпохи.

Можем ли мы, наложив на себя руки на сердце, считать упомянутые слезы, так сказать, текучей водой?!

Или должны с презрением отвергнуть как подлый вопрос буржуазного разложения женской личности, считая означенную жидкость показательным приемом на семейном фронте?..

Ввиду того, что ответ напрашивается сам и, так сказать, спрос соответствует предложению, находим нужным выразить общественное порицание и закончить словами нашего великого поэта:

«И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!»

1926

### «У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНый...»

Товарищи комсомольцы, мужского и женского рода! Вот уже ровно сто двадцать семь лет, как родился Пушкин, а между тем что сделано нами, чтобы увековечить его память с точки зрения диктатуры пролетариата?

Смешно сказать, но ничего.

Так сомкнем же ряды и разберемся.

Пред нами знаменитый пролог к «Руслану и Людмиле», написанный в худшие времена царизма.

Не подлежит никакому сомнению, что это глубочайшая аллегория, которая только по условиям жестокой цензуры была названа прологом.

На самом же деле это, в полном смысле слова, эпилог, со всеми вытекающими из него последствиями.

Наша задача — очистить и выскоблить гнусные наросты цензурного гнета и, восстановив первоначальный смысл пушкинских символов, предоставить их для широкого массового потребления.

Итак.

«У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том».

Что же это за Лукоморье?!

На первый взгляд, как будто бы ничего особенного, так себе, место для невинных прогулок беднейших классов населения.

Но, увы, это только на первый взгляд.

Мрачная действительность доказывает с вопиющей

очевидностью, что так называемое Лукоморье есть не что иное, товарищи, как оплот воинствующего империализма, или, иначе говоря, Балтийская морская база.

Таким образом, настоящий смысл пролога-эпилога резко меняется с первого же слова.

— У Балтморбазы дуб зеленый...

Но почему дуб?

Почему именно дуб, а не другая древесная порода?

Да потому, что дуб — это классовый символ буржуазного могущества, уходящий всеми своими корнями в происхождение семьи, частной собственности и государства.

Но Великая Октябрьская революция с корнем вырывает этот развратный дуб и сажает на его место молодой бедняцкий ясень!..

Таким образом, в процессе грозного социального древо-насаждения зелено-кадетский дуб превращается в красно-пролетарский ясень, и уже по-новому звучит, очищенная от искажений, великолепная пушкинская строфа:

— У Балтморбазы ясень красный.

Но идем дальше!

Не ясно ли вам, товарищи, почему находящаяся во второй строчке цепь — золотая?..

Пусть присутствующие на собрании товарищи-металлисты и, вообще, побывавшие в ссылке выскажутся с полной откровенностью, видали ли они когда-нибудь каторжные цепи из настоящего золота?

Конечно, нет!

И даже совершенно невооруженным глазом можно определить, что это грубейшая подделка, сделанная по требованию охранного отделения с целью затемнения народного самосознания...

Нечего и говорить, что вышеизложенная цепь сработана из чистого железа или, в самом крайнем случае, из чистой стали.

Стало быть, не золотая цепь, а стальная.

Так и запомним.

Однако же идем дальше.

— «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».

Здесь мы, можно сказать, вплотную подходим к гру-

стному явлению бессовестной эксплуатации наемного труда:

— И днем, и ночью...

Я ставлю вопрос: возможны ли в социалистическом государстве подобные стихи?! И отвечаю: нет, невозможны!

**И да здравствует восьмичасовой рабочий день, независимо от качества продукции!**

Теперь нам остается разобраться в отношении так называемого ученого кота, действительно ли это настоящий кот из кошачьего племени и, так сказать, обыкновенная кошка мужского пола или это только псевдоним, под которым скрывается изможденный скелет, пострадавший за убеждения?!

Принимая во внимание, что, как Руслан, так и Людмила, были великокняжеского происхождения и почти царского корня, то можно с уверенностью сказать, что вышеупомянутое домашнее животное ничего общего с ними не имело и что в данном случае оба они страдали за буржуазную любовь, а не за программу-максимум или какие-нибудь другие террористические действия.

В таком случае следует обратиться к логике, которая ясно показывает, что, с одной стороны, это не псевдоним, а с другой — диаметрально-противоположной стороны, это далеко не кот.

Очевидно, Пушкину необходимо было тщательно замаскировать пропагандный характер своего произведения, вследствие чего он и вставил своего кота, подобно тому, как в армянской поэзии имеется так называемая селедка.

Таким образом, кот должен быть уничтожен в ударном порядке, несмотря на общеобразовательный ценз.

Итак, что же мы имеем в благоуханных стихах пушкинского эпилога?..

— У Балтморбазы яшень красный.  
Стальная цепь лежит на ем.  
Восьмичасовой труд прекрасный.  
А, кстати, кошка ни при чем.

Рассказы и фельетоны,  
не вошедшие  
в книгу







## ИНТЕРВЬЮ

И так:

Французские деньги печатаются в Венгрии.

Португальские — в Голландии.

Сербские — в Германии.

Германские — в Швейцарии.

Английские — в Португалии.

И так далее.

Что делать? Что делать? Что делать?! — мы обратились к известному экономисту с горячей просьбой ответить на все эти три вопроса.

Известный экономист сказал:

— Продолжать в том же духе!..

— ?!

— Очень просто! Братство народов и одна нация работает на другую. Одна страна производит, другая потребляет.

Одна ввозит, другая вывозит, пошлины никакой, обмен веществ порто-франко и равенство.

Настоящие деньги объявляются недействительными, фальшивые объявляются настоящими.

Международные долги становятся шутливым международным развлечением.

Франция должна Америке? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

Сели, отпечатали и отдали. Ни кризисов, ни конференций, ни Дауса, ни хаоса.

Внешние займы?! Чепуха, вздор, бред, фантазия! За-

чем Чехословакии просить займы у Италии, когда итальянские лиры спокойно печатаются в Чехословакии?!

Помните, как сказано: «У Яноша в комнате — Бронки портрет, у Бронки — портрет Станислава!..»

Мы поблагодарили известного экономиста за любезность и за цитату и отправились к известному типографу и литографу. Типограф и литограф сказал нам:

— Фальшивомонетчиками называют тех, кто в пределах корыстных потребностей своих подделывает и сбывает несколько фальшивых ассигнаций.

Совсем другое, когда люди печатают кредитные билеты, хотя бы и по существующему уже образцу, но в масштабе государственного бюджета.

Можем ли мы таких людей считать простыми фальшивомонетчиками? Конечно, нет!

Это просто крупные издатели, работающие на иностранный рынок!

Они удешевляют дорогие, малодоступные экземпляры и путем широкого и художественного производства достигают того, что переизданные ими произведения, дополненные и исправленные, получают свободный доступ в массы.

Недалек тот день, когда частная инициатива совершенно вытеснит государственную и печатный станок станет таким же необходимым предметом домашнего обихода, как гладильная доска или умывальник!..

Мы сердечно пожали руку типографа и руку литографа и отправились к известному политическому деятелю.

Этот последний принять нас отказался; тогда мы просто объявили его неизвестным и недеятелем и пошли прямо к начальнику сыскной полиции.

— Вы по делу о фальшивых ассигнациях?

— Да, ваше просвещенное мнение...

Начальник сыскной полиции оказался необыкновенно любезен и ни за что на свете не хотел нас отпустить. Вышли мы от него только два месяца спустя...

Но зато с какими знаниями!.. с какими знаниями, господа!..

## КВАРТИРОЛОГИЯ

### 1

Оружеская встреча русской эмиграции затянулась долго за полночь.

Как чудный сон, прошли первые восемь лет.

Еще два года — и земская давность.

Пользы от нее никакой, но лестно.

Если только доживем, обязательно юбилей устроим.

Так или иначе, а многое утрамбовалось, — и потихоньку, да полегоньку большинство поустраивалось: кто на Пер-Лашез, кто у Ситроена, кто — экспорасьон, кто — импортасьон, кто — маникюр, кто — педикюр, а кто и просто в цыганском хоре: «Аи, да тройка, снег пуши-ста-ай...»

И в самом деле, почему бы и нет?!

### 2

Единственное, в чем нам не везет, это в квартирном вопросе.

Квартирный вопрос, господа, гораздо глубже, чем это принято думать.

Вот, все говорят, — жилищный кризис, перенаселение городов, последствия войны, последствия революции, социальные приросты, социальные наросты, — а толку от этих разговоров никакого.

Далеко ли за примерами ходить, когда самого верховного по этим делам комиссара выставили на днях из квартиры?! Невероятно? Так вот вам и вероятно.

А сколько порядочных людей и даже с самыми благородными убеждениями ночует черт знает где!..

Впрочем, чему же удивляться, когда все заботы о русских беженцах поручены Фритьофу Нансену?!

Он, может быть, и норвежец, и гуманист, но ведь беда в том, что он путешественник, знаменитый путешественник!..

Человек, который ездит на Северный полюс, как мы на Ля Мот Пикэ?!

Ну, сами посудите, может ли такой кочевой доктор разрешать проблему чужой оседлости?.. Конечно, нет.

Вот оно и выходит, что паспорт у нас нансеновский, а квартиры никакой.

### 3

Эмигрант без квартиры — все равно что пробочник для Робинзона: вещь полезная, а воткнуть его некуда.

### 4

Несмотря на вышеизложенное, существует все-таки несколько способов найти квартиру.

Самый банальный — это квартира с реприз.

Репризы бывают разные, десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч, сто тысяч. Зато в квартирах разницы не бывает — всегда дрянь.

В дешевый реприз входит: бай до весны, если квартира снимается зимою, и обстановка — календарь и вешалка.

Но за сто тысяч можно уже получить двуспальную кровать и право пользования лифтом.

— Mais, cest pas mal, voyons!.. — нагло заявляет консьержка.

Затем существует способ найти квартиру при помощи самой консьержки.

В таких случаях обыкновенно говорят: а мы нашли квартиру через консьержку.

Ученый-филолог объяснил мне, что это выражение историческое, идущее от далеких московских времен.

«На Малой Козихе сдается студентам комната с ходом через хозяйку».

Во всяком случае, квартира через консьержку — это забвение всего, что есть в человеческой личности высокого, гордого, непримиримого: это сдача позиций, свержение богов, сожжение кораблей, отступничество, самоуничтожение, моральная смерть...

Любая парижская консьержка имеет: от роду не менее пятидесяти двух лет, аппетит волчицы, бюст Екатерины Второй и характер Агриппины Младшей.

Физиономия у них красная, рукава засучены, как у

средневекового палача, узкие, барсучьи гляделки, а голос... Боже! Да у остервенелой цепной собаки — лирическое сопрано по сравнению с этим, с позволения сказать, женским голосом.

Кто бы вы ни были, знайте, что она вас презирает.

Заранее и навсегда.

Проститесь мысленно со своим прошлым, робко постучитесь в двери и... пресмыкайтесь.

Скажите, что русские бумаги скоро будут восстановлены; что по всем купонам заплатят полным золотым франком; что детей у вас нет, а если будут, то вы их задушите; что платить вы согласны за семнадцать лет вперед; страховка от огня, наводнения и землетрясения, конечно, на ваш счет; после десяти часов вечера вы обязуетесь надевать войлочные туфли, и не только вы, но и гости ваши, независимо от пола и подданства; в заключение выразите этой мегере свое искреннее сочувствие по поводу того, что столь достойная особа, как она, должна работать с утра до вечера, в то время как проклятые иностранцы живут здесь *roug tien*, — и дайте ей первые сто франков.

Затем еженедельно повторяйте то же самое, т. е. монолог и деньги.

Проделывайте это в течение ближайших десяти месяцев.

На одиннадцатый у вас будет собственная квартира из катр пьес: коридора, уборной, кухни и салона, причем кухня на солнечную сторону.

Остается... поздравить вас с новосельем!

1926

## О СУЕВЕРИЯХ

Одавно думаю: чем объяснить это невероятное количество суеверий?..

В самые жестокие времена Средневековья, когда на запруженных народом площадях с утра до вечера жгли ведьм, одержимых и еретиков, даже и тогда суеверия и предрассудки не имели столь широкого распространения, как в наши дни, и в особенности в эмиграции.

Если не считать покойников, то нет такой самой за-

худалой карт-д-идантите, за которой не числилось бы несколько солидных недоимок по части здравого смысла и простой душевной ясности.

Ну, шел бы разговор о простонародье, я еще понимаю.

А то ведь мозг страны, сплошная, так сказать, сливка общества, а вот не угодно ли?..

Долго наблюдая и самого себя, и окружающих, пришел к убеждению, что эмигрантские суеверия сводятся к двум основным типам или категориям.

Один тип — это суеверия явные, откровенные, ни в какой мере не скрываемые.

Говорят о них, как о чем-то совершенно обыкновенном, вполне естественном, будничном.

Понедельник — тяжелый день, с одной спички троим не закуривать, тринадцать — опасное число и так далее.

Все к этому так привыкли, что и удивляться перестали.

Правда и то, что откровенных суеверий и дурных примет не так уж в эмигрантском быту и много.

Изменилось все: и обстоятельство места, и обстоятельство времени, и в особенности обстоятельство образа действия.

Какому кучеру придет в голову сворачивать в сторону, ежели заяц ему дорогу перебежит, когда за восемь лет эмиграции никто и в глаза не видел ни кучера, ни зайца?..

Да уж если взять честного русского шофера, так он не то что зайца, а любую туземную старуху в два счета задавит, а в сторону не свернет!

Или опять же если баба с пустыми ведрами навстречу попадется?

Да, если бы нашлась такая сумасшедшая баба, чтоб с пустыми ведрами по Парижу ходить, так воображаю, сколько бы это на нее одних только газетных репортеров да фотографов накинлось бы, не говоря уже об уличной толпе, конной полиции и прочих вещах!

Нет, все это, конечно, чепуха и анахронизм.

Не такой это город, чтоб в нем собаки выли, вороны каркали или по тротуарам зайцы бегали.

Потому, вероятно, так и развился второй, не явный, а тайный тип эмигрантских суеверий, тех, о которых не то что вслух не говорят, а, наоборот, тщательно от постороннего глаза прячут, замалчивают и всячески скрывают.

Эти суеверия уже строго индивидуальные, придуманы для собственного домашнего употребления и никак общему учету не поддаются.

Но если зорко всмотреться, то вот какие бывают наиболее яркие и замечательные случаи.

1) Икс спокойно идет по улице, беззаботно разглядывает розовые бюстгальтеры в аптечной витрине и вообще настроен самым мирным образом.

Вдруг он замечает кривобокий автобус, выпрыгнувший из-за угла и идущий полным ходом к ближайшей остановке.

Внезапно осеняет Икса какая-то мысль, и не проходит секунды, как он, в припадке безумия, перелетает на другую сторону улицы, сбивает с ног нескольких пешеходов и, тяжело дыша и высунув язык, мчится вслед за автобусом с явным намерением его перегнать... И, о счастье! За секунду до того, что автобус останавливается, торжествующий Икс стоит уже у фонарного столба, прижимая руку к сердцу, готовому разорваться от этой сумасшедшей беготни.

Толпа, стоящая на задней площадке, сочувственно сторонится, желая уступить место предприимчивому запыхавшемуся господину.

Но... Иксу совершенно не нужны ни автобус, ни сочувствие, ни задняя площадка.

Он просто загадал:

Если добегу до остановки прежде, чем эта кривобокая машина, то значит все будет хорошо!..

— А если, не дай Бог, не успею, ну тогда дело мое плохо...

Вот и все. А теперь можно спокойно досматривать универсальные витрины.

Случай чрезвычайно распространенный и хотя тщательно скрываемый, но полный мистики.

2) Ивану Ивановичу надо срочно ехать по срочному делу. На площади вереница такси. Выбирай любое! Да и выбирать-то нечего, когда до неотложного делового свидания считанные минуты остались, а ехать за тридевять земель надо...

Но нет! Иван Иванович быстро переходит от такси к такси, осматривает каждый кузов, что-то про себя сооб-

ражает, множит, делит, вычитает и, наконец, потеряв добрую половину оставшегося времени, но, очевидно, найдя то, что нужно, вскакивает на подножку, хлопает дверцей и с видом победителя разваливается на сиденье.

Ну, теперь удача обеспечена!

Вы хотите знать, почему?!

Да очень просто, потому что 37514! Это и есть номер такси, сумма цифр которого без остатка делится на четыре!..

Почему именно на четыре и почему только сумма цифр, это уже секрет изобретателя, но уж, наверное, такой просвещенный человек, как Иван Иванович, знает, что он делает.

3) Приведу еще третий случай, правда, не индивидуальный, но также весьма часто встречающийся. Пришли мы к Вере Николаевне в гости. Сидим, пьем чай с вареньем и, конечно, ведем интеллигентный разговор — что-то о похоронах Микадо.

Вдруг один из гостей, ни слова не говоря, чихает. Божел!.. Если б вы видели, какой тут подымается переполох!.. Пять человек с хозяйкой во главе вскакивают со стульев, стучат пальцами о неполированное дерево и, словно их хорошему пению обучали, сразу все в один голос кричат:

— Тьфу, тьфу, тьфу, сухо дерево назад не пятится!

Потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол и продолжают доедать варенье.

Оказывается, нельзя чихать, когда о смерти говорят. А то вот чихнешь, ничего этим даже не думая, а от тебя, глядишь, одно только воспоминание останется. Как от Микадо.

1927

## ДНЕВНИК КОЛИ СЫРОЕЖКИНА

«...*М*еня зовут Коля.

Я решил вести дневник.

Скоро мне будет тринадцать лет. Мама говорит, что надо записывать только самое главное.



А папа ничего не говорит.

Он только курит желтые папиросы и говорит, что мы живем не по средствам.

Тогда мама говорит, что у него будет отравление никотином.

А дядя Петя говорит, что я третья Россия и из меня вырастет мешочник.

Потому что у меня нет идеалов и я не удирал к бурам.

Дядя Петя обижается, что я читаю «Приключения Бико» и не обращаю внимания на русский народный эпос в Тургеневской библиотеке.

Тогда мама говорит, что зато мне будет легче жить и я не буду такой мягкотелый, как папа.

Потому что папа работает на парфюмерной фабрике и занимается донкихотством.

Тогда папа барабанит пальцами и говорит, что ты набита предрассудками, как матрац клопами.

Конечно, мама сердится, чтоб он прекратил разговоры и лучше ел голубцы.

Тогда уже пора ложиться спать, потому что поздно и надо рано вставать в лицей.

Завтра напишу свое продолжение.

Самое главное, что я влюблен в Нюсю.

Дядя Петя говорит, что это ничто и Лермонтов был влюблен еще раньше, когда ему было восемь лет.

Но он любит меня дразнить, что у Нюси один глаз на нас, а другой на Арзамас.

Но это неправда, такого города во Франции нет, и, во-первых, она только немножко косит одним глазом, и все говорят, что она будет королевой русской колонии за чарлстон и за длинные волосы, только если она не острится.

Я взял перочинный ножик и вырезал ее имя в подъемной машине.

Только это было долго, и консьержка пришла жаловаться, что я застрял между этажами.

Тогда был скандал, и дядя Петя опять стал дразнить и рассказал Нюсе. Она покраснела как рак и сказала, что это вовсе идиотство.

Мы два дня были в ссоре, но я хотел отомстить дяде Пете и разрезал его подтяжки.

Тогда, хотя папа мягкотелый, залепил мне пощечину (эн жиффл), пока пришла мама и сказала, чтоб не сметь шутить с первым чувством и чтобы я не ревел как зарезанный.

Потом мы пили чай и пошли в синема «Мишель Строгов».

Но дядя Петя все время злился, что падают брюки и вообще что это развесистая клюква.

Но мне очень понравилось, что Мишелю вырезали глаза, и езда на санях.

Наверное, в России очень холодно, мама говорит, что там каждый день трещат морозы, но очень далеко, потому не слышно.

...Сегодня получил десять за композисьон.

Мосье Лекар сказал, что я лучше всех мальчиков написал про пользу огня, но только не надо было писать про зажигалки.

Но, конечно, я смолчал, потому что мне было стыдно сказать, что дядя Петя сам меня подговорил насчет зажигалок.

Мама была очень довольна и сказала, что я по-немецки вундеркинд, но по-русски всегда ей подаю надежды.

Почему же папа говорит, что я не услужливый?..

Не понимаю.

Я бы очень хотел быть писателем.

Все писатели очень знаменитые и всегда устраивают лотереи с танцами.

Когда я вырасту большой, я тоже буду так делать: днем сочинять, а потом танцевать до утра с кабаре и с лотереями.

Нюся говорит, что она, когда вырастет, будет женщина-врач по всем болезням.

Но я не хочу, чтобы от нее пахло лекарствами.

А дядя Петя говорит, что это ничего, зато, когда венчаться надо, так можно будет выхлопотать карету «Скорой помощи» и бесплатно в церковь поехать.

Но это еще далеко, и неизвестно, что еще с нами будет...

На всякий случай я сочинил стихи про Нюсю и про себя.

Не дай бог, если бы дядя Петя их увидел! Я лучше готов умереть от самолюбия.

Вот эти стихи:

— Нюся, Нюся, Нюся, Нюся,  
Ты косишь на один глаз,  
Но любить я вечно буду,  
Как вчера и как сейчас.  
У тебя с Венерой сходство,  
Только я не Аполлон,  
Почему же идиотство,  
Если я в тебя влюблен?..  
Коля ...ежкин (псевдоним)

1927

## КАФЕ-НАТЮР

**П**ессимист и оптимист сидели в кафе.

Несмотря на разницу мировоззрений, оба они пили кафе-натюр и курили.

Пессимист курил свои собственные папиросы, оптимист — папиросы пессимиста.

Разговор был древнерусский, т. е. о чарлстоне, о происхождении человека от обезьяны, о стабилизации франка и о бессмертии души.

Пессимист смотрел на вещи пессимистически.

Оптимист — совершенно наоборот.

*Пессимист.* — На второй день после октябрьского переворота вы меня искренне уверяли, что через две недели большевики вылетят в трубу.

Так как две недели уже прошли, то позвольте вас спросить, почему они не вылетают?..

*Оптимист.* — А, по-моему, они уже давным-давно вылетели!

*П.* — ?! Так что, их там больше нет?

*О.* — Нет!

*П.* — А что же там есть?

*О.* — Оптический обман.

*П.* — На чем же он держится?!

*О.* — На оптике и на пессимизме.

П. — Что же в таком случае необходимо, чтобы этот ваш оптический обман кончился?!

О. — Протереть глаза и стать оптимистом!

П. — И вы в это твердо верите?

О. — Так же твердо, как в то, что я пью этот кафе-натюр, за который платить будете вы!

П. — А если я не заплачу?..

О. — Это не важно. Кофе уже выпит, а процесс пищеварения подобен ходу истории: он непреложен.

П. — Вы, очевидно, великолепно настроены?

О. — А почему бы и нет?

П. — Помилуйте, восемь лет назад, вот так же, как и сейчас, мы сидели с вами вдвоем за чашкой чудесного турецкого кофе с этим их изумительным каймаком, глядели на расплавленный солнцем Босфор и наслаждались музыкой уличной шарманки.

О. — И под музыку вы мне и говорили: через две недели эмиграция погибнет!..

Так как эти две недели уже прошли, то позвольте вас спросить, на каком основании она не погибает?!

П. — Ну, знаете ли... в восторг тоже не от чего приходить.

Безработица, кризис, недоедание. Гарсон! анкор дэ!

О. — Вот в этом вы правы, кофе у них действительно превосходный...

Что же касается вашего недоедания, недопивания и всех этих ваших кризисов, то мы их столько за восемь лет испытали и преодолели, что никакой таблицы умножения не хватит, чтоб все это толком подсчитать и в надлежащий итог уложить!

Однако никто еще на наших глазах с голоду не умирал, за фокстерьерами не охотился и на домашних кошек не покушался!..

П. — Да, но это все-таки крайне неприятно и даже тяжело...

О. — А вы как же полагаете, что я за три ваших кафенатюра обязался вам сплошные удовольствия доставлять?

Конечно, и неприятно, и тяжело, и очень даже тяжело!

Но наряду со всем тем не доказываем ли мы каждый раз и нашу исключительную жизнеспособность, самодеятельность, ценность, инициативу, энергию, бодрость, волю к жизни и...

П. — И, скажите просто, грубейший инстинкт самосохранения!..

О. — Ну, и что же! И тоже не так плохо! В конце концов, если уж на то пошло, то ведь дело идет о самосохранении — я не скажу, отборных наших, но и не подонков же общества!

Ведь как-никак, а среди двух миллионов нансеновских паспортов большинство составляют не футболисты, не хамю-дюруа и не цыганские баритоны?!

П. — Да, но от примитивной борьбы за существование и, скажем, до творческой тоски по родине еще дистанция огромного размера!..

О. — Ага, понимаю, так вы желаете, чтобы я пил это самое кафе-натюр не потому, что оно вкусно, ароматно и утоляет жажду, а исключительно во имя отвлеченных ценностей?..

То есть, иначе говоря, пей, несчастный, но помни, что это не просто кофе, а борьба за Россию!.. Так, что ли?!

...Пессимист мрачно посмотрел на высившуюся перед ними грудю блюдецек — по числу отконсомированных натюров. И, очевидно повинувась инстинкту самосохранения, расплатился с гарсоном.

1927

## **ТРЕ РЮСС<sup>1</sup>**

*Издание консервативно-либеральное  
и абсолютно-относительное №1*

Год издания первый  
Год терпения восьмой  
**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ**  
**КОТИДЬЕН<sup>2</sup>**

Париж, 5 августа 1926 г.

Мы уже давно доказывали правительству Соединенных Штатов, что Штаты надо сократить. Но правитель-

---

<sup>1</sup>Тре рюсс — très russe — очень русская (фр.).

<sup>2</sup>Котидьен — quotidien — ежедневный орган, газета (фр.).

ство остается глухо к нашим указаниям и заявляет: куда вы лезете?

Тогда мы заявляем в свою очередь, что никуда мы не лезем, а просто настаиваем на доктрине доктора Монроа:

Эмиграция — для эмигрантов!

Спрашивается: до каких пор должны мы следовать доктрине доктора Нансена, который как норвежец, конечно, требует пять золотых за паспорт, не говоря уже за триста семьдесят пять за карт-д-идантите?

Пусть наши враги говорят, что это пошлость в такое время писать за презренный металл, но мы не презренные металлисты и не фальшивомонетчики.

И лучше мы все соберемся на седьмой этаж и выбросимся оттудова, чем переносить позор, что эмигрант есть Валюта Скуратов, как какой-нибудь американец. Одним словом:

— Мизерере...

## ТЕЛЕГРАММЫ

Лондон. Рижский корреспондент «Чикаго трибюн» сообщает кружным путем корреспонденту «Дэйли Ньюс», что рижский корреспондент «Дэйли Телеграф» получил сведения из достоверного источника, заслуживающего доверия, о том, что, несмотря на троцкизм, фамилия Троцкого — Бронштейн (см. «Тре Рюсс», № 0.0).

Лондон. Тот же корреспондент телеграфирует через Стокгольм в «Свенска-Свинска», что на похороны Дзержинского съехалось 37 центральных губерний в полном составе.

За отсутствием на Красной площади места, для остальных пятнадцати губерний похороны будут полностью повторены (см. «Тре Рюсс», № 0.01).

Мехико. За неимением обедающих католиков прекращены домашние обеды. Бойкот и паника.

Лиссабон. С момента на момент ждут убийства президента.

Мадрид. Покушавшийся на Примо де Ривера эстетический анархист Лопец заявил, что он не имел намерения убить генерала, а только хотел его напугать.

Лопецу дан ход.

Афины. Новый греческий премьер Папа-Анастасиу

выслан на тот же остров Наксос, где находится древний греческий премьер Мама-Ефросиниу.

Встреча носила самый сердечный характер.

*Нью-Йорк.* (По кабелю.) Официально сообщается, что секретарь Государственного Казначейства Меллон путешествует за собственный счет, и исключительно из любопытства.

*Пекин.* Ву-Пей-Фу соединился с сыном Чанг-Тсо-Лина, отрeksiмся от отца в пользу дяди, войска которого отошли на север, чтобы закрепить за собой положение на юге.

## **РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ**

— На конгрессе теософов в Голландии индус Кришна-мурти заявил, что он уезжает на каникулы и до поздней осени воплощаться больше не будет.

— Страсбургская обсерватория отметила незначительные колебания почвы в Милане. Миланская обсерватория ничего не чувствовала, но из вежливости отметила незначительные колебания почвы в Страсбурге.

— Берлинский доктор Калигари изобрел новый способ пересадки носов. Первые опыты дают основание предполагать, что в недалеком будущем человечество начнет чихать с затылка.

## **ПАРИЖСКАЯ ХРОНИКА**

### **СЛУЧАЙ С ЖЕНЩИНОЙ**

В городской лечебнице на Шатлэ неизвестная молодая женщина благополучно разрешилась от бремени уродом, который похож на сову или, точнее говоря, на дельфина.

## **ЖЕРТВА УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ**

Переходя по площади Нотр-Дам-де-Лорет, некто Жан Пуар, по профессии кровельщик, со всей силы двинул кулаком стоявшего на углу некоего Пьера Масседуана, по профессии переплетчик, который, не приходя в себя, скончался. Производится следствие.

## НОВОСТИ СЕЗОНА

По подсчетам городского статистического бюро, за истекший июль месяц в Париже зарегистрировано 1711 смертных случаев от скарлатины и других эпидемий.

## ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ

Вышла первая книга журнала «Версты».

С первого же взгляда бросается в глаза большое количество столбов.

На днях в Бианкуре состоится общедоступный кулачный бой между отцами и детьми. В заключение г-жа Полежаева прочтет басню Крылова «Стрекоза и муравей».

## ОБЪЯВЛЕНИЯ

Располагаю ста пятьюдесятью тыс. франков. Вместо того чтобы сохранить их, хочу вложить их в верное дело.

Спешно разыскиваю свою бывшую жену Матильду Ивановну. Лиц, знающих о ее местопребывании, умоляю сообщить. Дорога как память.

По случаю отъезда продаю место на кладбище. Выгодные условия. Удобное сообщение, чудесный воздух. Посредников прос. не беспоко.

Доктор философии Оксфордского университета (играет на рояле) ищет место ответственного судомоя.

До 1 января 1927 года интересуюсь покупкой розничных и оптических предметов домашнего обихода.

Сдается комната на обе солнечные стороны. К консержке не обращаться, по лифту не подыматься, по-русски не разговаривать.

Ново! Достигнуто! Зубной порошок для русских!

Ищу компаньона для совместного турне по Парижу.

Хорошая шуба на кроличьем меху продается целиком, можно частями.

Отдыхаю по мо-краузе<sup>1</sup>, прихожу на дом. Также играю в шестьдесят шесть. Расстоянием не стесняюсь.

Настроение роялей и друг. музыкальных инструм. Доступно каждому и каждой.

---

<sup>1</sup> Мо-краузе — mots croisés — кроссворд (фр.).



## **СТОРОННЕЕ СООБЩЕНИЕ**

Котик, вернись! Больше не буду...

*Редактор-издатель  
Дон-Аминадо*

### **ТРЕ РЮСС**

*Издание консервативно-либеральное  
и абсолютно-относительное № 2*

Год издания первый  
Год терпения восьмой  
**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
КОТИДЬЕН**

Париж, 12 августа 1926 г.

Наши враги не могут простить нам шумного успеха, выпавшего на долю нашего еженедельного котидьена, защищающего наши консервативно-либеральные идеи в духе нашего великого мыслителя и анахорета, господина директора Пробирной палатки Козьмы Пруtkова.

В городе и свете открыто говорят о том, что противная сторона решила открыть свой собственный котидьен на узкопартийной платформе «Рюсски Закусски» с ярко выраженным реакционно-революционным направлением.

Пусть!

Мы принимаем этот вызов и говорим:

Не запугаете! Напрасны, господа, ваши жалкие усилия начинить старую русскую кулебяку молодыми итальянскими макаронами.

Нет! Мы предпочитаем нашу кислую национальную капусту, завещанную Иваном Калитой и трижды воспетую Козьмой Пруtkовым.

Итак, беспощадная борьба до последней капли чернил, а иссякнут чернила, мы пустим в ход чернильницы.

Заутра бой, Полтавский бой!..

## ТЕЛЕГРАММЫ

**Москва.** В беседе с главным представителем АТА (Анонимного Телеграфного Агентства) Чичерин заявил, что франко-советские переговоры продолжают протекать.

**Рига.** Круглым путем сообщают из Москвы, что для того чтобы положить конец нелепым слухам о противоестественной смерти Дзержинского, правительство решило переименовать семь центральных губерний, назвав каждую по имени и отчеству покойного Феликса Эдмундовича.

**Москва.** Съезд Советов отсрочен до глубокой осени.

Если осень окажется недостаточно глубокой, то съезд будет приурочен к началу весенней навигации.

А там посмотрим!..

**Женева.** Приступлено к постройке Дворца Лиги наций.

Каждой нации отводится свое особое помещение с флагом и ванной комнатой.

К консьержке не обращаться.

**Копенгаген.** Подтверждаются слухи о болезни Чичерина и выезде его за границу для лечения.

Из достоверного источника сообщают, что ряд городов в советской России ожидает в непродолжительном времени переименования по имени Наркоминдела...

## РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

— В Англии вошел в силу закон о восьмичасовом рабочем дне. Углекопы бастуют по три дня в сутки...

— Японская цензура запретила публичное воспроизведение поцелуев в фильмах.

В любовных сюжетах поцелуи заменены известным японским обычаем — харакири.

— Из Пекина сообщают, что Карахан отпустил косу и не хочет выезжать из Китая.

— В Константинополе плохо одетая турчанка разрешилась от бремени четверней. Следствие установило, что с заговором против Кемаль-Паши случай этот ничего общего не имеет.

## **ПАРИЖСКАЯ ХРОНИКА**

### **ГАЗЕТНАЯ УТКА**

По случаю юбилея газеты «Тре Рюсс» состоялся юбилейный обед у редактора, который в интимной обстановке съел целую утку, не дав ни куска ни жене, ни детям.

### **АЛЖИРСКИЙ БЕЙ**

В ночном баре, на пляс Пигаль, два алжирца вступили в драку.

Наблюдавшая за единоборством публика науськивала разошедшихся туземцев ободряющими возгласами.

Алжирский? — Бей!

### **ПАДЕНИЕ ФРАНКА**

Русский беженец, Ал. Ив. Франк, переходя через Конкорд, поскользнулся и упал.

Пострадавший отделался переломом ключицы, ноги и правого бедра.

### **САМОУБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ ГРАБЕЖА**

Прошлой ночью сторожа накрыли с поличным некоего Жана Дюпона в тот момент, когда означенное лицо готовилось вынести корзину, наполненную семейными драгоценностями, принадлежавшими некому Пьеру Дюрану.

Пойманный на месте преступления грабитель застрелился.

### **ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ**

Окончательно выяснились результаты международного большого турнира Будапешт — Будапешт.

Из шестнадцати партий Тартаковер взял сорок четы-

ре у Касабланки, Касабланка отнял двадцать восемь обратно у Тартаковера и разделил их пополам между Чириковером и Далай-Ламой.

## ОБЪЯВЛЕНИЯ

Беру на воспитание невоспитанных и умственно-недостающих.

Ищу бонну в обмен на комнату. Мальчику семнадцать лет, девочке девятнадцать. Шоффаж сантраль<sup>1</sup>.

Французская просвирня дает уроки французского языка.

Учитесь языку у просвирни французской!

Бывшие страусовые перья продаются по случаю. Там же велосипедные принадлежности и другие продукты.

Требуется серьезная особа для расширения уже существующего компаньона.

Уезжаю в Пасси. Принимаю поручения.

Редактор-издатель  
Дон-Аминада

## НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

<1>

Беру записную книжку и записываю.

Чтобы, не дай Бог, не забыть и не напутать.

## ПОНЕДЕЛЬНИК

В течение часа чашка чая у Томичей, из Томска.

В пять часов чашка чая у Омичей, из Омска.

В семь часов подписной обед бывших воспитанников Павла Галагана, вэн-компри<sup>2</sup>.

В девять часов подписной ужин бывших воспитанников Кобелякской гимназии, с джазом и танцами.

---

<sup>1</sup>Шоффаж сантраль — *chauffage central* — центральное отопление (фр.).

<sup>2</sup>Вэн-компри — *vin compris* — включая вино (фр.).

## ВТОРНИК

Файф-о-клок уроженцев Военно-Грузинской дороги.

Файф-о-клок беспаспортных шестнадцатого аррондисмана<sup>1</sup>.

Банкет бессарабского землячества.

Бал в пользу пострадавших от аппендицита в Чехословакии.

## СРЕДА

Вестник бывших читателей «Князя Серебряного» в переплете.

Дружеская встреча неокончивших женское епархиальное училище в Саратове.

Банкет бывших мореходов и пешеходов по случаю 6 1/2-летия со дня его основания.

Бал в пользу зародышей югославского происхождения.

## ЧЕТВЕРГ

Чашка чая и дивертисмент в объединении бывших держателей бывших русских ценностей.

Чашка чая, рюмка водки в помещении «Союза непримиримых».

Бал-карнавал похоронной кассы взаимопомощи и выборы мумии русской колонии на целый год.

Традиционный бал Общества ревнителей голландского отопления, образующих буфет и кабаре.

## ПЯТНИЦА

Летний утренний завтрак в честь Алехина.

Торжественный обед в честь Алехина.

Горячий холодный ужин в честь Алехина.

Бал Общества молодых поэтов и прозаиков.

Бал Общества покровительства диким животным.

Бал бывших вольнослушательниц профессора Герье.

---

<sup>1</sup> Аррондисман — arrondissement — округ, городской район (в Париже) (фр.).

## СУББОТА

Концерт-бал сторонников совместного воспитания детей на свежем воздухе.

Грандиозный бал Общества любителей почтовых марок.

Юбилейный банкет Союза взаимного страхования от юбилеев.

Семейный вечер Объединения пишущих машинисток первого и второго разряда.

Ежегодный бал бывших последователей вегетарианской кухни.

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

Чашка чая у бывших псковитянок.

Подписной банкет по поводу благополучного присоединения Пюи-де-Ля-Помп<sup>1</sup> в России.

Бал здешних черкешенок с интимным концертом дикой дивизии.

Бал орехово-зуевского землячества.

Бал Общества любителей одиночной камерной музыки.

Общество бывших подкурщиков и подборщиков бывших русских мехов за границей.

И наконец:

Сверхграндиозный бал в пользу стремящихся мальчиков и девочек.

.Не доведи господи забыть или перепутать!

## &lt;2&gt;

Ищу солидного жильца,  
Интеллигентного с лица.

Хожу работать по часам:  
Homme de ménage<sup>2</sup> и он же femme<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Пюи-де-Ля-Помп — Puits de la pompe — колодец, из которого качают насосом (фр.).

<sup>2</sup> Помощник по хозяйству (фр.).

<sup>3</sup> Женщина (фр.).

Надо всё. Могу быть всем.  
Звонить 12-37.

Ищу крепкую эстонку  
К годовалому ребенку!

Срочно нужен компаньон.  
Есть «Bottin» и телефон.

Чищу. Мою. Натираю.  
В переписку не вступаю.

Ставлю банки, пьетки, клизмы —  
Укрепляю организмы.

В интеллигентной семье  
Продается сомье...<sup>1</sup>

Продается на ходу  
Птичка типа какаду.

Предлагаю двадцать франков  
За кредит в одном из банков!

В хор казаков из Бордо  
Нужен тенор с верхним «до».

Холостяк былой закваски  
Жаждет ласки...

Режимный стол. Покой. Песок.  
Обмен веществ в кратчайший срок.

За право пользования ванной  
Даю урок на фортепьяно...

Вступлю трудом  
В торговый дом!

Пойми. Прости. Клянусь. Клянись.  
Ключи под ковриком. Вернись.

---

<sup>1</sup>Сомье — sommier — матрац (фр.). Здесь: кушетка.

<3>

По условиям современности  
Продаются драгоценности.

Крашу! Кошку ли, собаку ль —  
В горностай или в каракуль!

Нуждаюсь в брюках и в жилете,  
Имею связи в высшем свете.

Белошвейка из Москвы  
Шьет с ручательством за швы.

— Пять детей!.. Необходима  
Нянька старого режима!

Обиваю... Чиню... Клею...  
Адреса не имею.

Присяжный стряпчий Кривоногов  
Даст советы от налогов.

Ищу занятий на дому,  
Не ваше дело — почему.

Предлагаю вензеля  
На любые векселя.

Изнываю от тоски.  
Ищу светлой блондинки:

— Переписываться от руки  
Или на пишущей машинке!..

Мечтаю о семейном счастье.  
Необходимо личное участие.

Страхование на случай смерти.  
Потерпите — и проверьте!

Требуется невеста,  
С рекомендацией с последнего места.



<4>

Диспут в клубе на Клиши  
О бессмертии души.

Там же прения сторон,  
Русский чай и граммофон.

Наша Маша помешалась —  
Крестословиц наreshалась!

Кроме жизни Бианкура,  
Жизнь есть camera obscura<sup>1</sup>.

Если развит в человеке  
Дар наития,

Он всегда отличит чеки  
Без покрытия.

И судебный пристав, кстати,  
Есть лишь труженик печати.

Гераклит, на вечность глядя,  
Утверждал, что все течет.

Да! течет... но только, дядя,  
Когда есть текущий счет.

Не повторяй горациевых од,  
Овидия презри метаморфозы.

Но твердо чти почтовый перевод  
Как образец художественной прозы!

Что за притча? Что за случай?  
Где утечка? Что течет?

Бакалавры ходят тучей,  
А жених наперечет!..

---

<sup>1</sup>Темная камера (лат.).

<5>

Продается фокс-самец.  
Там же — весь Молоховец.

Ищут скромного студента,  
Если можно, без акцента.

Ставлю пьетки. Сам впиваюсь.  
Расстоянием не стесняюсь.

У кого закроют газ,  
Пусть звонит в «Противогаз».

В юридический отдел  
По веденью русских дел.

Вышел «Список дураков»,  
Специально для «стрелков».

Составление мемуаров  
Для упорных юбиляров.  
Там же — сметы на банкет  
По подписке или нет.

Ссуды в несколько часов!  
(Под квитанцию часов.)

Вышла новая брошюрка  
«Мы и наша конъюнктура».

Для родильного приюта  
Предлагаю особняк:  
Тихо. Максимум уюта.  
И чердак.

Знаю очень хорошо  
Массу трюков для башо<sup>1</sup>.

Репетирую. Учю.  
Учениц не колочу.

Ищут вежливых старушек  
Для различных побегушек.

---

<sup>1</sup>Башо — bachot — экзамен на степень бакалавра (фр.).

Милovidные особы  
Вызываются для пробы.  
(Голосов.)

<6>

Продаем пай в артели,  
Потому что мы влетели...

Чай полтавского мещанства,  
При участии дворянства!

Ищут Машу Кузьмину  
Из Ростова-на-Дону.

Курсы срочной подготовки  
На диплом по джигитовке.

Продается инкубатор.  
Там же «Чтец и Декламатор».

Еду в Канн для развлечения.  
Принимаю порученья.

Продаю «Заем свободы»  
Без гарантий на доходы.

Молод. Знаю языки.  
Могу делать шашлыки.

Ищут опытных дельцов  
Для сведения концов.

Для коллекции монет  
Ищут денег. (Коих нет.)

Дама старого закала,  
С сильно выраженным «я»,  
Страстно ищет идеала.  
(В крайнем случае, шитья!)

Предлагаю мансарду и стол  
За хороший характер и пол.

Вывожу любые пятна.  
Консультация — бесплатно.

Вышел томик с иллюстрацией:  
«Русский комик в эмиграции»...  
Сборник шуточек и тем, —  
Что нам делать и зачем?

<7>

Два отличных близнеца  
Ищут взрослого отца.  
Курсы пластики и танцев  
Для свободных иностранцев.  
Продается часть свипстэйка.  
Дора Пафос. Белошвейка.  
Член третейского суда  
Ищет легкого труда.  
Управляющий делами  
Ищет дела. (Между нами!)  
«Песней душу веселя»,  
Сочиняю векселя.  
Вышел список меценатов —  
Отставных и кандидатов.  
Шью бюстгальтеры и лифы  
И на бюсты, и на мифы.  
Принцип русского портного:  
— Шьет в рассрочку и на слово.  
В «Институте de beauté»<sup>1</sup>  
Чистка карт-д'идентите<sup>2</sup>,  
Мойка, глажка, разрисовка,  
Женских лиц перелицовка,  
Честно, дешево, со вкусом.  
Сообщенье автобусом.

---

<sup>1</sup> Красоты (фр.).

<sup>2</sup> Caste d'identité — удостоверение личности (фр.).

Собираю ассигнации  
Для архива эмиграции.

Пожилая госпожа  
Знает средство от бриджа.

Ликвидирует бриджеров  
В пять минут, без разговоров.

<8>

Пришли. Ушли. Похоронили.  
«Среди присутствующих были...»

Вандервельде приезжал,  
Карла Маркса освежал.

Окончил школу «Ундервуда».  
Ищу работы или чуда.

Одинок. Томлюся. Стражду.  
Скромности образчик.

Переписываться жажду  
Чрез почтовый ящик.

Учу бриджу любых сапожников,  
Творю артистов и художников.

Все налоги, все оттяжки —  
По присутственным местам!  
Разноцветные бумажки  
Различаю по цветам.

Чиним, петли подымаем,  
Сообщаемся трамваем.

Пожилой аристократ  
Отдается напрокат.  
Соглашается при браке  
Быть свидетелем. (Во фраке!)

Честный русский дирижер  
Составляет женский хор.

Ищет дам с колоратурой,  
С довоенною фигурой.

Имею восемь паспортов,  
На все готов.

<9>

Пошел на скачки.  
Сыграл слегка...  
— Tant pis<sup>1</sup> для прачки  
И мясника.

Был у типа по налогам,  
Говорил об очень многом,  
Называл его конфрер<sup>2</sup>.  
Тип сказал, что rien à fair<sup>3</sup>.

Если жизнь и есть легенда,  
То лишь в смысле дивиденда...

Не владея состояньем,  
Не стесняюсь расстояньем!

Нашел сюжет. Завел роман.  
«Ищу аванса под роман».

Срочно требуют брюнета  
Для холодного буфета!

Для торговли возле стойки  
Нужен слушающий, но стойкий.

Арендатор русской фермы  
Ищет вкладчика для термы.

Сел на землю. Место есть.  
Кто еще желает сесть?!

---

<sup>1</sup>Тем хуже (фр.).

<sup>2</sup>К о н ф р е р — confrérie — собрат, коллега (фр.).

<sup>3</sup>Ничего не поделаешь (фр.).

Любая мебель! Все со вкусом!  
Имею связь с Марше-о-Пюсом.

Покупка смокингов и хлама.  
Консьержки нет, идите прямо.

Высылается бесплатно  
«Путь к богатству и обратно».

**<10>**

Русский хутор близ Булони,  
Все на масле, жизнь на лоне.

Покупаем всякий хлам,  
Обращаться к Пьер-Абрам.

В интересах эмиграции  
Верх кредитной операции:  
Ухо, нос, аппендицит —  
Оперирую в кредит!

Для чего иметь мозоли,  
Если русский педикюр  
Удаляет их без боли  
У чувствительных натур?!

Опускаясь на дно,  
Продаю свое «Рено»!

«Рюмка водки — один франк»  
(Можно — чеками на банк).

Представительный красавец  
Нужен в «Малый Ярославец».

Ищут взрослого мальчишку —  
На короткую интрижку!

Продается домик с садом.  
(С крематориумом рядом.)

От безмерного восторга  
Строим здание на песке:  
— Издаем японский орган  
На славянском языке!

<11>

(вариант советский)

Шар земной вращается.  
А Зиновьев кается.

Даже Зощенко молчал  
И мигал лишь Бабелю.

— Хор Калиныч отвечал  
Рузвельту по кабелю.

Достоевский и Толстой  
Хоть носили бороду,  
Но и то советский строй  
Ни к селу ни к городу.

Мы как утречком встаем,  
Так бежим поспешней —  
Подписаться на заем,  
Внутренний и внешний.

Хорошо звучит чертовски:  
Троцкий, маршал Врест-Литовский!

Чтоб скорее скоротать  
Время напоследки,  
Будем, братие, считать  
Жизнь на пятилетки!

В мозгах теория.  
Во щах калория,  
А вся история  
Есть бутафория.

Чтоб зажить своим домком,  
Надо выжить нам домком!



«Мечтам и годам нет возврата...» —  
Когда-то молвил нам поэт.  
Теперь бы он добавил сжато:  
«А из тюрьмы подавно нет!»

<12>

Полный отдых для души  
В «Русском тереме» в Виши.

Срочно! Комната и ванна  
У подножия Монблана.

Лучший отдых от гостей  
На отрогах Пиреней.

На отрогах Кордильеров  
Примут двух пансионеров.

В старом замке на Луаре,  
Пансиончик «Ше Бояре»<sup>1</sup>.

Позаботьтесь о здоровье!  
Вилла. Стелла. Все коровье.

Рюмка водки и рагу  
На нормандском берегу!

Море. Сосны. Воздух. Лес.  
Борщ и русский буйабес.

Повар, сам старорежимный,  
Предлагает стол режимный.

Детский сад «Цветочки-птички»  
Под надзором фребелички.

Продаются два манто.  
Адрес: Бывшее Шато.

Бридж в Бретани,  
В «Русском стане».

---

<sup>1</sup>«Ше Бояре» — «Chez Boyard» — «У Бояр» (фр.).

Срочно нужен на Европу  
Представитель по укропу...

Ищу попутчика с деньгою,  
Хочу проехаться в Савойю.

<13>

Если прения сторон  
Будут после похорон,  
То си прения писать  
Надо, в общем, через «ять».

«Символический платеж»,  
Это — вынь, да не положи!

Дрожжи созданы для теста,  
Вексель создан для протеста.

Платеж на среду? О тогда  
Ты прав! Заест тебя среда!

Лишь тогда и ставь на личность,  
Если есть у ней наличность.

Ах, зачем текущий счет  
Самотеком не течет?!

В разговоре о кредите  
Фиммиамом не кадите...

Все желают жить красиво.  
Вплоть до полного пассива.

«Мир стоит на переломе...» —  
Ясно даже для детей!  
Мир стоит на переломе  
И событий, и костей.

Любя возвышенное в мире,  
Ты в крайность все же не впадай:  
— Бряцай рассеянно на лире,  
Но на пиастрах не бряцай!

Форма ль выше содержания,  
Содержание ль?.. Когда зло  
В том, что все ж из содержания  
В погашение пошло!..

**<14>**

Двое дядей-эмигрантов  
Ищут дядей-секундантов.

Не имея лучшей цели,  
Жажду драться на дуэли,  
Соглашаюсь на отъезд.  
(От угла — второй подъезд.)

Срочно требуется гений —  
Для кредитных учреждений.

Ищут скромную персону  
Средних лет —  
Отвечать по телефону:  
Дома нет!

Русский хутор близ Диканьки.  
Есть и собственные баньки —  
С паром, с веничком, с кваском,  
С осетринкою куском...

Пансион «Восторг природы»,  
Есть слабительные воды.

Ищут рослого брюнета —  
На все лето!

На отрогах Пиреней,  
Возле Старой Руссы,  
Выбор уровня морей  
На любые вкусы.

Полный отдых. Вилла «Стефа».  
Есть четыре T.S.F.a.

Место — чудо красоты.  
Триста метров высоты.  
Бридж при полной тишине —  
Утром, днем и при луне.

<15>

Ферма «Русская оглобля».  
В километре от Гренобля.  
Вид на Альпы. Лес в сосне.  
Стол на масле. Цены — вне...

Нужен смокинг или фрак —  
Для вступающего в брак.  
Там же ищут для венца  
Посаженного отца.

«Жорж, прощай! Ушла к Володе..  
Ключ и паспорт на комод».

Высылаюсь за границу,  
Буду ехать через Ниццу.  
С четверга до воскресенья  
Принимаю порученья.

Продаю кровать без скрипа,  
С матрацом Луи-Филиппа.

Ищут ходкого брюнета  
Для тяжелого предмета.

Банк взаимного кредита  
«У разбитого корыта».  
Груда тлеющих костей.  
Переписка векселей.

Сорок способов безвредных:  
— «Ущемление грыж у бедных»...  
Прилагайте на ответ  
Десять франков и портрет.

<16>

Очень бывшая персона  
Ищет должности гарсона.

Ищут ангелов-хранителей,  
Охранять от посетителей.

Принимаю переписку,  
Сочиняю письма к фиску<sup>1</sup>.

Дама общества, с собачкой,  
Ищет места к господам.  
Может стать чехословачкой,  
По желанию мадам...

Чиню, отвинчиваю гайки.  
Могу играть на балалайке.

Ищут девушку, Матрешку, —  
Расшибать детей в лепешку.

Очень грустно на душе...  
Жду вас, Шура, на Марше!

Новый справочник и гид  
«Как иметь арийский вид?».

Ищут чуткую натуру —  
В холостую конъюнктуру!

Вышел Гитлер в переплете,  
С полным списком  
«С кем живете?».

Спирт. Закусочки. Веселье.  
Все запросы для души.  
«Фермопильское ущелье»,  
Ресторанчик на Клиши.

Ищу мансарду для прислуги,  
Чтоб проводить свои досуги.

---

<sup>1</sup> Ф и с к — fisc — государственная казна (фр.).

<17>

\* \* \*

Русские куроводы желают усыновить французского  
цыпленка.

\* \* \*

Разыскиваю дядю, живущего в Америке.  
Прошу его откликнуться по курсу доллара прошлого  
года.

\* \* \*

Бывший барин ищет место лакея.

\* \* \*

Собрание бывших воспитанников князя Безбородко.  
Порядок дня: избрание казначея.

\* \* \*

На случай Варфоломеевской ночи ищу место ночного  
сторожа.

\* \* \*

Отправляюсь в газовое общество, принимаю поруче-  
ния.

\* \* \*

Опытный экономист ищет подходящего места.  
Согласен быть экономкой.

\* \* \*

Господа рекомендуют госпожу...

\* \* \*

Массажистка тяжелого веса; имеет твердую руку; сглаживает все шероховатости, до живота включительно; доводит до зеркального блеска.

\* \* \*

Приглашают пайщиков и попутчиков до третьей траншеи.

\* \* \*

Кружок ревнителей Военно-Грузинской дороги устраивает традиционную чашку чая в память прошлого.  
На покрытие чашки — два франка.

\* \* \*

Ищут чуткую натуру для должности инкассатора.

\* \* \*

Выгодное помещение капитала!  
— Земельные участки на кладбище Банье.  
Особых знаний не требуется.

\* \* \*

Срочно приглашаются опытные агенты по сбору похоронных объявлений.

\* \* \*

Для писания векселей нужны живописцы.

\* \* \*

«Вечера на хуторе близ Булони».  
Полный судебный отчет по делу Некрасова.

\* \* \*

Одинокий хочет переписываться с одинокой.  
Цель — чистота расы.

\* \* \*

Решаю крестословицы, прихожу на дом.

\* \* \*

Нужна нянька для взрослых.

\* \* \*

В интеллигентной семье сдается комната беспартий-  
ному.

\* \* \*

Нужен опытный мальчик.

\* \* \*

«Как надо жить и умирать во Франции».  
Полное руководство.

### <18>

«Парикмахерская Поль  
На бульваре Севастополь».

Отдается теплый низ.  
Очень выгодный реприз<sup>1</sup>

Срочно требуют мадам  
К двум солидным господам.

Вечер смеха и забавы  
В память взятия Полтавы.

---

<sup>1</sup>Реприз — reprise — починка, штопка (фр.).



Среди прочих номеров —  
Комик Сидоров-Петров.

В ресторане «Козья ножка»  
Выступает босоножка.

Старый русский комбатант,  
Но не забияка,

Переписки пост-рестант  
Жаждет с целью брака.

За десять франков (и за пять!)  
Гадаю точно. И сказать  
Могу по линиям руки,  
Когда падут большевики.

В банке: «Где вы были раньше?» —  
Продают с надбавкой транши.

Третий выпуск продается,  
А второй и так дается.

Уступаю свои дроби  
Состоятельной особе.

Чем больше дробь, тем сердцу жарче.  
Чем ночь темней, тем транши ярче.

### **<19>**

«Приходите к нам на елку,  
Будем зубы класть на полку!»

То, что нам закрыли газ  
И что денег нету,

Есть рождественский рассказ,  
Скромный по сюжету.

У последних могикан,  
Правда, ни копейки,

Но зато хоть есть каштан  
От былой индейки.

Заглянув в газетный лист,  
Плачешь от печали:  
— «Старый русский роялист  
Продает рояли».

«Путь от биржи на панель»,

Новогодний томик.  
В общем, этот Пер-Нозль<sup>1</sup>  
Хоть и пэр, а комик.

Не играй на понижение  
Гульденов и лей,  
А играй на понижение  
Метрики своей.

Два здоровых индивида  
Представительного вида  
Предлагают, так и быть,  
Просто их усыновить.

Человек, когда съезжает,  
Точный адрес оставляет.  
Только русский эмигрант  
Уезжает *poste restante*<sup>2</sup>.

## <20>

Поступлю на воспитанье,  
Если будет пропитанье.  
Пол мужской. Полубрюнет.  
Возраст средний (сорок лет).

Срочно ищут компаньона,  
Сфера действия — Байонна.

Нянчу, мою, дую в дудки,  
Знаю сказки, прибаутки,  
За пятнадцать франков в сутки  
Ищу место у малютки.

---

<sup>1</sup>Пер-Нозль — *Père Noël* — Дед Мороз (фр.).

<sup>2</sup>До востребования (фр.).

А за двадцать, так и быть,  
Могу даже и кормить.

Бабка, типа повивальной.  
Ищет практики реальной.

Ресторан «Плакучей ивы».  
Всех сортов аперитивы.  
Хор бояр и граммофон.  
Лавабо<sup>1</sup> и телефон.

Полутемная дыра,  
Вход, конечно, со двора.  
Что до выхода, то — нет.  
А контракт на десять лет.

Продается обстановка —  
Крюк от лампы и веревка.

«Вырыта заступом яма глубокая...»  
Адрес для писем: Алжир. Одинокая.

Прости. Прощаю. Жди вестей.  
Вернись! Для жен и для детей!

## <21>

Обменяю часть скамейки  
На ирландские свипстэйки.

Продается шубка хаки,  
Мех — породистой собаки.

Ищут русского ковбоя  
Для домашнего убоя.  
Цены твердые! Пример:  
— Десять франков за бель-мер<sup>2</sup>.

В похоронное бюро  
Требуют агентов.

---

<sup>1</sup>Лавабо — lavabo — умывальник (фр.).

<sup>2</sup>Бель-мер — bell-mère — теща или свекровь (фр.).

Надо ездить на метро  
И искать клиентов.

Ищут тихого злодея.  
Есть старушка. Есть идея.

Русский справочник, с главой  
«Веронал как таковой».

Дуся! Брось. Не строй Мадонну.  
Позвони по телефону!

Миловидная вдова.  
Знание кутюра.  
35 и 42  
(Возраст и фигура).

Комната с диваном  
За урок с болваном.

Два уютных земляка.  
И весьма здоровых.  
Срочно ищут чудака  
На пятьсот целковых.

<22>

Продаются две собаки  
И фельдмаршальские знаки.

Банк взаимного кредита  
Ищет тихого бандита.

Скромный русский инвалид  
Ищет поручений  
По устройству панихид  
Или развлечений.

Повестка дня: Война и мир.  
Меню: сосиски и пломбир.

В кабаре «Ночные перлы»  
Срочно требуются герлы<sup>1</sup>.

Доклад: «Любовь и веронал».  
Билеты — франк, у входа в зал.

Стираю. Мою. Чищу. Глажу.  
Хожу работать по менажу<sup>2</sup>.

Верх сенсаций всех веков!  
Правила с примером:  
— «Как из круглых дураков  
Стать акционером?»

С участием лиц с огромным стажем  
Публичный диспут, господа!  
— Куда идем? И где мы ляжем?  
И если ляжем, то когда?

Вернись! Довольно! Не позорь!  
На сердце мрак. У Пети корь...

### <23>

Жорж, профессор по фокстроту.  
Просит дать ему работу.

Одинокая персона  
Ищет взрослого гарсона.

Собираясь отравиться  
Ищем помещенья,  
Где бы можно поместиться  
Впредь до отравленья.

Вышли в свет воспоминанья  
«Четверть века прозябанья».

---

<sup>1</sup>Герл — girl — девушка (англ.).

<sup>2</sup>Менаж — menage — хозяйство (фр.).

Полный список русских банков,  
С фотографией останков.

Одиночка, тип бабенки,  
Ищет место экономки.

Сохранившийся мужик,  
Бывший крымский проводник,  
Сокращает скуку дней  
На отрогах Пиреней.

Продаем по номиналу  
Нашу собственную шпалу.

Боб! Не верьте! Все — интрижка.  
Ваша кошка, ваша мышка...

**<24>**

Нужна опытная дама  
Для семейного Бедлама.

Русский повар Худяков  
Принимает едоков.

Живописное меню:  
Хрен и редька на корню.

Полный отдых. Пансион.  
Взгляд и вид со всех сторон.  
Дом и парк посередине,  
Русских нету и в помине.

Отдается дом с гаражем,  
С правом пользоваться пляжем.  
Непосредственно из спальни —  
Вид на женские купальни.

Молчаливой фельдшерице  
Предлагают место в Ницце.

Срочно ищут закладную  
Под бель-мер свою родную.

Ферма «Капля молока»  
(С русской козой)  
Срочно ищет земляка,  
Спеца по удою.

Вышла книга слез и горя  
«Жизнь над уровнями моря».

Три персоны. Две хозяйки.  
Самовары. Балалайки.  
Виллы прямо на воде.  
Отдых в дружеской среде.

Жертва собственных страстей,  
С осложнением в почке,  
Ищет опытных врачей.  
Главное — в рассрочке.

**<25>**

Разница между дружбой и любовью такая же, как между летучим газом и гремучим газом.

\* \* \*

Лучше питаться легендой, чем подкармливаться сплетней.

\* \* \*

Лакмусовая бумажка всегда кредитная.

\* \* \*

Если бы светлые личности указывали род занятий, то оказалось бы, что они каторжники.

\* \* \*

Благородные люди все помнят, расчетливые ничего не забывают.

\* \* \*

Верх невезения:

— Быть всю жизнь лунатиком и умереть от солнечного удара.

\* \* \*

Метаться в бреду — в метро невысказано.

\* \* \*

Ловкие люди ссылаются на кризис, а неловкие — на поселение.

\* \* \*

В эмиграции было три пятилетки...

Первая ушла на то, чтобы выяснить, кто с кем живет,

Вторая — кто сколько проживает.

Третья — кого и на что будут хоронить.

\* \* \*

Измена в браке — это переход от прификс<sup>1</sup> на Гран-при<sup>2</sup>.

\* \* \*

Из надгробной урны, если привинтить колесо, можно рулетку сделать.

---

<sup>1</sup>Прификс — prix fixe — заранее оплаченный комплексный обед (фр.).

<sup>2</sup>Гран-при — Grand prix — высшая награда (фр.).



<26>

Продается шубка хаки,  
С соболями из собаки.

Дама. Знает языки.  
Но, надеждам вопреки,  
Не находит дураков  
Для себя и языков.

Несмотря на то, что тут  
Все французы кофе пьют,  
Мы, хоть ты нам черта дай,  
Продаем в пакетах чай.

Отдается уголок —  
В два аршина поперек  
И каприз архитектуры!  
С дивным видом на ордюры<sup>1</sup>.

Тетя с тихим идеалом  
Ищет дядю с капиталом.

Есть осел. Нужна особа.  
Жанр любви — любовь до гроба.

Новый текст и иллюстрации:  
«Русский аист в эмиграции».  
В общем, книжка без затей,  
Со статистикой детей.

<27>

Математик Поливанов  
Репетирует болванов.

---

<sup>1</sup>Ордюр — ordure — уборная, помойка (фр.).

## &lt;28&gt;

Отправляемся по шпалам  
К парагвайским идеалам.  
Ищем франка на метро,  
Запись в партию — в бистро.

Знаю восемь языков,  
Но настолько бестолков,  
Что при всех восьми, кретин!  
Шляюсь, высунув один.

— Очень свежий холостяк  
Реагирует на брак.

— Есть отличная особа.  
Денег нет. Любовь до гроба.

Ищут русского ковбоя  
Для домашнего убоя.  
Деток, в общем, ровно пять.  
Цель: забить, но воспитать.

Есть способности к фокстроту  
Умоляю дать работу.

Бывший ссыльный. Очень сильный.  
Ищет места как рассыльный.

Обладаю тонким вкусом,  
И знаком с Марше-о-Пюсом.

Ом-д'афер<sup>1</sup>. Огромный стаж.  
Он же Ом<sup>2</sup> и де-менаж.

Крепись. Люблю. Усыновлю.

Катя! Ангел во плоти!  
Бей по морде... но прости!

---

<sup>1</sup>Ом-д'афер — *homme d'affaires* — деловой человек, бизнесмен (фр.).

<sup>2</sup>Ом — *homme* — мужчина (фр.).

<29>

Вечер бывших оптимистов.  
Вечеринка у баптистов.  
Чашка чаю у дворян.  
Чашка чаю у мещан.

Вечер в память Порт-Артура.  
Вечер русского кутюра.  
Вечер бывших моряков.  
Вечер будущих стрелков.

Вечер прежних меценатов.  
Вечер бывших адвокатов.  
Вечер бывших под судом.  
Вечер бьющих стенку лбом.

День Ромашки. День шофера.  
Вечер жителей Аньера.  
Чашка чаю у волчат.  
Чашка чаю у галчат.

Съезд зародышей Кубани.  
Бал друзей Нахичевани.  
Бал союза мертвых душ.  
Вечер жителей Тетюш.

Бридж армян и бридж евреев.  
Вечер древних Птолемеев.  
Вечеринка на Клиши...  
— Вот, Эдип, и разреши  
Не шутя и не впустую  
Крестословицу такую!

То ль как с гуся нам вода?  
То ль заела нас среда?

То ль иной не видя цели,  
Сами мы ее заели?

То ль нам просто рок такой —  
Пропадать, так с музыкой?!

<30>

Очень скромный педагог  
Старого уклада  
Быстро гнет в бараний рог  
Вверенные чада.

Для устройства пикников  
В деревенском стиле  
Ищут летних дураков  
При автомобиле.

Продается пистолет  
Для мужчины средних лет.

Спец по теплым некрологам.  
Обладаю легким слогом.

На отрогах Пиреней,  
Между скал покатых,  
Выбор уровня морей  
Для давно женатых...

Поступлю на воспитанье,  
Если будет пропитанье.  
Пол мужской. Характер средний.  
А в кармане франк последний.

Продаю диван без скрипа.  
Две ноги Луи-Филиппа.  
Третья тоже раритет.  
А четвертой просто нет.

<31>

«От Севильи до Гренады» —  
Смысл стихов уже не тот...  
Там не то что серенады,  
А совсем наоборот!

Спой под русскую гитару  
Песню юности моей:

Ты не езди, Ваня, к «Яру»,  
На отроги Пиреней!

От Виши до тети Оли  
Крик души на все лады:  
«Страшно, страшно поневоле»  
От слабительной воды.

Пью. Скучаю. Загораю.  
Крестословицы решаю.

Пребывая в эмиграции,  
Как лечить аппендицит?!  
Верх кредитной операции —  
Операция в кредит.

Ищут бойкую девчонку  
Иль мальчишку —  
Бегать в русскую лавчонку  
Брать на книжку...

### **<32>**

Два случайных близнеца  
Ищут мать или отца.

Ищу занятий на дому.  
Имел имение в Крыму.

Сливка общества бывшего  
Ищет дядю пожилого.

Знаю десять языков.  
Извожу учеников.

Репетирую. Учю.  
Если надо, колочу.

За любые гонорары  
Составляю мемуары.  
Воскрешаю, хороню,  
Обеляю и черню.

<33>

ПОНЕДЕЛЬНИК

Дни становятся длиннее.  
Профиль тоньше. Фас бледнее.  
На душе какой-то мрак.  
Детям впрыснули мышьяк...

ВТОРНИК

День Ромашки. Репки. Бабки.  
Переделка зимней шляпки.  
Монологи бедных жен.  
Скука. Прения сторон.

СРЕДА

Панихида. Грусть. Осадок.  
Очень много пересадок.  
Гонка. Спешка. Трата сил.  
— Далеко покойник жил!..

ЧЕТВЕРГ

Жизнь проходит, как в тумане,  
Званы в гости к тете Мане.  
Пили чай и ели торт.  
В общем, тетя первый сорт!

ПЯТНИЦА

Афоризм Козьмы Пруtkова:  
Смысла жизни никакого.  
День прошел. И день настал.  
«Люди гибнут за металл».

## СУББОТА

Вечер бывших оптимистов.  
Вечер бывших шахматистов.  
Вечер Пушкина с бриджем.  
В общем, здорово живем!

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

Гость на завтрак. Гость на ужин.  
Гостю тоже выход нужен.  
Выпил. Крякнул. Весел. Сыт.  
Жизнь прошла. А он сидит.

## <34>

Баю-баюшки-баю,  
Кризис входит в колею...

Для терпенья и труда  
Ищут бонну господа.

В тихий домик, в центре дач,  
Принимают старых кляч.

Госпожа большого света  
Ищет ходкого брюнета.

В русский хутор, тип обители,  
Приглашаются сожители.

Продаю с сердечной болью  
Шубку, съеденную молью.

Очень важно для «стрелков»  
Нынешней формации:  
«Список круглых дураков  
В русской эмиграции».

Уступлю бель-мер со скидкой.  
Отвечать простой открыткой.

Нужен бойкий индивид,  
Полный свежих соков,  
Для устройства панихид,  
Свадьб и файф-о-клоков.

Уступаю часть свипстэйка.  
Там же Дора-белошвейка.

Старый русский холостяк,  
(Имя его — Фотий),  
Размахнувшись вступит в брак  
С подходящей тетей.

Тетя есть и реагирует...  
А на тетю глядя,  
Это вам телеграфирует  
Бывший тетин дядя!

<35>

Одиночка, тип эстонки,  
Ищет место компаньонки.

Ферма «Капля молока»  
(Пост-рестант. Петрову)  
Срочно ищет земляка,  
Чтоб доить корову.

Русский повар Мурдаков  
Принимает едоков.  
Редька прямо на корню.  
Кроме редьки, есть меню.

Старый замок на Луаре.  
Ехать, стоя в автокаре.  
А потом с проводником  
Полчаса идти пешком.



<36>

1

Быстро читали газету.  
Чаем нутро обжигали.  
Мчались по белому свету.  
Рыскали. Клянчили. Лгали.

Так проходили — неделя,  
Месяцы, годы... Трясина!  
Вот они, пьесы Корнеля,  
Вот они, драмы Расина.

2

Подражая молодежи,  
Он так жадно лез из кожи,  
Что дождался своего:  
Лезет кожа! но... с него.

3

Что трагедии Корнеля,  
Что Шекспира целый том —  
Когда мы коньяк Мартеля  
Нашей смене отдаем,  
А взамен стакан «Виттеля»  
Натошак, безумцы, пьем?!

4

Мчатся бесы, вьются бесы,  
Ходят дамы средних лет...  
Ходят дамы-патронессы,  
Тычут розовый билет.

В кресла падают, вздыхают,  
Носик в пудре, ротик ал.  
Тараторят, соблазняют,  
Прямо, гибнут за металл...

<37>

Томление. Разруха.  
Отели. Номера.  
...Прощай, моя Маруха.  
Прощай, кафе Мюра!

Жизнь быстрее всякой пули:  
Жили. Были. Драпанули.

С гордо поднятым забралом  
Отправляемся по шпалам.

Из дешевых способов самый сокровенный:  
Перочинным ножиком да надрезать вены.

Каких хотим в унылой биографии  
Еще поэт,  
Когда предел всемирной географии  
Есть Пер-Лашез?!

Сижу у моря, жду погоды.  
Пришлите денег на расходы!

В мыслях лава, в сердце кратер.  
Нервы, как мочалка...  
Ах, ты наша альма-матер,  
Милый остров Халка!

Из выдающихся моментов  
Отметим в летописи дней:  
Проверку наших документов  
И вид на Сену с Пиреней.

# Стихотворения





# Из сборника «Дым без Отечества»

## О ПТИЦАХ

Одно в этом мире для меня несомненно:

Погубили нас — птицы.

Буревестники. Чайки. Соколы и вороны. Петухи, поющие перед зарей. Несуществующие, самым бесстыдным образом выдуманные альбатросы. Реющие, непременно реющие, кречеты. Умирающие лебеди. Злые коршуны и сизые голуби. И, наконец, раненые горные орлы: царственные, гордые и непримиримые.

Сажу за решеткой, в темнице сырой.  
Вскормленный на воле орел молодой...

Что ж тут думать! Обнажили головы, трягнули шевелюрами и потянулись к решетке: стройными колоннами, сомкнутыми рядами и всем обществом попечения о народной трезвости.

Впрочем, и время было такое, что ежели, скажем, гимназист четвертого класса от скарлатины умирал, то вся гимназия пела:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Очень уж были мы чуткие, да и от орлов, как помешанные, ходили.

Обитали орлы преимущественно на скалах и промышляли тем, что позволяли себя ранить: прямо в сердце или прямо в грудь и, непременно, стрелой.

В случаях, особенно торжественных, стрелы, по требованию публики, пропитывались смертельным ядом.

Этой подлости не выдерживали и самые закоснелые сердца.

Орел взмахивал могучими крыльями, ронял кровавые рубины в зеленый дол, описывал столько кругов, сколько ему полагалось, и... падал.

Нужно ли добавлять, что падал он не просто, а как подкошенный.

История с орлами продолжалась долго, и неизвестно когда бы она кончилась, если бы не явился самый главный — с косым воротом и безумством храбрых.

Откашлялся и нижегородским баском грянул:

Над седой равниной моря...  
Гордо реет буревестник,  
Черной молнии подобный...

Все так и ахнули.

И, действительно, птица — первый сорт, и реет, и взмывает, и, вообще, дело делает.

Пили мы калинкинское пиво, ездили на Воробьевы горы и, косясь на добродушных малиновых городских, сладострастным шепотом декламировали:

Им, гагарам, недоступно  
Наслажденье битвой жизни...

И, рыча, добавляли:

Гром ударов их пугает...

Но случилось так, что именно гагары-то и одолели.

Тогда вместо калинкинского пива стали употреблять раствор карболовой кислоты, цианистый калий, стреляли в собственный правый висок, оставляли на четырнадцать страницах письма к друзьям и говорили: нас не понимают, Европа — Марфа.

Вот, в это-то самое время и явились:

Самый зловещий, какой только был от сотворения мира, Ворон и Белая чайка, птица упадочная, непонятная, одинокая.

Ворон каркнул: Never more!<sup>1</sup> — и сгинул.

Персонаж он был заграничный, обидчивый и для мелодекламации не подходящий.

Зато чайка сделала совершенно головокружительную карьеру.

Девушки с надрывом и поволокой в глазах, с неразгаданной тоской, девушки с орхидеями и трагической улыбкой — хрустели пальцами, скрещивали руки на худых коленях и говорили:

— Хочется сказки... Хочется ласки... Я — чайка.

Потом взяли и выдумали, что Комиссаржевская — чайка, и Гиппиус — чайка, и чуть ли не Максим Ковалевский — тоже чайка.

Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.

Над озером бедная чайка летит...

А по совести сказать, так более прожорливой, ненасытной и наглой птицы, чем эта самая белая чайка, и природа еще не создавала.

Однако поди ж ты... Лет семь-восемь спасения от чаек не было.

Изредка только, вотрется какой-нибудь заштатный умирающий лебедь или Синяя птица или залетят ненароком осенние журавли — покружат, покружат и улетят вояси.

А настоящего удовольствия от них не было.

Ах, как прошумели, промчались годы!

Как быстро промелькнули десятилетия! Какой страстной горечи исполнены покаяния. Дорогой ценой заплатили мы за диких уток, за синих птиц и за орлов, и за кречетов, и за соколов, и за воронов, и за белых чаек, а наипаче, за буревестников.

Был мужик, а мы — о грации.

Был навоз, а мы — в тимпан!

Так от мелодекламации

Погибают даже нации,

Как бурьян.

<sup>1</sup> Никогда! (англ.).

## КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Мне говорили: все промчится.  
И все течет. И все вода.  
Но город — сон, который снится,  
Приснился миру навсегда.

Лаванда, амбра, запах пудры,  
Чадра, и феска, и чалма.  
Страна, где подданные мудры,  
Где сводят женщины с ума.  
Где от зари и до полночи  
Перед душистым наргиле,  
На ткань ковра уставя очи,  
Сидят народы на земле  
И славят мудрого Аллаха,  
Иль, совершив святой намаз,  
О бранной славе падишаха  
Ведут медлительный рассказ.  
Где любят нежно и жестоко  
И непременно в нишах бань.  
Пока не будет глас Пророка:  
Селим, довольно. Перестань.

О, бред проезжих беллетристов,  
Которым сам Токатлиан,  
Хозяин баров, друг артистов,  
Носил и кофий и кальян!

Он фимиами курил Фареру,  
Сулил бессмертье Лоти,  
И Клод Фарер, теряя меру,  
Сбивал читателей с пути.

А было просто... Что окуроч,  
Под сточной брошенный трубой,  
Едва дымился бедный турок,  
Уже раздавленный судьбой.

И турка бедного призывали,  
И он пред судьями предстал  
И золотым пером в Версале  
Взмахнул и что-то подписал.



Покончив с расой беспокойной  
И заглушив гортанный гул,  
Толпою жадной и нестройной  
Европа ринулась в Стамбул.

Менялы, гиды, шарлатаны,  
Парижских улиц мать и дочь,  
Французской службы капитаны,  
Британцы, мрачные, как ночь.

Кроаты в лентах, сербы в бантах,  
Какой-то сир, какой-то сэр,  
Поляки в адских аксельбантах  
И итальянский берсальер.

Малайцы, негры и ацтеки,  
Ковбой, идущий напролом,  
Темно-оливковые греки,  
Армяне с собственным послом!

И кучка русских с бывшим флагом  
И незатейливым Освагом...

Таков был пестрый караван,  
Пришедший в лоно мусульман.

В земле ворочались предки,  
А над землей был стон и звон.  
И сорок две контрразведки  
Венчали новый Вавилон.

Консервы, горы шоколада,  
Монбланы безопасных бритв,  
И крик ослов... — и вот награда  
За годы сумасшедших битв!

А ночь придет, — поют девицы,  
Гудит тимпан, дымит кальян.  
И в километре от столицы  
Хозары режут христиан.

Дрожит в воде, в воде Босфора  
Резной и четкий минарет.  
И муэдзин поет, что скоро  
Придет, вернется Магомет.

Но, сын растерзанной России,  
Не верю я, Аллах, прости,  
Ни Магомету, ни Мессии,  
Ни Клод Фареру, ни Лоти...

1920

### СВЕРШИТЕЛИ

**Р**асточали каждый час.  
Жили скверно и убого.  
И никто, никто из нас  
Никогда не верил в Бога.

Ах, как было все равно  
Сердцу — в царствии потемок!  
Пили красное вино  
И искали Незнакомок.

Возносились в облака.  
Пережевывали стили.  
Да про душу мужика  
Столько слов наворотили,

Что теперь еще саднит  
При одном воспоминанье.  
О, Россия! О, гранит,  
Распылившийся в изгнанье!

Ты была и будешь вновь.  
Только мы уже не будем.  
Про свою к тебе любовь  
Мы чужим расскажем людям.

И, прияв пожатые плеч,  
Как ответ и как расплату,  
При неверном блеске свеч  
Отойдем к Иосафату.

И потомкам в глубь веков  
Предадим свой жребий русский:  
Прах ненужных дневников  
И Гарнье — словарь французский.

1920

## ЧЕСТНОСТЬ С СОБОЙ

Через двести-триста лет жизнь бу-  
дет невыразимо прекрасной.

Чехов

Россию завоюет генерал.  
Стремительный, отчаянный и строгий.  
Воскреснет золотой империял.  
Начнут чинить железные дороги.  
На площади воздвигнут эшафот,  
Чтоб мстить за многолетие позора.  
Потом произойдет переворот  
По поводу какого-нибудь вздора.  
Потом... придет конногвардейский полк:  
Чтоб окончательно Россию успокоить.  
И станет население, как шелк.  
Начнет пахать, ходить во храм и строить.  
Набросятся на хлеб и на букварь.  
Озолотят грядущее сияньем.  
Какая-нибудь новая бездарь  
Займется всенародным покаяньем.  
Эстетов расплодится, как собак.  
Все станут жаждать наслаждений жизни.  
В газетах будет полный кавардак  
И ежедневная похлебка об отчизне.  
Ну, хорошо. Пройдут десятки лет.  
И Смерть придет и тихо скажет: баста.  
Но те, кого еще на свете нет,  
Кто будет жить — так, лет через полтора-два,  
Проснутся ли в пленительном саду  
Среди святых и нестерпимых светов,  
Чтоб дни и ночи в сладостном бреду.  
Твердить чеканные гекзаметры поэтов  
И чувствовать биения сердец,  
Которые не ведают печали.  
И повторять: «О, брат мой. Наконец!  
Недаром наши предки пострадали!»  
Н-да-с. Как сказать... Я напрягаю слух,  
Но этих слов в веках не различаю.

А вот что из меня начнет расти лопух:  
Я — знаю.  
И кто порукою, что верен идеал?  
Что станет человечеству привольно?!  
Где мера сущего?! — Грядите, генерал!..  
На десять лет! И мне, и вам — довольно!

1920

### ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

*Мы* будем каяться пятнадцать лет подряд.  
С остервенением. С упорным сладострастьем.  
Мы разведем такой чернильный яд  
И будем льстить с таким подобострастьем  
Державному Хозяину Земли,  
Как говорит крылатое реченье,  
Что нас самих, распластанных в пыли,  
Стошнит и даже вырвет в заключение.  
Мы станем чистить, строить и тесать.  
И сыпать рожь в прохладный зев амбаров.  
Славянской вязью вывески писать  
И вожделеть кипящих самоваров.  
Мы будем ненавидеть Кременчуг  
За то, что в нем не собиралось вече.  
Нам станет чужд и неприятен юг  
За южные неправильности речи.  
Зато какой-нибудь Валдай или Торжок  
Внушат немалые восторги драматургам.  
И умилил нас каждый пирожок  
В Клину, между Москвой и Петербургом.  
Так протекут и так пройдут года:  
Корявый зуб поддерживает пломба.  
Наступит мир. И только иногда  
Взорвется освежающая бомба.  
Потом опять увязнет ноготок.  
И станет скучен самовар московский.  
И лихача, ватрушку и Восток  
Нежданно выберанил Димитрий Мережковский.

Потом... О, Господи, Ты только вездесущ  
И волен надо всем преображеньем!  
Но, чую, вновь от беловежских пуц  
Пойдет начало с прежним продолженьем.  
И вкруг оси опишет новый круг  
История, бездарная, как бублик.  
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг  
Возникнет до семнадцати республик.  
И чье-то право обрести в борьбе  
Конгресс Труда попробует в Одессе.  
Тогда, о, Господи, возьми меня к Себе,  
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!

1920

### «ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»

Возвращается ветер на круги своя.  
Не шумят возмущенные воды.  
Повторяется все, дорогая моя,  
Повинуясь законам природы.

Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.  
Гибнет плод, красотой отягченный.  
И любимой поэт посвящает сонет,  
Уже трижды другим посвященный.

Все есть отблеск и свет. Все есть отзвук и звук.  
И, внимая речам якобинца,  
Я предчувствую, как его собственный внук  
Возжелает наследного принца.

Ибо все на земле, дорогая моя,  
Происходит, как сказано в песне:  
Возвращается ветер на круги своя,  
Возвращается, дьявол! хоть тресни.

1920

## ВСЕ ТЕЧЕТ

**Т**рижды прав Гераклит древнегреческий:  
Все течет. Даже вздор человеческий,

Даже золото скипетров царственных,  
Даже мудрость мужей государственных,

Даже желчь, что толкает повеситься —  
При сиянии бледного месяца...

1920

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой мальчик,  
спи, мой чиж.

*Саша Черный*

**С**пи, Данилка. Спи, мой чиж.  
Вот и мы с тобой в Париж,  
Чтоб не думали о нас,  
Прикатали в добрый час.

Тут мы можем жить и ждать,  
Не бояться, не дрожать.  
Здесь — и добрая Sainte Vierge.  
И консьержка и консьерж,  
И жандарм с большим хвостом,  
И республика притом.

Это, братец, не Москва,  
Где на улицах трава.  
Здесь асфальт, а в нем газон,  
И на все есть свой резон.

Вишь, как в самое нутро  
Ловко всажено метро,  
Мчится, лязгает, грызет,  
И бастует — и везет.

Значит, нечего тужить.  
Будем ждать и будем жить.  
Только чем?! Ну что ж, мой чиж,  
Ведь на то он и Париж,  
Город-светоч, город-свет.  
Есть тут русский комитет.  
А при нем бюро труда.  
Мы пойдем с тобой туда  
И заявим: «Я и чиж  
Переехали в Париж.  
Он и я желаем есть.  
Что у вас в Париже есть?!»

Ну, запишут, как и что.  
Я продам свое пальто  
И куплю тебе банан,  
Саблю, хлыст и барабан.  
День пройдет. И два. И пять.  
Будем жить и будем ждать.

Будем жаловаться вслух,  
Что сильнее плоть, чем дух,  
Что до Бога высоко,  
Что Россия далеко,  
Что Данилка и что я —  
Две песчинки бытия  
И что скоро где-нибудь  
Нас положат отдохнуть  
Не на час, а навсегда,  
И за счет бюро труда.  
«Здесь лежат отец и чиж»,  
И напишут: «Знай, Париж!  
Неразлучные друзья,  
Две песчинки бытия,  
Две пылинки, две слезы,  
Две дождевики злой грозы,  
Прошумевшей над землей,  
Тоже бедной, тоже злой».

## ЗАСТИГНУТЫЕ НОЧЬЮ

Я поздно встал. И на дороге  
Застигнут ночью Рима был.

Тютчев

**Ж**ивем. Скрипим. И медленно седеем.  
Плетемся переулками Passy.  
И скоро совершенно обалдеем  
От способов спасения Руси.  
Вокруг шумит Париж неутомонный,  
Творящий, созидающий, живой.  
И с башни, кружевной и вознесенной,  
Следит за умирающей Москвой.

Он вспоминает молодость шальную,  
Веселую работу гильотин  
И жизнь свою, не эту, а иную,  
Которую прославил Ламартин.

О, зрелость достигается веками!  
История есть мельница богов.  
Они неторопливыми руками  
Берут из драгоценных закровов,  
Покорствуя величественной воле,  
Раскиданные зернышки Руси,  
Мы очередь получим в перемоле,  
Дотоле обретаясь в Passy.

И некто не родившийся родится.  
Серебряными шпорами звеня,  
Он сядет на коня и насладится —  
Покорностью народа и коня.

Проскачут адъютанты и курьеры.  
И лихо заиграют трубачи.  
Румяные такие кавалеры.  
Веселые такие усачи.

Досадно будет сложенным в могиле,  
Ах, скучно будет зернышкам Руси...  
Зачем же мы на диспуты ходили  
И чахли в переулочках Passy.

1921



## ПАНТЕОН

## 1

Здесь погребен monseigneur Израильсон.  
Он покупал по случаю брильянты  
И твердо веровал, что президент Вильсон  
Окажется решительней Антанты.  
Но падал франк. Летела марка вниз.  
Вода Виши не помогла желудку.  
И умер он, умученный от виз.  
Любя Россию вопреки рассудку.

## 2

Молодой человек. Из хорошей семьи.  
Основатель Бюро переводов.  
Умер честно. Один. Без хорошей семьи.  
На глазах европейских народов.

## 3

Вся жизнь его прошла в мечтах.  
Он шибко жил и умер быстро.  
Покойся мирно, бедный прах  
Дальневосточного министра!..

## 4

Здесь погребен веселый щелкопер.  
Почти поэт, но не поэт, конечно.  
Среди планет беспечный метеор,  
Чей легкий свет проходит быстротечно.  
Он роз и слез почти не рифмовал.  
Но, со слезой вздыхая о России,  
Стихию он всегда предпочитал  
Соблазну полнозвучия Мессии.

Он мог бы и бессмертие стяжать.  
Но на ходу напишешь разве книжку?!  
А он бежал. И он устал бежать.  
И добежал до кладбища вприпрыжку

<1921>

## СТИХИ О БЕДНОСТИ

Не упорствуй, мой маленький друг  
И не гневайся гневом султанши.  
Мы с тобой не поедem на юг.  
Мы не будем купаться в Ла-Манше.

Я тебя так же нежно люблю,  
Все капризы готов исполнять я.  
Но, увы, я тебе не куплю  
Кружевного брюссельского платья.

Потому что... — богата ли мышь,  
Убежавшая чудом с пожара?!  
Что же ты, моя мышка, молчишь?  
Или, бедный, тебе я не пара?

Не грусти. Это только — пока.  
Перешей свое платье с каймою,  
То, в котором, светла и легка,  
По Тверской ты гуляла весною.

Заскучаешь, возьму автобус  
И до самой Мадлэн прокатаю!  
Я ведь твой избалованный вкус,  
Слава Богу, немножечко знаю...

Разве кончена жизнь уже?  
Разве наша надежда напрасна?!  
Почитай господина Мюрже,  
Ты увидишь, что жизнь прекрасна.

А сознание, что в нашей судьбе  
Есть какая-то мудрость страдания?!

Разве это не лестно тебе?  
Разве мало такого сознания?..

Жить, постигнув, что все — Ничего!  
Видеть мир, превращенный в обломки!  
Понимаешь ли ты, до чего  
Нам завидовать будут потомки?!

Не сердись же, мой маленький друг.  
Не казни меня гневом султанши.  
Мы с тобой не поедem на юг.  
Мы не будем купаться в Ла-Манше.

1920

## РЕЗОЛЮЦИЯ

Хорошо бы в море бросить  
Всех, кто что-то проповедует  
Зачесать умело проседь,  
Зачесать ее как следует.  
Предоставить спор невежде,  
Не вступая с ним в дискуссию.  
И ухаживать, как прежде,  
За какой-нибудь Марусею.

Не ходить встречать Мессию  
И его не рекламировать.  
Со слезою про Россию  
Ничего не декламировать.  
Не скулить о власти твердой  
С жалким видом меланхолика.  
Вообще, не шлаться с мордой  
Освежеванного кролика.

Но, избрав потверже сушу,  
Все суметь, что юность ведает.  
И взбодрить и плоть, и душу,  
И взбодрить их так, как следует.

Предоставить спор невежде,  
Не вести ни с кем дискуссию.  
И... ухаживать, как прежде,  
За какой-нибудь Марусею!

1920

### ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОРЫВЫ

**Я** в мире все, покорствуя, приемлю.  
Чтоб самый мир осмыслить и постичь.  
Иван Ильич желает сесть на землю.  
Я говорю: садись, Иван Ильич!

По всем его движениям и позам  
Я понимаю, это — крик души.  
Он говорит: хочу дышать навозом!  
Я говорю: действительно, дыши!

Он говорит: я заведу корову.  
Я говорю: конечно, заводи!  
И, веря ободряющему слову,  
Он чувствует стеснение в груди.

Так высказаться мученику надо.  
Так нужен этот дружеский жилет.  
Он говорит: представь себе! Канада!  
Мохнатый плащ! Ботфорты! Пистолет!

Я жизнь дам иному поколенью,  
Я населю величественный край!..  
С участием к сердечному волненью  
Я говорю: конечно, населяй!

А через час, беспомощней сардинки,  
Которая не может ничего,  
Он вновь стучит на пишущей машинке  
И курит так, что страшно за него!

1921

## ТРУЖЕНИКИ МОРЯ

«Уж небо осенью дышало»,  
Уже украли покрывало  
С террасы казино.  
И ветер, в злости беспечальной,  
На крыше флаг национальный  
Уже сорвал давно.  
Тромбон, артист с душой и вкусом,  
Бродил с большим и страшным флюсом  
На правой стороне.  
Уже не ждали ветра с юга  
И ненавидели друг друга,  
И жили в полусне.  
Рыжеволосая актриса  
Избила туфлею Париса,  
И он ходил, как тень.  
Вино, что день, то было жиже.  
И все мечтали о Париже,  
Когда кончался день.  
Но общей связаны порукой,  
Все говорили с тайной скукой,  
Участвуя в игре:  
Ах, все зависит от циклона.  
Пройдет циклон, разгар сезона  
Наступит в сентябре.  
А море бешено кидалось,  
Лизало берег, возвращалось,  
Чтоб закипеть опять,  
Купальню смыть назло французу,  
И на песок швырнуть медузу  
И на песке распять.  
И ночью снилась небылица,  
Далекий вальс и чьи-то лица,  
И нежность чьих-то глаз,  
И ненаписанные стансы,  
И трижды взятые авансы  
Под стансы и рассказ.  
И море снилось, но другое,  
Далекое и голубое,

И милый Коктебель.  
Курьерский поезд петербургский.  
Горячий борщ, конечно, в Курске,  
И северная ель.  
Скорей, скорей! Уж Тула — справа.  
Вот старый Серпухов. Застава.  
Мгновенье... и — Москва.  
— Пожа-пожалте, прокатаю! —  
И вдруг я смутно различаю  
Не русские слова.  
И, слышу, снова бьет Париса  
Рыжеволосая актриса,  
Должно быть, за циклон,  
Который в море хороводит.  
Madame! Не бейте! Все проходит,  
И все пройдет. Как сон.

1920

## СЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

Правда, странно? Что за дата?  
Что случилось там когда-то,  
Далеко от здешних мест?  
Каратыгина рожденье?  
В Борках поезда крушенье?  
Или просто манифест?!  
Нет, не то и не другое,  
И не третье, а — иное.  
Ну же! Вспомните скорей!  
Неужели вы забыли?  
Неужели не любили  
Вы на родине своей?!  
Неужели в ваших венах  
Песню песней сокровенных  
Никогда не пела кровь?  
Неужели даже прежде  
И ни к Вере, ни к Надежде  
Не швырнула вас Любовь?!  
Но уж к Софье?! К вашей тетке,



# Из сборника «Накинув плащ»

## ГОРОДА И ГОДЫ

Старый Лондон пахнет ромом,  
Жестью, дымом и туманом.  
Но и этот запах может  
Стать единственно желанным.

Ослепительный Неаполь,  
Весь пронизанный закатом,  
Пахнет муляжами и слизью,  
Тухлой рыбой и канатом.

Город Гамбург пахнет снедью,  
Лесом, бочками и жиром,  
И гнетущим, вездесущим,  
Знаменитым добрым сыром.

А Севилья пахнет кожей,  
Кипарисом и вербеной,  
И прекрасной чайной розой,  
Несравнимой, несравненной.

Вечных запахов Парижа  
Только два. Они все те же:  
Запах жареных каштанов  
И фиалок запах свежий.

Есть чем вспомнить в поздний вечер,  
Когда мало жить осталось,  
То, чем в жизни этой брэнной  
Сердце жадно надышалось!..

Но один есть в мире запах  
И одна есть в мире нега:



Это русский зимний полдень,  
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить  
Сердце, помнящее много.  
И уже толпятся тени  
У последнего порога.

1927

### ЖИЛИ-БЫЛИ

Если б вдруг назад отбросить  
Этих лет смятенный ряд,  
Зачесать умело проседь,  
Оживить унылый взгляд,  
Горе — горечь, горечь — бремя,  
Все — веревочкой завить,  
Если б можно было время  
На скаку остановить,  
Чтоб до боли закусило  
Злое время удила,  
Чтоб воскликнуть с прежней силой —  
Эх была, да не была!  
Да раскрыть поутру ставни,  
Да увидеть под окном  
То, что стало стародавней  
Былью, сказочкою, сном...  
Этот снег, что так синеет,  
Как нигде и никогда,  
От которого пьянеет  
Сердце раз и навсегда.  
Синий снег, который режет,  
Колет, жжет и холодит,  
Этот снег, который нежит,  
Нежит, душу молодит,  
Эту легкость, эту тонкость,  
Несказанность этих нег,  
Хрупкость эту, эту звонкость,  
Эту ломкость, этот снег!  
Если б нам, да в переулки,

В переулки, в тупички,  
Где когда-то жили-были,  
Жили-были дурачки,  
Только жили, только были,  
Что хотели, не смогли,  
Говорили, что любили,  
А сберечь, не сберегли...

1927

## ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

**Т**ы помнишь снег, и запах снежный,  
И блеск, и отблеск снеговой,  
И стон, и крик, и скок мятежный  
Над безмятежною Москвой,  
И неба синие шинели,  
И звезды пуговиц на них,  
И как пленительно звенели  
Разливы песен молодых,  
И ночью тихой, ночью сонной  
То смех, то шепот заглушенный,  
И снег, о! снег на Малой Бронной,  
На перекрестке двух Козих?!

В кругу содвинутых бутылок  
Наш глупый спор, российский спор,  
Его поток и милый вздор,  
Фуражки, сбитой на затылок,  
Академический задор,  
И тостов грозные раскаты,  
И клятвы мщенья за грехи,  
И все латинские цитаты,  
И сумасшедшие стихи!

Потом приказ — будите спящих!  
Зажечь костры!.. И, меж костров,  
Ты помнишь старых, настоящих,  
Твоих седых профессоров,  
Которых слушали вначале,  
Ты помнишь, как мы их качали,

Как ватный вырвали рукав  
Из шубы доктора всех прав!..  
Как хохотал старик Ключевский,  
Как влез на конный монумент  
Максим Максимыч Ковалевский,  
Уже толстяк, еще доцент...

Потом, ты помнишь, кони-птицы  
Летят в Ходынские поля,  
Танцуют небо и земля,  
И чьи-то длинные ресницы,  
Моей касаясь щеки,  
Дрожат, воздушны и легки.  
Снежинки тают, мчатся, выются,  
Снежинок много, ты одна,  
А песни плачут и смеются,  
А песни льются, льются, льются,  
И с неба, кажется, сорвутся  
Сейчас и звезды, и луна!..

...Промчалось все. А парк Петровский  
Сегодня тот же, что вчера.  
Хрустит, как прежде, снег московский  
У Патриаршего пруда.  
И только старость из тумана  
За нами крадется, как тать.  
Ну, ничего, моя Татьяна... —  
Коли не жить, так вспоминать.

1926

## ПРИЗНАНИЕ

На минувшее взираю  
Я почти с благоговеньем.  
Я завидую невольно  
Предыдущим поколениям.

Было все когда-то легче,  
Было все когда-то проще,

Три кита на свете были:  
Русь, исправники и тещи.

У купца, у Пастухова,  
Что у Каменного моста,  
Все, что в мире совершалось,  
Объяснялось очень просто.

Шею шарфом обмотавши,  
Алкоголик и безбожник,  
В наводивших страх галошах  
Приходил к нему художник,

И за три рубля в неделю,  
С возмущением непритворным,  
Всю уездную управу  
Пригвождал к столбам позорным.

«О, доколе, Каталина...» —  
Восклищал он без варьяций,  
Осуждая непорядки  
Городских ассенизаций.

А потом, надев намордник,  
Тещу, женщину сырую,  
Рисовал в ужасном виде,  
Вообще, как таковую.

Ах, я знаю, все проходит,  
Все есть тлен и быстротечность.  
Отошла и наша теща  
В пожирающую Вечность.

Но когда я меж консьержек  
Заблудившись безнадежно,  
Вспоминаю то, что было  
И что стало невозможно,

У меня вот к этой теще,  
К сатирическому устью,  
Прямо, знаете ли, нежность,  
Перемешанная с грустью!..

1926

## ПРИЗЫВ К БОДРОСТИ

Человек, не вешай нос  
Ни на квинту, ни иначе.  
Не склоняй ни роз, ни слез,  
А уж грез и наипаче.

В плащ не кутайся, зловец:  
И прохладно, и не модно,  
Только бодрость — это вещь,  
Все другое производно.

И не так уж тесен мир,  
Чтобы в нем не поместиться.  
А затем... ведь ты ж не сыр,  
Чтоб слезой своей гордиться.

Сколько тягостных колец  
Вкрут затягивалось уже.  
Так уж худо, что конец!  
А глядишь назавтра... хуже.

Это значит, что вчера  
За сугроб ты принял кочки,  
Это значит, что игра  
Не дошла еще до точки.

Если ж так, то выше нос.  
«Еще Польша не сгинела».  
Жил да был такой Панглосс,  
Понимавший это дело.

И когда его Вольтер  
Посадил однажды на кол,  
Он, классический пример,  
Сел и даже не заплакал.

И подействовала так  
Эта твердость на Вольтера,  
Что сказал он: «Слезь, дурак,  
Ты не годен для примера!..»

## ЭЛЕГИЯ

Помнишь ты или не помнишь  
Этот день и этот час,  
Как сиял нам луч заката,  
Как он медлил и погас?  
Ничего не предвещало,  
Что готовится гроза.  
Я подсчитывал расходы,  
Ты же — красила глаза.  
А потом ты говорила,  
Милым голосом звеня,  
Что напрасно нету дяди  
У тебя иль у меня.  
Если б дядя этот самый  
Жил в Америке, то он  
Уж давно бы там скончался  
И оставил миллион...  
Я не стал с тобою спорить  
И доказывать опять,  
Что могла бы быть и тетя,  
Тысяч так на двадцать пять.  
Я ведь знаю, ты сказала б,  
Что, когда живешь в мечтах,  
То бессмысленно, конечно,  
Говорить о мелочах.

1926

## БАБЬЕ ЛЕТО

Нет даже слова такого  
В толстых чужих словарях.  
Август. Ущерб. Увяданье.  
Милый, единственный прах.

Русское лето в России.  
Запахи пыльной травы.  
Небо какой-то старинной,  
Темной, густой синевы.

Утро. Пастушья жалейка.  
Поздний и горький волчец.  
Эх, если б узкоколейка  
Шла из Парижа в Елец...

1926

## ТОСТ

Одного Нового года нам мало,  
Эх, где наша не пропадала,  
Один раз вплавь, другой раз вброд,  
Встретим еще один Новый год.

Пей, как говорится,  
Мелкая земская единица,  
Сивка и Россинант,  
Рядовой эмигрант!

Пей за мировую бесконечность,  
За мгновение, и за Вечность,  
За красоту, и за момент,  
И за третий элемент.

Пей за свободу слова,  
За народ, давший Толстого,  
За чувство мировой тоски  
И за эти самые огоньки.

Пей за нашу профессуру,  
За приват и за доцентуру,  
Пей за адвокатуру,  
Пей за литературу,  
Даже за температуру,  
Но, главное ж, пей...

Пей за все яркое, за все огневое,  
За искусство как таковое,  
За выси гор и за ширь долин,  
За Мечникова лактобациллин.

Пей за друга читателя,  
Пей за друга издателя,

Пей за друга писателя,  
И даже за переписателя,

Но, главное, пей...  
Пей за нашу альма-матер,  
За вулкан и за кратер,  
За подробность, за суть,  
За исторический путь,

За луч света в царстве мрака,  
За излечение рака,  
За молнию и грозу,  
За Сидора и за козу,

За творчество и за муки,  
И за мучеников науки,  
За пострадавшие низы,  
И за Сидора без козы,

И за прекрасную Францию,  
Последнюю нашу станцию,  
Где по два раза в год  
Встречаем мы Новый год,

Но твердо и неуклонно,  
На Онуфрия и на Антона,  
С танцами до утра,  
Пока придет пора,  
А не придет, так приснится.

Пей, мелкая единица,  
Ура!

1927

### ТЯГА НА ЗЕМЛЮ

Тородскому человеку  
Страстно хочется на волю.  
У него тоска по небу,  
Колосящему полю,



По похожим на барашков  
Облакам и легким тучкам  
И еще по всяким разным  
В книжках вычитанным штучкам.

Городскому человеку,  
Даже очень пожилому,  
Страшно хочется зарыться  
Прямо в сено иль в солому  
И вдыхать сосновый запах,  
От соломы, но сосновый!!!  
И глядеть, как в час вечерний  
Возвращаются коровы...

Городскому человеку  
Так и кажется, что вымя  
Сразу вздуто простоквашей  
И продуктами другими,  
И что надо только слиться  
С лоном матери-природы,  
Чтобы выровнять мгновенно  
Все — и душу, и расходы.

Городскому человеку,  
Утомленному столицей,  
Снится домик очень белый  
С очень красной черепицей.  
В этом домике счастливым  
На окне цветут герани,  
А живут там полной жизнью  
Краснощекие пейзажи.

Городские ощущения  
Одинаковы и стерты...  
Вот и тянет человека  
На натюры да на морты.  
И мечтает он однажды  
Убежать от шума света  
И купить клочок землицы,  
Где, неведомо... Но где-то!

Развести цыплят, коровок,  
Жить легко и без печали,

Получая ежегодно  
Три серебряных медали:  
За цыплят и за коровок,  
И за то, что образцово  
Деревенское хозяйство  
Человека городского.

Но пока о куроводстве,  
Улыбаясь, он мечтает,  
Грузовик его бездушный  
Пополам переезжает.  
Потому что не цыплята  
По навозной бродят жиже,  
Не цыплята, и не бродят,  
И не в жиже, а в Париже!  
И теперь на Пер-Лашезе  
Он лежит, дитя столицы.  
Городскому человеку  
Много надо ли землицы?!

1926

## МАРТ МЕСЯЦ

Оттепель. Дымка. Такси вздорожали.  
Нежность какая-то. Грусть.  
Двух радикалов куда-то избрали.  
Поезд ограбили. Пусть.

Нует шарманка. Рапсодия Листа.  
Серб. Обезьянка в пальто.  
Я вспоминаю Оливера Твиста,  
Диккенса, мало ли что...

Все-таки лучшее время природы —  
Это весна, господа!  
Все сочиняют поэмы и оды.  
Даже извозчики. Да.

Что-то весеннее грезится миру,  
Бог его ведает, что.  
Ах, если б мне итальянскую лиру...  
Даже не лиру, а сто!

1926

## ГОЛУБЫЕ ПОЕЗДА

**К**аждый день уходит к морю  
Голубой курьерский поезд.  
Зябко кутаются в соболь  
Благороднейшие леди.

Пахнет кожей несессеров,  
И сигарой, и духами,  
И еще щемящим чем-то,  
Что не выразить стихами...

Если вы не лорд английский,  
Не посол Венесуэлы,  
Не владелец медных копей  
В юго-западном Техасе,

Если герцогов Бульонских  
Вы не косвенный потомок,  
Не глава свиного треста,  
Не плантатор из Таити,

Если вы не задушили  
Тетку, Пиковую даму,  
То чего же вы стоите  
И куда же вы суетесь?!

Ах, шестое это чувство,  
Чувство рельс, колес, пространства,  
То, что принято у русских  
Называть манящей далью...

Замирающее чувство,  
Словно вы на полустанке.

Вот придет швейцар огромный —  
Страшный бас и густ, и внятен:  
— Пер-рвый... Поезд... на четвертом.  
Фастов... Знаменка... Казатин...

1927

## ВАРИАНТ

Вянет лист. Проходит лето.  
Солнце светит скупю.  
Так как нету пистолета,  
То стреляться глупо.

И к чему былого века  
Пошлые замашки,  
Когда есть у человека  
Честные подтяжки!

Мы не узкие педанты,  
Нам и сосны в пору...  
Вот и будут эмигранты —  
С сосенки, да с бору!

1926

## ДНЕВНИК НЕВРАСТЕНИКА

Сесть имею доложить,  
Что ужасно трудно жить,  
Прямо, искренне сознаться,  
Невозможно заниматься!..

В гневе мрачный небосвод  
Разверзается библейском,  
И потоки многих вод  
Мчатся в страхе иудейском.

Человеки и стада  
Мокнут купно и отменно.

Вот уж именно когда  
 Всем им море по колено.

Это значит, что опять  
 Ной в порядке диктатуры  
 Станет тварей отбирать  
 Для грядущей авантюры.

...Этак мыслью воспаришь —  
 И еще противней станет.  
 Над тобой по скатам крыш  
 Дождь немолчно барабанит.

Куришь. Киснешь. Морщишь лоб.  
 Невозможно заниматься.  
 Эх, мамаша! Хорошо б  
 Чистым спиртом нализаться,

Наложиться, словно зверь,  
 И мурлыкать откровенно:  
 Вот уж именно теперь  
 Мне и море по колено!..

1927

## ЮБИЛЕЙ

**М**опали. Шарили. Рылись. Хватали.  
 Ставили к стенке. Водили. Пытали.  
 Словом, английским сказать языком:  
 Дом моя крепость, и... крепость мой дом.

Площадь очистили. Цоколь. Ступеньки.  
 Памятник общий Емельке и Стеньке.  
 Именно в память того, что ко дну  
 Стенька персидскую сплавил княжну.

Осень проходит. Одна. И другая.  
 Третья... Шестая... Седьмая... Восьмая...  
 Вот и десятая глазом видна!  
 «Грустную думу наводит она».

Песня ль доносится... Жалоба ль, вздох ли.  
Лес обнажился... Грачи передохли...  
Ветер гуляет в просторах полей...  
В общем, приятная вещь юбилей.

<1928>

## ЛЮБОВЬ ОТ СОХИ

**З**ацветают весенние грядки.  
Воробей от безумья охрип.  
Я люблю вас в ударном порядке,  
Потому что вы девушка-тип!

Ах, в душе моей целая смута,  
И восторг, и угар, и тоска.  
Приходите, товарищ Анюта,  
Будем вместе читать Пильняка.

Набухают весенние почки.  
С точки зрения смычки простой,  
Я дошел, извиняюсь, до точки!  
Ибо я индивид холостой.

Прекратите ж сердечную муку,  
Укротите сердечную боль.  
Предлагаю вам сердце и руку  
И крестьянского типа мозоль.

<1928>

## «ХОД КОНЯ»

В Москве состоялся розыгрыш дер-  
би для крестьянских рысаков.

**Я** чувствую невольное волненье,  
Которое не выразишь пером.  
Прошли года. Сменилось поколение.  
Все тот же он, московский ипподром.

Исчезли старые и милые названия,  
Но по весне, когда цветет земля,  
Легки и дымны дней благоуханья  
И зелены Ходынские поля.

Иные краски созданы для взора,  
Иной игрой взволнована душа, —  
Не голубою кровью Галтимора  
И не дворянской спесью Крепыша.

Из бедности, из гибели, из мрака,  
Для счастья возродясь наконец,  
Лети, скачи, крестьянская коняка,  
В советских яблоках советский жеребец!

Ты перенес жестокие мученья  
И за чужие отвечал грехи,  
Но ты есть конь иного назначенья,  
Ты, скажем прямо, лошадь от сохи.

Пусть ноги не арабские, не тонки,  
И задняя с передней не в ладу,  
Есть классовое что-то в селезенке,  
Когда она играет на ходу.

Прислушиваясь к собственным синкопам  
И не страшась, что вознесется бич,  
Ты мчишься этим бешеным галопом,  
Который завещал тебе Ильич.

И, к милому прошедшему ревнуя,  
Я думаю над пушкинским стихом:  
Вот именно, крестьянин, торжествуя,  
Играет в ординаре и двойном.

# Из сборника «Нескучный сад»

## НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

**Т**очка. Станция. Шлагбаум.  
Треплет ветер на ходу  
Три романа Викки-Баум,  
Позабытые в саду.

Круг замкнулся. Сократился.  
Ни концов и ни начал.

Доктор Шмелькин возвратился.  
Дождь в окошко застучал...

Из разверзнутого лона  
Целый хлынул водоем.

Кто-то ищет компаньона  
В одиночестве своем.  
Кто-то громко объявляет  
В напряженной тишине,  
Что паркетные натирает  
По неслыханной цене.

А другой, в какой-то злобе  
Сообщая адрес свой,  
Ищет фюрера к особе,  
Очевидно, пожилой.

Капли падают все чаще,  
Тяжелее бабьих слез.  
Кто-то голосом дрожащим  
Предлагает пылесос.



И опять кончиной света  
Угрожает неба высь.  
И опять мечта поэта  
Пишет Бобику: вернись!

(1927—1934)

## ТРУДЫ И ДНИ

### 1

Доклад: «Любовь и веронал».  
Билеты — франк, у входа в зал.

### 2

Вышли в свет воспоминанья:  
«Четверть века прозябанья».

### 3

Нужен смокинг или фрак  
Для вступающего в брак.  
Там же ищут для венца  
Посаженного отца.

### 4

Ищут вежливых старушек  
Для различных побегушек.

### 5

Отдается домик с садом,  
С крематориумом рядом.

### 6

Ищут крепкую эстонку  
К годовалому ребенку.

7

Диспут в клубе на Клиши  
О бессмертии души.  
Там же прения сторон,  
Русский чай и граммофон.

8

Ищут скромную персону  
Средних лет —  
Отвечать по телефону:  
Дома нет.

9

Срочно нужен на Европу  
Представитель по укропу.

10

Имею восемь паспортов,  
На все готов.

11

Скромный русский инвалид  
Ищет поручений  
По устройству панихид  
Или развлечений.

12

Отдается дом с гаражем,  
С правом пользования пляжем.  
Непосредственно из спальни  
Вид на женские купальни.

13

Ищут тихого злодея.  
Есть старушка. Есть идея.

14

Сохранившийся мужик,  
Бывший крымский проводник,  
Сокращает скуку дней  
На отрогах Пиреней.

15

Ищу мансарду для прислуги,  
Чтоб проводить свои досуги.

16

Комната с диваном  
За урок с болваном.

17

Холостяк былой закваски  
Жаждет ласки...

18

«Вырыта заступом яма глубокая»...  
Адрес для писем: Алжир. Одинокая.

19

«Жорж, прощай. Ушла к Володе!..  
Ключ и паспорт на комод».

20

Пришли. Ушли. Похоронили.  
«Среди присутствующих были...»

1933

ПОДРАЖАНИЕ ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ

Не старайся постигнуть. Не отгадывай мысли.  
Мысль витает в пространствах, но не может осесть.  
Ананасы в шампанском окончательно скисли,  
А в таком состоянии их немислимо есть.

Надо взять и откинуть, и отбросить желанья.  
И понять неизбежность и событий, и лет,  
Ибо именно горьки ананасы изгнанья,  
Когда есть ананасы, а шампанского нет.

Что ж из этой поэзы, господа, вытекает?  
Ананас уже выжат, а идея проста:  
Из шампанского в лужу — это в жизни бывает,  
А из лужи обратно — парадокс и мечта!..

1931

ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА

Все было русское... И «Бедность не порок»  
И драматург по имени Островский.  
И русская игра, и русский говорок,  
И режиссер, хоть пражский, но московский.

Все было русское. И песня, и трепак,  
И гиканье, и посвист молодецкий.  
И пленный русский князь, и даже хан Кончак.  
Хоть был он хан, и даже половецкий.

Все было русское... Блистательный балет,  
И добрые волшебники, и феи.  
И греза-девочка четырнадцати лет  
В божественном неведении Психеи.

Все было русское... И русские лубки,  
И пляски баб, и поле, и ракита,  
И лад, и строй гитар, исполненный тоски,  
И человек по имени Никита.

Все было русское... И клюква, и укроп,  
И русский квас, изюминой обильный.  
И даже было так, что даже Мисс Егоре  
Звалась Татьяной и была из Вильны.

Все было русское... И дни, и вечера,  
И диспут со скандалом неизбежным.  
И столь классическое слово — Орэга,  
И то оно казалось зарубежным.

Все было русское... От шахмат и до Муз,  
От лирики до водки и закуски.  
И только huissier, который был француз,  
Всегда писал и думал по-французски...

1933

## ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

*Н*ачинается веселая пора...  
Обнаглела, повзрослела детвора.  
Что ни девочка, то целый бакалавр,  
Что ни мальчик, то не мальчик, а кентавр.

Не успели даже дух перевести,  
Даже сделать остановку на пути,  
Разобраться в этом космосе самом,  
А тебя уже на свалку да на слом.

Вы, папаша, не читали Мериме,  
Вы, мамаша, прозябали в Чухломе,  
Вы, мол, молодость ухлопали на ять,  
Вам Расина да Корнеля не понять.

И пошли, залопотали, ну! да ну!  
Как сороки-белобоки на тыну,  
Так Бальзаком, Мориаком и костят,  
Про Лажечникова слышать не хотят...

И плывет уже вечерняя заря,  
А в траве уже от блеска фонаря  
Умирают, угасают светлячки...

И выходит, что папаши дурачки,  
И что все есть только пепел и зола.  
И что молодость действительно прошла.

1933

### АСИ — МУСИ

Под Парижем, на даче, под грушами,  
Вызывая в родителях дрожь,  
На траве откровенными тушами  
Разлеглась и лежит молодежь.

И хотя молодежь эта женская  
И еще не свершила свое,  
Но какая-то скука вселенская  
Придавила и давит ее.

И лежит она так, босоногая,  
Напевая унылый фокстрот  
И слегка карандашиком трогая  
Свой давно нарисованный рот.

Засмеется — и тоже невесело,  
Превращая контральто в басы.  
И глядишь, и сейчас же повесила  
На обратную квинту носы.

А потом задымит папиросками  
Из предлинных своих мундштуков,  
Только вьется дымок над прическами,  
Над капризной волной завитков.

И гляжу на нее я, и думаю:  
Много есть достижений вокруг.  
Не исчислишь их общею суммою,  
Не расскажешь их сразу и вдруг.

Много темного есть в эмиграции,  
Много темного есть и грехов.  
Одного только нет в эмиграции...  
В эмиграции нет женихов.

1932

## ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

У был Октябрь. Звонили телефоны.  
Имел хождение русский пневматик.  
И был билет. И ставка на миллионы.  
И жизнь была. И рюмка. И шашлык.

И, несмотря на массу осложнений,  
На полный мрак, на кризис мировой,  
Какое-то беспутство или гений  
Спасали нас от бездны роковой.

А между тем под сланцами, под мглистым  
Покровом глыб, безумьем обуян,  
Уже дышал дыханием нечистым,  
Уже пылал и пенился вулкан.

И желт был дым в фарватерах,  
в воронках...  
И, помолясь безжалостным богам,  
Вставал монгол и шел на плоскодонках  
От устьев рек к безвестным берегам.

Из тундр пешком спешили алеуты,  
И пел шаман в убийственной тоске.  
И вел киргиз худой и необутый,  
Киргизский вождь в коровьем башлыке.

И шум стоял во всем Авиахиме,  
И горизонт был сумрачен и хмур,  
И говорил словами, и плохими,  
Какой-то тип, оратор и манчжур.

События шли стремительно и быстро,  
Гремела сталь, и цокал пулемет,  
Во всей Европе не было министра,  
Который спал бы ночи напролет...

А мы, глупцы, переводили стрелку,  
Платили тэрм, писали пневматик  
И покупали кошку или белку, —  
Для жен. Для шуб. На женский воротник...

1933

## ВЕЧЕРИНКА

Артистка читала отрывок из Блока  
И левою грудью дышала уныло.  
В глазах у артистки была поволока,  
И платье на ней прошлогоднее было.

Потом выступал балалаечник Костя  
В роскошных штанинах из черного плиса  
И адски разделал «Индийского гостя»,  
А «Вниз да по речке» исполнил для биса.

Потом появились бояре в кафтанах,  
И хор их про Стеньку пропел и утешил,  
И это звучало тем более странно,  
Что именно Стенька бояр-то и вешал.

Затем были танцы с холодным буфетом.  
И вальс в облаках голубого батиста.  
И женщина-бас перед самым рассветом  
Рыдала в жилет исполнителя Листа.

И что-то в тумане дрожало, рябило,  
И хором бояре гудели на сцене...  
И было приятно, что все это было  
Не где-то в Торжке, а в Париже, на Сене.

1933



## КРИК ДУШИ

**С**олнце всходит и заходит,  
Пробивается трава.  
Все упорно происходит  
По законам естества.

Отчего ж у юмористов  
На лице такая грусть?  
Почему судебный пристав  
Знает все и наизусть?

Отчего на белом свете  
Семь считается чудес?  
Отчего в любой газете  
Только сорок поэтесс?

Отчего краснеет густо  
Только вываренный рак?  
Отчего писать под Пруста  
Каждый силится дурак?

Отчего так жизнь угрюма,  
И с душой не ладит ум?  
И зачем Леона Блюма  
Родила мамаша Блюм?

1930, 1931

## ПАНОПТИКУМ

**т**емные горы сосисок.  
Страшные горы капуст.  
Звуки военного марша.  
Медленный челюсти хруст

Ярко палящее солнце.  
Бой нюрнбергских часов.  
Ромбы немецких затылков.  
Циркуль немецких усов.

Роты. Полки. Батальоны.  
Ружья. Лопаты. Кресты.

Шаг, сотрясающий недра,  
Рвущий земные пласты.

Ярмарка. Бред Каллигари.  
Старый, готический сон.  
Запахи крови и гари.  
Золото черных знамен.

Рвет и безумствует ветер.  
С Фаустом Геббельс идет.  
В бархатном, черном берете  
Вагнер им знак подает.

Грянули бешеным хором  
Многих наук доктора.  
Немки с невидящим взором  
Падали с криком «ура!».

...Кукла из желтого воска,  
С крепом на верхней губе,  
Шла и вела их навстречу  
Страшной и странной судьбе.

1934

## СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

Скажи мне, каменный обломок  
Неолитических эпох!  
Какие тьмы каких потемок  
Хранят твой след, таят твой вздох?

О чем ты был в безмолвье ночи  
В небытие и в пустоту?  
В какой простор вперяя очи,  
Ты слез изведаль теплоту?

Каких ты дядей ел на тризне  
И сколько тетей свеживал?  
И вообще, какой был в жизни  
Твой настоящий идеал?

Когда от грустной обезьяны  
 Ты, так сказать, произошел, —  
 Куда, зачем, в какие страны  
 Ты дальше дерзостно пошел?!  
 В кого, вступая в перебранку,  
 Вонзал ты вилку или нож?  
 И почему свою стоянку  
 Расположил на речке Сож?  
 И почему стоял при этом?  
 И на глазах торчал бельмом?  
 И как стоял? Анахоретом?  
 Один стоял? Или вдвоем?  
 И вообще, куда ты скрылся?  
 Пропал без вести? Был в бегах?  
 И как ты снова появился,  
 И вновь на тех же берегах?  
 ...И вот звено все той же цепи,  
 Неодолимое звено.  
 Молчит земля. Безмолвны степи,  
 И в мире страшно и темно.  
 И от порогов Приднепровья  
 И до Поволжья, в тьме ночной,  
 Все тот же глаз, налитый кровью,  
 И вопль глухой и вековой.  
 1931

## РОДНАЯ СТОРОНА

В советской кухне примусы,  
 Вот именно, горят.  
 Что видели, что слышали,  
 О том не говорят.  
 ...В углу профессор учится,  
 В другой сапожник влез.  
 А в третьем гордость нации,  
 Матрос-головорез.

В четвертом старушенция  
Нашла себе приют.  
А жить, конечно, хочется,  
Вот люди и живут.

С утра, как эти самые,  
Как примусы копят,  
Зато в советском подданстве  
И крепко состоят.

А примус вещь известная,  
Горит себе огнем,  
А кухня коллективная  
И вечером и днем.

Хозяек клокотание,  
Кипение горшков,  
И все на расстоянии  
Вот именно вершков.

Как схватятся соседушки,  
Как вцепятся в упор!  
А в воздухе, вот именно,  
Хоть вешайте топор.

Четвертая, гражданская,  
Сапожника жена  
Заехала профессорше  
Бутылкой от вина.

Бутылка, значит, в целости,  
Профессорша — навряд.  
А примусы упорствуют,  
А примусы горят.

1926, 1931

## ПОЭТ

Вся жизнь моя была победой света  
Над тьмою тем.  
Я был рожден по воле комитета,  
Не знаю кем.

Но понял я, что был не самостийным  
Мой первый час.  
А отвечал желаниям партийным  
Вождей и масс.  
И мне сказал неведомый родитель:  
Смотри, подлец!  
Уже стяжал покойный наш учитель  
Себе венец...  
Его пример, средь прочих наипаче,  
В душе храни,  
И не зевай, и в случае удачи  
И сам стяни.  
И я пришел в рабочие артели,  
Как некий бард.  
И песнь моя не жаворонков трели,  
А взрыв петард!  
И каждый звук, и мысль моя, и слово,  
И крик души,  
Как погреба пожар порохового  
В ночной тиши.  
Я не ищу в поэзии разгадку  
Тайн бытия.  
Мне все равно, что сапогами всмятку  
Торгую я.  
Я свой огонь кузнечными мехами  
Раздул, и вот  
Я как вулкан, который вдруг стихами  
Сейчас прорвет.  
И хлынет вниз из горла, из воронки,  
Сорвав затор,  
Мой молодой, мой бешеный, мой звонкий  
Мой адский вздор,  
И озарит пылающим поленом  
Грядущий век!..  
И скажет мне вся партия, весь пленум:  
— Се, человек.

## ПОЗНАЙ СЕБЯ

Б а с н я

Однажды Сидоров, известный неврастеник,  
С самим собой сидел наедине,  
Рассматривал обои на стене,  
И табаком, напоминавшим веник,  
Прокуривал свой тощий организм  
И все искал то мысль, то афоризм,  
Чтоб оправдать, как некую стихию,  
Свою тоску, свою неврастению,  
И жизнь свою, и лень, и эгоизм.  
Но мысли были нищи, как заплаты,  
И в голову, как дерзкие враги,  
Не афоризмы лезли, не цитаты,  
А лишь долги.  
Когда ж ему невыносимо стало  
Курить и мыслить, нервы тербя,  
Он вспомнил вдруг Сократово начало:  
Познай себя!  
И подскочил, как будто в нем прорвались  
Плотины, шлюзы, рухнувшие вниз.  
И он в такой вошел самоанализ,  
В такой невероятный самогрыз,  
В такой азарт и раж самопознания,  
В такое постижение нутра,  
Что в половине пятого утра,  
На потолок взглянув без содроганья,  
Измерил взглядом крюк на потолке,  
А ровно в пять висел уж на крюке.

\* \* \*

Сей басни смысл огромен по значенью:  
Самопознание приводит к отвращенью.

1935

## ПРИЗНАНИЯ

*Мы* были молоды. И жадны. И в гордыне  
Нам тесен был и мир, и тротуар.  
Мы шли по улице, по самой середине,  
Испытывая радость и угар —

От звуков музыки, от солнца, от сиянья,  
От жаворонков, певших в облаках,  
От пьяной нежности, от сладкого сознания,  
Что нам дано бессмертие в веках...

Мы были молоды. Мы пели. Мы орали.  
И в некий миг, в блаженном забытии,  
В беднягу пристава то ландыши швыряли,  
То синие околыши свои.

Звенела музыка, дрожала мостовая...  
Пылал закат. Изнемогавший день  
Склонялся к западу, со страстию вдыхая  
Прохладную лиловую сирень.

Мы были смелыми. Решительными были.  
На приступ шли и брали города.  
Мы были молоды. И девушек любили.  
И девушки нам верили тогда...

Клубились сумерки над черною рекою.  
Захлопывалось темное окно.  
А мы все гладили прилежною рукою  
Заветное родимое пятно.

Мы поздно поняли, пропевши от усердья  
Все множество всех песен боевых,  
Что нет ни пристава, ни счастья,  
ни бессмертья...  
Лишь ландыши, и то уж для других.

## НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Напой меня малиной,  
Крепким ромом, цветом липы.  
И пускай в трубе каминной  
Раздаются вопли, всхлипы...

Пусть скрипят и гнутся сосны,  
Вязы, тополи иль буки.  
И пускай из клавикордов  
Чьи-то медленные руки

Извлекают старых вальсов  
Мелодические вздохи,  
Обреченные забвенью,  
Несозвучные эпохе.

Напой меня кипучей  
Лавой пунша или грога  
И достань, откуда хочешь,  
Поразительного дога,

Да чтоб он сверкал глазами,  
Точно парой аметистов,  
И чтоб он сопел, мерзавец,  
Как у лучших беллетристов.

А сама, в старинной шали  
С бахромою и с кистями,  
Перелистывая книгу  
С пожелтевшими листьями,

Выбирай мне из «Айвенго»  
Только лучшие страницы  
И читай их очень тихо,  
Опустивши вниз ресницы.

Потому что человеку  
Надо в сущности ведь мало...  
Чтоб у ног его собака  
Выразительно дремала,

Чтоб его поили грогом  
До семнадцатого пота,



И играли на роялях,  
И читали Вальтер Скотта.  
И под шум ночного ливня  
Чтоб ему приснилось снова  
Из какой-то прежней жизни  
Хоть одно живое слово!

1929—1935

### КАК РАССКАЗАТЬ...

Как рассказать им чувство это,  
Как объяснить в простых словах  
Тревогу зимнего рассвета  
На петербургских островах,  
Когда, замучившись, несется  
Шальная тройка поутру,  
Когда, отстегнутая, бьется  
Медвежья полость на ветру,  
И пахнет влагой, хвоей, зверем.  
И за верстой верста бежит.  
А мы, глупцы, орем и верим,  
Что мир лишь нам принадлежит

1929—1935

## Из сборника «В те баснословные года»

### «ПРОЛЕГОМЕНИ»

— Олой Пушкина и Белинского.  
Читайте Степняка-Кравчинского!

Прочитали, марш вперед.  
Девятьсот пятый год.

От нигилизма — ножки да рожки.  
Альманахи в зеленой обложке.  
Андреев басит в Куоккале,  
Горький поет о соколе.  
Буревестник взмывает вдаль.  
Читает актер под рояль.  
— Эх, грусть — тоска...  
Дайте нам босяка!

Идет тип в фуражке.  
Грудь. На груди подтяжки.  
Расчищает путь боксом,  
Говорит парадоксом.  
Я это «Я», не трожь!  
Молодежь в дрожь...

Дрожит, но ходит попарно.  
Читает стихи Верхарна.  
Плюет плевком в пространство,  
Говорит, что все мещанство...

А ей навстречу Санин.  
Мне, говорит, странен

Такой взгляд на вещи!  
А сам глядит зловеще,  
И сразу — на жен и дев,  
От Ницше осатанев.

А рояль уже сам играет.  
А актер на измор читает.

Начинается ловля моментов.  
Приезд, гастроль декадентов.  
Стенька Разин в опале.  
Босяки совсем пропали.

Полная перемена вкусов.  
На эстраде Валерий Брюсов.

Цевницы. Блудницы. Царицы.  
Альбатросы из-за границы.  
Любовь должна быть жестокой.  
У девушек глаза с поволокой.  
Машу зовут Марго.  
А в оркестре уже — танго...

Бьют отбой символисты.  
Идут толпой футуристы.  
Паника. Давка. Страх.  
Облако, все в штанах!

Война. Гимны. Пушки.  
Полный апофеоз теплушки.  
Глыба ползет, сползает.  
А Ходотов все читает.

На балкон выходит Ленин.  
Под балконом стоит Есенин,  
Плачет слезою жалкой,  
Бьет Айседору палкой.

А актер, на контракт без срока,  
Читает «Двенадцать» Блока.

## БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Эстрада затянута плюшем и золотом.  
Красуется серп с историческим молотом.  
Тем самым, которым, согласно теории,  
Весьма колотили по русской истории.

Сидят академики с тухлой наружностью,  
Ядреные бабы с немалой окружностью,  
Курносые маршалы, чуть черноземные,  
Степные узбеки, коричнево-темные.

Фомы и Еремы, тверские и псковские,  
Столичные лодыри, явно московские,  
Продольные пильщики, крепкие, брынские,  
Льняные мазурики, пинские, минские,

Хохлы Николая Васильича Гоголя,  
И два Кагановича, брата и щеголя...

1938

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Был ход вещей уже разгадан.  
Народ молчал и предвкушал.  
Великий вождь дышал на ладан,  
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма,  
И понимал уже народ,  
Что ладан вместо фимиама  
Есть несомненно шаг вперед.

1939—1951

## ИСКАНИЯ

Какая-то личность в простом пиджаке  
Взошла на трибуну с тетрадкой в руке,  
Воды из графина в стакан налила  
И сразу высокую ноту взяла.

И так и поставила тему ребром:  
— Куда мы идем? И зачем мы идем?  
И сорок минут говорила подряд,  
Что все мы идем, очевидно, назад.

Но всем было лестно, что всем по пути,  
И было приятно, что если идти,  
То можно идти, не снимая пальто,  
Которые снять и не думал никто.

И вышли, вдыхая осеннюю слизь.  
И долго прощались, пока разошлись.  
И, в сердце святую лелея мечту,  
Шагали и мокли на славном посту.

1936

## ИДИЛЛИЯ

**Я** раскладывал пасьянсы,  
Ты пила вприкуску чай.  
Дядя Петя пел романсы —  
«Приходи и попеняй»...

Тетя Зина Жюль Ромэна  
Догрызала пятый том.  
Старый кот храпел блаженно  
И во сне вилял хвостом.

Колька перышком царапал,  
Крестословицы решал.  
А над крышей дождик капал,  
А в углу сверчок трещал.

И хотя порой сжималось  
Где-то сердце много крат,  
В общем, жизнь утрамбовалась,  
Утряслась, как говорят.

Что там дальше, неизвестно...  
Вероятнее всего,  
Мы пасьянс закончим честно,  
Неизвестно для чего.

И порой, и то с конфузом,  
Вспомнив дедов и папаш,  
Средним вырастет французом  
Этот самый Колька наш.

1936

## ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ

Читатель желает — ни много ни мало  
Такого призыва в манящую ширь,  
Чтоб все веселило и все утешало  
И мысли, и сердце, и желчный пузырь.

Допустим, какой-нибудь деятель умер.  
Ну, просто, ну взял и скончался, подлец.  
Ему, разумеется, что ему юмор,  
Когда он покойник, когда он мертвец?

А другу-читателю хочется жизни  
И веры в бодрящий, в живой идеал.  
И ты в него так это юмором брызни,  
Чтоб он хоронил, но чтоб он хохотал.

1930-е годы

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жили. Были. Ели. Пили.  
Воду в ступе толкли.  
Вкруг да около ходили,  
Мимо главного прошли.

1938

## НАТЮРМОРТ

Декабрьский воздух окна затуманил.  
Камин горел.  
А ты в стекло то пальцем барабанил,  
То вдаль смотрел.

Потом ты стал, как маятник, болтаться.  
Шагать. Ходить.

Потом ты просто начал придирааться,  
Чтоб желчь излить.

Ты говорил, что пропасть между нами —  
Вина моя.

Ты говорил роскошными словами,  
Как все мужья.

Ты вспоминал какие-то ошибки  
Прошедших дней.

Ты говорил, что требуешь улыбки,  
Не знаю, чьей.

Ты восклицал, куда-то напряженный  
Вперяя взгляд:  
— Как хороши, как свежи были жены...  
Лет сто назад!

Пришла зима. Ударили морозы.  
И ты сказал:  
«Как хороши, как свежи были розы»...  
И замолчал.

Но я тебе ни слова не сказала.  
Лишь, вопреки  
Самой себе, молчала... и вязала  
Тебе носки.

1936

## ЛИРИЧЕСКИЙ АНТРАКТ

Воскресают слова,  
Точно отзвук былого.  
Зеленеет трава,  
Как в романе Толстого.

Раздвигается круг,  
Где была безнадежность.  
Появляется вдруг  
Сумасшедшая нежность.

Этак взять и нажать  
На педаль или клавиш,  
И кого-то прижать,  
Если даже раздавишь!

Что с того, что стрелой  
Краткий век наш промчался...

Даже Фет пожилой,  
Как мальчишка, влюблялся.

Даже Виктор Гюго,  
С сединами рапсода,  
Не щадил никого,  
В смысле женского рода.

Этак вспомнишь и зря,  
Повздыхаешь, понятно.

Вообще ж говоря,  
Просто вспомнить приятно.

1939

## БИОГРАФИЯ

**Ж**ил такой, никому не известный  
И ничем не прославивший век,  
Но убийственно-скромный и честный  
И милейшей души человек.

Веря в разум и смысл мироздания,  
Он сиял этой верой с утра  
И кормился от древа познания  
Лишь одними плодами добра.

Состязаясь с змеей сладострастной,  
Он, конечно, немало страдал,  
Но зато, просветленный и ясный,  
Все во сне херувимов видал.

Ограничив единой любовью  
Неизбежные сумерки дней,



Он боролся с проклятою кровью,  
С человеческой плотью своей.

И напрасно в бреду неотвязном,  
В красоте естества своего,  
Соблазняли великим соблазном  
Многогрешные жены его.

Он устоев своих не нарушил,  
Он запретных плодов не вкушал.  
Все домашнее радио слушал,  
Простоквашею дух оглушал.

И, когда задыхаясь от жажды  
И вздохнувши испуганно вслух,  
Испустил он, бедняга, однажды  
Этот самый замотанный дух,

И, взбежав по надзвездным откосам,  
Очутился в лазоревой мгле  
И пристал к херувимам с вопросом —  
Как он прожил свой век на земле?..

В небесах фимиамы и дымы  
В благовонный сгустились мрак,  
И запели в ответ херувимы:  
— Как дурак! Как дурак!  
Как дурак!

1937

# Стихотворения, не вошедшие в сборники

## ДАМЫ НА ПАРНАСЕ

*Из альбома почтительных пародий*

### Любовь СТОЛИЦА

Носовым покрою платом  
Темно-русую косу.  
Пойло ласковым телятам  
Самолично отнесу.  
Золотую вылью юшку  
В заржавелое ведро.  
Встречу милого Ванюшку,  
Дам ногою под бедро.

Разлюбезный обернется  
И почешет, где болит;  
Улыбнется, изогнется,  
На солому повалит.  
И, расцветшая Раиня,  
Я услышу над собой:  
— Не зевай, моя разиня,  
В этот вечер голубой!..

### Анна АХМАТОВА

Ах! Я знаю любви настоящей разгадку;  
Знаю силу тоски.  
«Я на правую руку надела перчатку  
С левой руки!..»  
Я пленилась вчера королем сероглазым  
И вошла в кабинет.

Мне казалось, по острым, изысканным фразам,  
 Что любимый — эстет.  
 Но теперь, уступивши мужскому насилию,  
 Я скорблю глубоко!..  
 ...Я на бедные ножки надела мантилью,  
 А на плечи — трико...

### Мариэтта ШАГИНЯ

Объята сном Нахичевань.  
 На небе звезды, как фисташки.  
 В древесных листьях прячась ткань,  
 Заснули маленькие пташки.  
 Приди продлить любви обман  
 Лобзаньем долгим на ресницах.  
 Католикосы всех армян  
 Недвижно спят в своих гробницах.  
 Никто не сможет услышать  
 До восхода солнца на Востоке,  
 Когда ты будешь целовать  
 Мои пылающие щеки!..

### СОБРАТУ ПО ПЕРУ

Пером боролся ты недаром:  
 За гонорар метал ты гром,  
 Но пал, сраженный гонораром, —  
 Да будет прах тебе пером!..

<1914>

### ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН

А как пили! А как ели!  
 И какие были либералы!..  
 Чехов

У одной знакомой беженки,  
 У жеманницы, у неженки,  
 Растерявшей женихов,  
 Отыскал я томик свеженький  
 Иго-Игоря стихов.

Знай свисти себе, насвистывай  
И странички перелистывай,  
Упивайся и читай  
Про веселый, про батистовый,  
Гладко выглаженный рай.

В душу глянешь — вся изранена,  
Вся печалью затуманена,  
А уста должны молчать.  
Вот тогда-то Северянина  
И приятно почитать.

Слаще сладостной магнезии  
Откровения поэзии,  
Повествующей о том,  
Как в далекой Полинезии  
Под маисовым кустом

Не клянутся и не божатся,  
Горьким горем не тревожатся,  
Фиги-финики едят  
И лежат себе, и множатся,  
И на звездочки глядят.

Все мужчины — королевичи,  
Или принцы, иль царевичи,  
В крайнем случае князя.  
А про женский род, про девичий  
Лучше выдумать нельзя.

Очи синие, наивные.  
Плечи белые, узывные.  
Поглядишь — царица Маб.  
И красоты эти дивные  
Охраняет черный раб.

Ну не персик, ну не груша ли  
Петербургский этот плод?!  
Как мы жили! Как мы кушали!  
Что читали, что мы слушали  
У гранитов невских вод?!

Забирались в норки, в домики,  
Перелистывали томики,

Золотой цenia обрез.  
А какие были комики  
И любители поэз!..

И порой я с грустью думаю,  
За судьбой следя угрюмою,  
Что она — итог грехов,  
И что все явилось суммою,  
Главным образом, стихов!

Тут — мужик, а мы — о грации.  
Тут — навоз, а мы — в тимпан!..  
Так от мелодекламации  
Погибают даже нации,  
Как лопух и как бурьян.

1920

## ВЕСЕННЕЕ БЕЗУМИЕ

Хорошо, что весна  
Не бывает бедняцкой.  
Хорошо, что весна  
Не бывает батрацкой.  
Хорошо, что весна  
Никакой не бывает.  
Но зато хорошо,  
Что весна наступает.  
Прилетают грачи —  
И дуреют поэты.  
Золотятся лучи  
И другие предметы.  
Вот, на ваших глазах  
Все становятся пьяны!  
В Елисейских полях  
Зашумели фонтаны,  
Истомились зимой,  
Навсегда отошедшей,  
Бьют веселой струей,  
Бьют струей сумасшедшей  
Прямо в солнечный диск,

Несравненный в Париже!  
Ну, а если не в диск,  
То немножечко ниже...  
Опьянев, я иду,  
Неприкаянный бражник,  
Убежден, что найду  
Знаменитый бумажник,  
Что окажется в нем  
Миллион или вроде...  
Сосчитаю потом,  
Не спеша, на свободе!  
И танцует земля  
У меня под ногами,  
Елисей и поля  
Перепутались сами,  
Заблудился я в них  
И, внимание рассеяв,  
Не найду никаких  
Я таких Елисеев...  
Эй, шоферы, такси,  
Все на свете моторы!..  
Отвезите в Пасси  
Человека, который...  
Почерпал от земли  
Мощь старинной былины!  
И шоферы везли,  
Так, что лопались шины.  
Привезли. Выхожу.  
Так и тянет к природе.  
Но на счетчик гляжу:  
Миллион или вроде...  
Ах, зачем так остро  
Я мечте предавался,  
Ах, зачем не в метро  
Я домой возвращался,  
И себя опьянял  
Идеалом плебейским,  
И зачем я гулял  
По полям Елисейским?!

1926

## «МОРАЛИТЭ»

Третьего дня в парижском зоологическом саду удав-самка проглотила удава-самца.

*Из газетной хроники*

Какое падение нравов,  
Какое зияние дна!..  
Он был из породы удавов,  
И той же породы — она.  
Случалось, что женского жала  
Она не умела сдержать,  
Но в общем его обожала,  
Как может змея обожать.  
На них с любопытством глазели  
Прохожие толпы людей,  
Они только тихо шипели,  
Свернувшись в клетке своей.  
Быть может, они вспоминали  
Преданья седой старины,  
Какие-то райские дали  
Среди неземной тишины,  
И день, когда голая Ева  
К прабабушке их подошла,  
И та — заповедного древа  
Ей плод запрещенный дала.  
И Ева, вкушая отраву,  
Постигла и мелочь и суть... —  
Кому уж кому, а удаву  
Есть молодость чем помянуть!  
Вдали от политики пошлой,  
Вдали от мирской суеты,  
Жива только памятью прошлой  
Устало дразнящей мечты,  
Они проводили досуги.  
Во сне и в еде и питье,  
Как многие в жизни супруги,  
Как многие в жизни рантье.  
Тем боле загадочен случай,  
Трагический этот конец,

Который тревогою жгучей  
Наполнит немало сердец.  
Затем ли, что очень любила,  
Иль кто ее знает, зачем, —  
Супруга-удав проглотила  
Супруга-удава совсем!..  
И жертва боролась устало,  
Потом перестала, увы.  
Она же супруга глотала,  
Как спаржу глотаете вы.  
Потом от еды осовела  
И думала что-то свое.  
— Мне кажется, я овдовела, —  
Глаза говорили ее.  
...Семейные драмы не редки,  
В Париже их даже не счесть,  
Но просто пойти на обедки  
И дать себя заживо съесть,  
Погибнуть без всякой причины,  
Исчезнуть в какой-нибудь час, —  
Меня беззащитность мужчины  
Приводит в уныние, да-с!!!  
Начальник пробирной палатки  
Недаром советовал: бди!..  
Разгадка сей краткой загадки:  
Не грейте змею на груди!..  
Об истине сей забывают,  
Хотя это грех забывать.  
Уж если удавы страдают,  
То что ж не удавам сказать?!

1926

## КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Яша спрашивал поэта:  
Где вы думаете это  
Наступающее лето  
В смысле лета провести?



Яша, Яша! В ваши лета  
Меж пятью частями света  
Можно часть себе найти!  
Что вам нужно, мой мечтатель?  
Пару брюк, брюкодержатель  
И плохие папиросы,  
Папиросы «Марилан».  
Вот ответы на вопросы,  
Даже повесть и роман!  
Рано утром вы встаете,  
И идете... И идете  
Три-четыре километра  
В направлении на юг.  
Там есть лес, и есть опушка.  
За опушкой деревушка.  
Шум травы и шумы ветра.  
И большой, зеленый луг.  
На лугу коровки ходят.  
Среди них телята бродят.  
Это, Яша, есть натура.  
Это, Яша, есть пейзаж.  
Это то, что человека  
С незапамятного века,  
Будь он даже злой и хмурый,  
Все равно приводит в раж.  
Этой жизнью первобытной  
Взор насытив ненасытный,  
Лягте прямо на лужайку  
И засните! Добрых снов!  
Если только Бог захочет,  
Летний дождик вас намочит,  
А разбудит вас хозяйка  
Вышесказанных коров.  
Не ищите больших лавров.  
Чтут крестьянки бакалавров,  
А особенно бездомных  
И мечтателей, как вы.  
Значит, вам уже удача:  
Есть и дачница, и дача,  
Без свидетелей нескромных,

Без любителей молвы.  
Все зависит от безделиц.  
Глядь, и стал землевладелец.  
И не Яков, и не Яша,  
А скажите, просто Жак.  
Если б Яша был поэтом,  
Если б ездил к морю летом,  
Он, конечно, воля ваша,  
Не устроился бы так.  
Саши, Яши, Коли, Пети,  
Одним словом, наши дети!  
Не мечтайте о Трувиле,  
Не витайте в царстве грез.  
Но ищите жизни новой  
И не брезгайте коровой,  
Ибо что б ни говорили,  
А корова — кельке шоз.

1926

## ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ

Ничего не ответило солнце,  
Но душа услышала: гори!

**Я** спросил у любимца Фортуны,  
Как подняться в такую же высь?  
Ничего не ответил любимец,  
Но душа услышала: «Нагнись!»  
Я спросил одного рецензента,  
Как прославиться в тусклые дни?  
Ничего рецензент не ответил,  
Но душа услышала: «Брани!»  
Я политика спрашивал робко,  
Как минуют в политике грязь?  
Ничего не ответил политик,  
Но душа услышала: «Не лажь!»  
Я спросил у профессора Зета,  
Как вернуть нам потерянный рай?

Ничего не ответил профессор,  
Но душа услыхала: «Вещай!»  
Я издателя спрашивал тихо,  
Что приводит издателя в раж?  
Ничего не ответил издатель,  
Но душа услыхала: «Тираж!»  
Я философа спрашивал скромно:  
Как от пошлости скрыться и где?  
Ничего не ответил философ,  
Но душа услыхала: «Нигде!»  
И спросил я великого снова:  
А спасет нас от глупости кто?  
Ничего не ответил великий,  
Но душа услыхала: «Никто!»  
Я спросил одного дипломата,  
Что являет спасения ось?  
Ничего дипломат не ответил,  
Но душа услыхала: «Авось!»  
Я спросил зарубежного дядю,  
Чем он действовать будет потом?  
Ничего не ответил мне дядя,  
Но душа услыхала: «Кнутом!»  
И тогда я спросил патриота,  
Что есть истинной власти залог?  
Патриот ничего не ответил,  
Но душа услыхала: «Сапог!»  
И спросил я их, каждого снова,  
Научились чему-нибудь вы?  
И опять ни один не ответил,  
Но душа услыхала: «Увы!»  
И спросил я простого детину,  
Как он смотрит на всех забияк?  
Мне, признаться, и он не ответил,  
Но душа услыхала: «Никак!»  
Никого я не спрашивал больше,  
Любопытство насытить спеша,  
Ибо если ее переполнить,  
Не удержится в теле душа...

## «СИЛЬНЫМ И ДОСТОЙНЫМ»

Сокрушим железной волей сопротивление наемников жидовской власти!

«Русская Правда»

Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Ничто не изменилось под Луной.  
Все та же челюсть злобного оскала,  
Обрызганного бешеной слюной.  
Напрасно прикрываете плащами  
Косую сажень будущих Малют!  
Все теми же прокиснувшими щами  
Прокатные доспехи отдают.  
И видно по движениям бесстыжим:  
Ничто не изменилось и никак.  
Шатались по Европам, по Парижам,  
А все-таки сморкаетесь в кулак.  
Должно быть, это древнее начало!..  
Как бармы, соболя и епанча.  
Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Рычит нутро, как искони рычало,  
От дней Батыевых до полдня Ильича.  
Чтецы и декламаторы под водку,  
Отечественных дел секретари,  
Ужели, отпустив себе бородку,  
Вы верите, что вы богатыри?..  
Ах если б вместо пошлых декламаций  
Учились вы по здешним городам  
Системе городских канализаций,  
Которая потребуется там?!  
Какую драгоценную услугу  
Могли бы вы России оказать!..  
Но тянет вас на шлем да на кольчугу,  
Чтоб витязей собой изображать...  
Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Все те же песни, те же тенора.  
Старается охрипший запевала,  
Которому на пенсию пора.

Какая потрясающая скука  
Наступит в заключение всего!  
На сцене будет прежняя Вампука,  
В отчаявшемся сердце — ничего!  
Толпились по далеким заграницам,  
Перевидали сказочную тьму,  
Шагали по блистательным столицам  
И все не научились ничему.  
Какие-то уездные кликуши  
Стараются, кричат до хрипоты.  
И мертвые отвечают им души,  
Дошедшие до сказанной черты.  
Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Расшиблен лоб. Но с шишкою на лбу  
Не повторить ли с самого начала  
Всех этих лет веселую судьбу?!  
И как же с меланхолией во взоре  
Хотя бы факт известный не проклясть,  
Что Волга все впадает в то же море,  
А море в Волгу не желает впасть!

1926

## ВАНЯ, ДИТЯ ЭМИГРАНТСКОЕ

Спи, мой отпрыск! Спи, урод!  
Скоро будет Новый год,  
Он кончается на семь,  
Значит, счастье будет всем.  
Почему да почему?  
Так уж велено ему!  
А чрез двести-триста лет,  
Как сказал один поэт,  
Еще легче будет жить,  
Значит, нечего тужить!  
Если ж клоп не будет спать,  
Если будет приставать,  
Почему да отчего,

Так не будет ничего.  
Спи покуда — подрастешь,  
Все решительно поймешь.  
А не то придет ажан:  
«Где шоферский мальчик Жан,  
А подать его сюда!»  
Что поделаешь тогда?!  
А потом придет отец,  
Скажет: «Где мой молодец?  
Почему пуста кровать?»  
Что я стану отвечать?!  
...Ваня слушал и сопел,  
А потом не утерпел,  
Стал во весь свой Ванин рост  
И бесхитростен, и прост,  
Вкусен, сдобен, как бриош,  
Отчеканил маме: врешь!..  
«У ажанов есть семья,  
Для чего ж ажану я,  
Разве он такой злодей,  
Чтоб хватать чужих детей?..  
Если ж он кладет их спать,  
Как он может охранять  
Все квартиры и дома,  
Как учила ты сама?  
Если ж ты такая мать,  
Чтоб ребенков отдавать,  
Так зачем же их родить,  
Огород лишь городить?!»  
И, сказав свой первый спич,  
Вкусный, сдобный, как кулич,  
На подушки соскользнул,  
Повертелся и уснул...  
Что испытывала мать,  
Сами можете понять,  
А не можете, увы!  
Холостые, значит, вы...

1926

## НАТЮРМОРТ

«Духовной жаждою томим»,  
Пошел я в гости. Анна Львовна  
Не то, что полный серафим,  
Но тихий ангел, безусловно!  
Законный Анны Львовны муж  
Иван Андреевич Федотов,  
Широкоплеч, осанист, дюж,  
Притом любитель анекдотов.  
Живут, как все. Шоффаж централь  
Буфет, как водится, в рассрочку.  
И напрокат берут рояль,  
Чтоб приобщить к искусству дочку.  
А дочке ровно десять лет.  
Коленки голы. Плечи узки.  
По-русски знает — да и нет,  
А остальное — по-французски.  
Вошел. Обрадовались. — Ах!  
Сплошное — ах, и скалят зубы.  
А Анна Львовна впопыхах  
Сейчас же стала красить губы.  
Вопрос — ответ. Ответ — вопрос.  
И те, и эти сплошь избиты.  
Но вот, уже напудрен нос,  
И на столе лежат бисквиты.  
Она вздыхает бывший бюст, —  
И он мгновенно исчезает.  
Из кухни слышен дальний хруст,  
Хозяин ужин доедает.  
Доел и вышел. Полон взор  
Воспоминанья о котлетке.  
И вот, поплелся разговор,  
Как иерей на бисиклетке.  
— Петров с Петровой разошлись,  
А Пупсик с Тупсиком сошлись,  
Но разойдутся скоро снова...  
— Не может быть? — Даю вам слово,  
Мой муж видал ее вчера  
С каким-то бритым и брюнетом!..

— Но ведь она уже стара...  
 — Стара, но опытна при этом.  
 И, словно в сладком забытии,  
 Хозяйка пальцем погрозила  
 «И жало мудрая змеи»  
 В подругу лучшую вонзила.  
 Затем меня в работу взял  
 Иван Андреич, не жалея,  
 И анекдоты рассказал  
 Про армянина и еврея.  
 «И горних ангелов полет»  
 Я ощутил душой и телом..  
 Но вот уже и полночь бьет,  
 Как быстро время пролетело!..  
 — Куда вы? Что вы?.. Раньше трех  
 Мы не ложимся... до свиданья!..  
 ... За дверью слышен сложный вздох,  
 Вздох облегченья и зеванья.  
 И вышел с чувством я двойным,  
 Живот подтягивая туже.  
 «Духовной жаждою томим»  
 И мучим голодом к тому же...

1926

## ЭМИГРАНТСКИЕ ЧАСТУШКИ

### 1

Пароход плывет по Сене,  
 Хлещет пена за кормой.  
 ...Нас миленьки в воскресенье  
 Угощали синею.

### 2

Сини в поле василечки,  
 Прямо жаль по им ходить.  
 ...Кабы не было б рассрочки,  
 Так не стоило бы жить!



3

Я с рождения румяна,  
Ни к чему мне ихний руж.  
...У консьержки два ажана,  
У меня же один муж.

4

Мы живем, не жнем — не сеем.  
Песней душу веселя.  
...Только ходим к Елисеям,  
В Елисейские поля.

5

Мой миленок ездит ночью,  
Говорит — шофер ночной.  
...Это грустно, между прочим,  
Быть шоферскою женой!..

6

Если барин при цепочке,  
Значит, барин етот — франт.  
Если ж барин без цепочки,  
Значит, барин — эмигрант.

7

Завела в метре я шашни,  
С Лувра едучи сюда,  
...А у Эйфелевой башни  
Разошлась с ним навсегда.

8

Вся природа замерзает,  
Только мне ее не жаль.  
... Ваня-сокол согревает  
За шоффаж, и за сентраль.

9

Хорошо небесным птицам  
На воздушях, в вышине.  
...Я ж по этим заграницам  
Нагулялася вполне.

10

Этот факт, когда напьется  
Наш французик из Бордо,  
Так сейчас обратно льется  
Из французика бордо.

11

Через блюдце слезы льются  
Не могу я чаю пить.  
...Нынче барыни стригутся,  
А потом их будут брить.

12

На горе стоит аптека,  
И пускай себе стоит.  
...Ах, зачем у человека  
Ежедневный аппетит?..

1927

## ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И КОШАЧЬЕ

Ветер. Слякоть. Норд и Ост.  
Барабанит дождь в окошко.  
Лижет собственный свой хвост  
Несознательная кошка.  
Облизала и глядит  
На работу с умилением.  
Хорошо ей жить в кредит  
Под центральным отопленьем.

Без убийственных забот,  
Живы ль резвые котята,  
Жив ли тот сибирский кот,  
Что прельстил ее когда-то.  
Вероятно, вся семья  
Обрела свою обитель,  
Не единственный же я  
На земле благотворитель...  
— Правда, кошка, если б ты  
Даром речи обладала,  
То наверное вот так,  
Так бы точно рассуждала?..  
Впрочем, кошке... все равно,  
Пребывай в покое праздном,  
Ведь недаром нам дано  
Думать разное и о разном.  
Я, к примеру говоря,  
Склонен думать о высоком.  
Вот на лист календаря  
Я гляжу печальным оком...  
А печалюсь я не зря.  
В половине января,  
Словно послан тайным роком,  
Кто-то дернет за звонок  
И войдет чрез все преграды.  
А входящий — это Рок,  
Рок, не знающий пощады,  
Рок войдет и заберет...  
За три месяца вперед,  
Потому что он есть тот,  
Кто не ведает пощады.  
Дуй же, Норд! Свиристуй, Ост!  
Угрожай земному миру!..  
— Ты вот только лижешь хвост  
И не платишь за квартиру,  
И, как некий троглодит,  
Чуждый всяким треволнениям,  
Ты живешь себе в кредит  
Под центральным отопленьем?!  
...И от тягостных проблем  
Раздражаясь понемножку,

Я пустил не помню чем,  
Но тяжелым чем-то в кошку...  
Взгляд, желтее янтаря,  
Был исполненным упрека:  
— Ну, чего дерешься зря,  
А, потом, еще до срока?!.

1927

## ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ КОЛЯ

Заказали Коле в школе  
Сочиненье. О весне.  
Трудно в школе. Трудно Коле.  
А еще труднее мне.  
Коля что!.. Возьмет тетрадку  
И, пока его бранят,  
Нарисует по порядку  
Двадцать восемь чертенят,  
Самых гнусных и хвостатых,  
Отвратительных, рогатых,  
С выражением таким,  
Что посмотришь — станет больно,  
И вздохнешь непроизвольно  
Не над ними, а над ним.  
Нет у мальчика святыни,  
Тут весна, а он — чертей!..  
Вот извольте на чужбине  
Образовывать детей!  
Ах ты, Коля, погубитель,  
Нигилист своей души.  
Да простит мне твой учитель,  
Слушай, Коля, и пиши:  
«Проблеск неба голубого.  
Сердце верит. Сердце ждет.  
Дымка. Оттепель. Корова  
Через улицу бредет.  
У забора зеленеет  
Бледной зеленой трава.  
Где-то тлеет, где-то прееет

Прошлогодня листва.  
Запах дегтя, свежих булок...  
Среди площади навоз.  
С полной бочкой переулок  
Проезжает водовоз.  
Над землею дух угарный,  
Вьются весело грачи.  
Ослепительный пожарный  
Гордо смотрит с каланчи.  
Тучный доктор едет в бричке  
И мотает головой.  
Козыряет по привычке  
На углу городской.  
Сердцем ветрены, но чисты,  
Дух законности поправ,  
На бульваре гимназисты  
Курят в собственный рукав.  
На столбе висит афиша,  
Что проездом через Н.  
Даст концерт какой-то Миша,  
Малолетний, но Шопен.  
А из неба так и льется  
Золотой весенний свет.  
Грач вокруг грачихи вьется.  
Дымно. Нежность. Сердце бьется,  
Придержи, а то порвется...  
Понял, Коля, или нет?»

1927

## ВЕСЕННИЙ БАЛ

### 1

Если вам семнадцать лет,  
Если вас зовут Наташа,  
То сомнений больше нет, —  
Каждый бал стихия ваша!  
Легкий, бальный туалет  
Освежит портниха Маша,

Ослепительный букет  
Вам предложит ваш предмет,  
Задыхающийся Яша,  
Или, если Яши нет,  
То Володя или Саша...  
Пенье скрипок! Розы! Свет!  
Первый бал в семнадцать лет —  
Это лучший бал, Наташа!

2

Если вам до тридцати  
Не хватает только года,  
Вы обязаны пойти!  
В тридцать лет сама природа  
Говорит душе: цвети!..  
Тридцать лет есть полпути,  
Силы требуют исхода,  
Сердцу хочется цвести,  
Сердцу меньше тридцати —  
И ему нужна свобода.  
Призрак осени у входа.  
Все пойми — и все прости!  
Крылья выросли — лети!  
...Вы должны, должны пойти,  
Если вам до тридцати  
Не хватает только года!..

3

Если ж вам до сорока  
Только месяц остается,  
Все равно!.. Бурлит, несется  
Многоводная река.  
Дымны, странны облака,  
Горе тем, кто обернется!  
Надо жить и плыть, пока...  
Надо жить, пока живется.  
Сердцу мало остается.  
В сердце — нежность и тоска,

Но оно сильнее бьется.  
 Юность смотрит свысока,  
 Зрелость — взглядом игрока:  
 Проиграешь, не вернется!  
 Значит, что же остается  
 У преддверья сорока?  
 Жить и жить. Пока живется...

## 4

Если ж вам за пятьдесят,  
 Знайте, жизни добрый Гений  
 Может долго длить закат,  
 Бодрых духом поколений!  
 Тяжек, сочен плод осенний.  
 Вечер есть пора свершений.  
 В седине есть аромат  
 Поздних, сладостных цветений.  
 В наложении декад —  
 Простота проникновений.  
 Пусть горит, горит закат  
 Все безумней, все блаженней...  
 Всех, кому за пятьдесят,  
 Я зову на Бал Весенний!..

1927

## В АЛЬБОМ

*М*илый Коля Сыроежкин,  
 Эмигрантское дитя!  
 Я гляжу на мир серьезно,  
 Ты глядишь на мир шутя.  
 Что же должен я такое  
 Написать тебе в альбом,  
 Чтобы ты, приятель милый,  
 Не бранил меня потом?  
 Было б самым честным делом,  
 И совсем тебе под стать,  
 На листе блестяще белом  
 Двух чертей нарисовать...

Закрутить им хвост покруче —  
Если бес, мол, так уж бес!  
А внизу простую надпись:  
«Дорогому Коле С.».

Но тогда бы все сказали —  
Это ужас и позор  
Тешить мистикой подобной  
Любопытный Колин взор!..  
И поэтому, оставив

Соблазнительных чертей,  
Мы займемся тем, что может  
Быть полезным для детей.  
Смысл моих нравоучений  
Поразителен и прост:

1. Если ты увидишь кошку,  
Не хватай ее за хвост
2. Если пинешь, то старайся  
Весь в чернильницу не лезть.
3. Не грызи зубами ручку,  
Если даже хочешь есть.
4. Если ты уроки учишь,  
То учи их, а не спи.
5. Не разглядывай обои.
6. Не пыхти. И не сопи.
7. Не болтай ногою правой.
8. Левою тоже не болтай.
9. Не пиши на каждой стенке —  
Сыроежкин Николай.
10. Не клади резинки, перья  
И веревочки в карман.
11. Под грамматику тихонько  
Не подкладывай роман.
12. Не играй с чужой собакой.
13. Не срывай куски афиш.
14. Не тверди на каждом слове,  
То и дело, же-ман-фиш!<sup>1</sup>
15. Не просись в синематограф  
Непременно каждый день.

<sup>1</sup> Ненависть (фр.).



16. Не носи свою фуражку  
Непременно набекрень.  
17. А уж паче, наипаче,  
Вняв совету моему,  
Не допытывайся, Коля, —  
Отчего да почему!..

А теперь скажу я честно  
И скажу тебе я так:  
Если Коля Сыроежкин  
Не лягушка, не слизняк,  
Если в Коле сердце Коли  
Сыроежкина живет,  
То на все семнадцать правил  
Он возьмет — и наплюет!..

1927

## ЛЮБОВЬ РАЗЛОЖИВШЕГОСЯ КОММУНИСТА

За стихи о «дамском упоенье» раз-  
ложившийся коммунист одесской кон-  
трольной комиссией из партии исклю-  
чен...

«В каком-то дамском упоенье»  
Гляжу на щечки эти две,  
И — словно солнца ударенье  
В моей несчастной голове.  
Кругом одесская натура  
Лежит бесчувственным пластом,  
А вы, как чудная гравюра,  
Смеетесь дивным вашим ртом.  
И это тем понятно боле,  
Что вы смеетесь, хохоча,  
А ваши зубки, как фасоли  
На фоне знойного луча.  
Когда же, чувствуя симпатию,  
Я в глазки ваши заглянул,  
Я закричал благою матю:  
Тону! Спасите! Караул!  
В них глубина была такая

И выходил оттуда свет,  
Что я сказал вам: Рая, Рая!  
Вы камень, Рая, или нет?  
Когда вы камень, так скажите,  
И разойдемся навсегда.  
Но только шутки не шутите —  
И нет так нет, а да так да!..  
Но вы, как будто статуэтка.  
Один лишь хохот и обман.  
Зачем же, дивная кокетка,  
Крутить наш бешеный роман?!  
Конечно, риск святое дело,  
Но я ж не должен рисковать,  
Когда душа моя и тело  
Не могут вам принадлежать,  
Имея звание партийца,  
И если вдруг такой уклон,  
Мне скажут: вы — самоубийца,  
И убирайтесь вовсе вон...  
Но, несмотря на эти мысли,  
Вы идеал такой большой,  
Что я люблю вас в полном смысле  
И организмом, и душой!  
И я в припадке благородства —  
Не только серп и молоток,  
Но все орудья производства  
Отдам за чувство, за намек.  
Но если ж суд меня осудит,  
А ваша ручка оттолкнет,  
Так что же будет?! Ясно будет,  
Что я последний идиот...

1927

## ДОМАШНЕЕ

Этот Коля Сыроежкин,  
Это дьявол, а не мальчик!  
Все, что видит, все, что слышит,  
Он на ус себе мотает.

А потом начнет однажды  
Все разматывать обратно,  
Да расспрашивать, да мучить  
Многословно, многократно.  
Вот, пристал намерен к маме, —  
Так что маме стало жарко:  
Объясни ему, хоть тресни,  
Чем прославился Петрарка?!  
— Ах ты, Господи помилуй! —  
Умилясь, вздохнула мама.  
Оторвалась от кастрюли  
И сказала Коле прямо:  
«Да!.. Петрарка!.. Это, Коля,  
Был такой мужчина в мире.  
Он был ласков, он был нежен  
И всегда играл на лире.  
А любил он так, как любят  
Только редкие натуры.  
И писал стихи при этом  
В честь возлюбленной Лауры».  
Коля хмыкнул. И промолвил  
Так, что маме стало жарко:  
«Если это только правда,  
Значит, папа не Петрарка!..»  
А когда пришел с работы  
Сам папаша Сыроежкин,  
Коля взял его на мушку  
Без антрактов, без задержки:  
— Папа, кто была такая  
Эта самая Лаура?!  
...Папа выдержал атаку  
И сказал довольно хмуро:  
«Да!.. Лаура... это, Коля,  
Нечто вроде херувима.  
Это то, что только снится,  
А потом проходит мимо...  
Ясность духа. Тихость взора.  
Легкость медленной походки.  
А в руках благоуханных —  
Кипарисовые четки...»  
И заметил Коля тоном

Настоящего авгура:  
«Если только это правда,  
Значит, мама не Лаура!..»  
Посмотрел на маму папа.  
Мама папу осмотрела.  
А потом, конечно, Коле  
От обоих нагорело.  
Пусть!.. Зато по крайней мере  
Будут красочны и яркие  
Впечатленья в сердце Коли  
О Лауре и Петрарке.

1927

## КАК СОЧИНЯТЬ СЦЕНАРИЙ

### НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ

Герой должен быть блондин.  
И гусар смерти.  
Сидит он как-то, один,  
В концерте,  
А рядом, изображая судьбу,  
Сидит дама.  
Гусар хлопает себя по лбу,  
И начинается драма.  
Дама вертит хвостом  
И ведет себя тонко.  
Но дело-то все в том,  
Что она шпионка.  
И вот блондина гнетет  
Всякая чертовщина.  
С одной стороны, он патриот,  
А с другой стороны, — мужчина.  
Конец адски зловещ:  
Стрельба. Конвульсии. Хрипы.  
А называется эта вещь —  
«Когда цветут липы»...

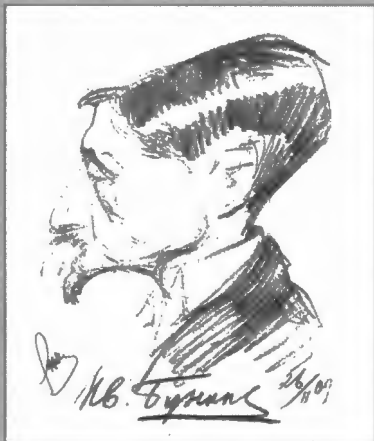


Весной 1910 г. , сдав выпускные экзамены в Университете Св. Владимира в Киеве, молодой юрист А. П. Шполянский (Дон-Аминадо) направился в Москву: помощник присяжного поверенного — первая штатная должность будущего сатирика. Тогда же сделан и этот снимок.

## Одесские знаменитости — друзья Дон-Аминадо



С Куприным Дон-Аминадо сошелся близко в период своей жизни в Одессе. Эта фотография подарена А. И. Куприным Дон-Аминадо много позже, уже в Париже.



О Бунине в Одессе Дон-Аминадо писал: «Сухой, стройный, порывистый, как-то по-особенному породистый и изящный, еще в усах и мелкой и действительно шелковистой бороде, быстро и всегда впереди всех шел молодой И. А. Бунин... обладавший совершенно недюжинным, совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мистической, начинал уже подбираться к намеченной жертве...» Карикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна...



С. И. Уточкин — знаменитый летчик и чемпион многих велогонок. «Пожалуй, лишь самые знаменитые артисты были столь же известны, как этот веселый огненно-рыжий человек, отважный и по-рыцарски благородный — любимец всей Одессы».

## Дон-Аминадо в Москве (1910-е годы)



Большое впечатление на молодого Дон-Аминадо произвели вечера в литературно-художественном кружке, возглавляемом Валерием Брюсовым. Еще бы! Здесь рядом сидели Михаил Арцыбашев, Николай Телешев, Иван Бунин, Алексей Толстой, автор знаменитой пьесы «Дети Ванюшина» Сергей Найденов, и дядя Гиляй, и юная, краснощекая Марина Цветаева, которую величали «Царь-девица»...

В. Я. Брюсов

И к тому же: «Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы — все это московское просвещенное купечество, на все откликающееся, щедро дающее когда угодно и на что угодно — на художественный театр, на Румянцевский музей... на «Искру» Плеханова, на памятник Гоголю».



М. И. Цветаева



М. П. Арцыбашев



В. А. Гиляровский

2-й годъ  
надація.

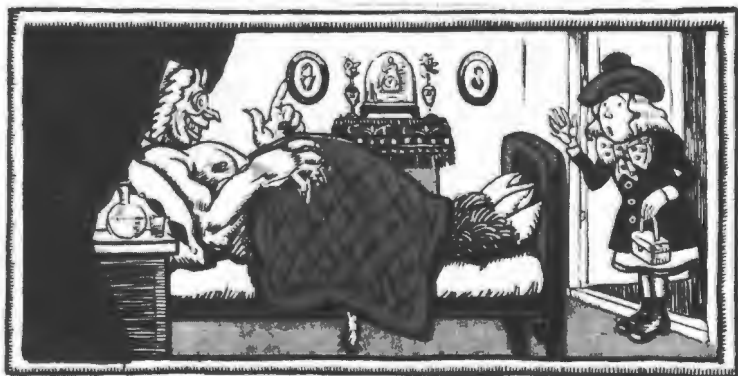
ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
на еженедельный журналъ САТИРЫ и ЮМОРА

2-й годъ  
надація.

# „НОВЫЙ САТИРИКОНЪ“

Всѣ годовые подписчики получаютъ:

**52** НОМБРА роскошно иллюстрированного журнала. Журналъ печатается на плотной глазированной бумагѣ въ 8—9 красокъ.



## ВАРИАНТЪ СТАРОЙ СКАЗКИ.

... Пришла Красная Шапочка къ „Новому Сатирикону“ и говоритъ:

- Отчего это у тебя такіе глазки большіе?
  - Чтобы лучше видеть.
  - Отчего это у тебя такія уши на макушкѣ?
  - Чтобы лучше слышать.
  - Отчего у тебя такіе зубки большіе?
  - Чтобы всякихъ мошенниковъ кусать.
  - Отчего у тебя такая ножки большія?
  - Чтобы отъ штрафовъ быстрѣ бѣгать.
  - Отчего у тебя такая шерсть густая?
  - Чтобы отъ цензуры не такъ холодно было.
  - А отчего это у тебя такія ручки большія?
  - А это, чтобы отъ тебя подписку принять!!
- Вспомни... Галъ! — и принять подписку у Красной Шапочки.

Мораль этой сказки для городскихъ подписчиковъ та, что они могутъ лаяться и не лично, а вмѣсто себя Красную Шапку присылать...



### 3. Всѣ годовые подписчики получаютъ 3 бесплатныхъ премій:

1 томъ „Путешествіе сатириконцевъ по Россіи“. Большой томъ. Масса иллюстрацій и карикатуръ.

КАРТИНУ „Литературный чемпионатъ“. Большая многокрасочная картина-шаржъ, работы Ре-Ми.

1 томъ „Календарь-Альманахъ“ на 1914 г. При участіи лучшихъ русскихъ юмористовъ и художниковъ.

„Календарь-Альманахъ“ будетъ разосланъ всѣмъ подписчикамъ въ началѣ года.

«Каждый номер «Сатирикона» блистал настоящим блеском, была в нем и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе».

Дон-Аминадо



## Сатириконцы и Дон-Аминадо в «Новом Сатириконе»



Тэффи



Аркадий Аверченко



Дон-Аминадо



Саша Черный



Алексей Ремизов



Владимир Маяковский



Греко-римская борьба: Алексей Толстой и Дон-Аминадо.

Уже в Париже Дон-Аминадо подружился с Алексеем Толстым, с которым они затеяли журнал для детей «Зеленая палочка» (1920—1921). Дружба продолжалась и в Берлине, куда Толстой вскоре перекочевал со своим семейством.



«Дым без отечества» — первая книга Дон-Аминадо, изданная в Париже, стала одной из самых популярных в среде русской эмиграции.



Андрей Седых и его жена Женя Липовская. Нью-Йорк, 1968 г.

Андрей Седых вспоминал, как Дон-Аминадо в начале двадцатых годов представил их друг другу: «Это Женечка Липовская... Только я вас предупреждаю, дорогой, из вашей попытки начать с ней роман ничего не выйдет». (См. воспоминания А. Седых в последнем разделе книги)



**ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛЬМ**

Герой должен быть брюнет  
И одет по моде.  
Героине семнадцать лет  
Или в этом роде.  
Он несомненный маркиз,  
Она вполне белошвейка.  
Обстоятельств этих из —  
Ясно, что жизнь... злодейка!  
Отец хмурит нависшую бровь  
И пробует крайнее средство:  
— Либо ликвидируйте любовь,  
Либо лишу наследства...  
— Нет! — говорит благородный Жюль, —  
Никаких ятей!  
И откидывает белый тюль  
Над колыбелью с дитятей.  
— Ах! — говорит счастливый дед. —  
Благославляю без оговорок!  
И дает званный обед  
На человек сорок...

**РУССКИЙ ФИЛЬМ**

Герой ни блондин, ни брюнет,  
И не о нем речь-то.  
Героя вообще нет,  
А есть нечто.  
Нечто — это борьба миров  
Высшего порядка,  
Настоящая песня без слов,  
И вообще загадка.  
Начинается же все с того  
Вечно-рокового,  
Что она любит одного  
И в то же время другого.  
А этот самый один  
Изводится от сомнений,  
Брюнет он или блондин,  
Беспутство или гений?

Затем рушатся все миры  
Под рев стихий и ветров.  
...А в картине-то полторы  
Тысячи метров!

1927

## ЯЗЫК БОГОВ

Была весна. Эпоха браков,  
Пел соловей. И цвел жасмин.  
Письмо любви, без твердых знаков,  
Писал советский гражданин.  
Следя событий непреложность,  
Он даже в страсти соблюдал  
И выражений осторожность,  
И свой партийный идеал.  
Отравлен гибельной отравой,  
Программных слов изведав власть,  
Он заключил в их круг лукавый  
Свою безвыходную страсть.  
Он говорил: «Товарищ Нелли,  
Моя желанная, когда ж,  
Объединившись к общей цели,  
Вы прекратите саботаж?!  
Задев неслыханные струны,  
Что пели в тайной глубине,  
Не вы ль, по ордеру Фортуны,  
Всю душу вывернули мне?!  
Я был свободным элементом,  
Но вы пришли. Свобода — дым!..  
Я стал гнилым интеллигентом,  
Который просится в Нарым.  
Как соблазнительная сказка  
Мелькнули!.. Ну? И я влюблен.  
И получилась неувязка  
И нежелательный уклон.  
Я честь, характер, волю разом  
В могиле братской схоронил,  
Эвакуировал свой разум

И душу вами уплотнил.  
 Ужель любовных резолюций  
 Я добиваюсь вотще?!  
 О, нет! Я жажду контрибуций  
 И всех аннексий вообще...  
 Я не боюсь огласки страстной,  
 Столь презиравемой людьми.  
 Долой рассудок буржуазный,  
 Вся власть инстинктам, черт возьми!  
 Когда душа в такой истоме,  
 Так разве мыслимо сейчас,  
 Чтоб я режимом экономий  
 Стеснял себя и даже вас?!  
 Но если вы не хотите очень  
 Иметь законный силуэт,  
 Так я согласен, между прочим,  
 Пойти в домовый комитет.  
 И пусть товарищ председатель  
 Возьмет обоих на учет.  
 И это будет даже, кстати,  
 Для вашей маменьки почет.  
 А я исполню с благородством  
 Мне предуказанную роль.  
 И пусть над нашим производством  
 Осуществляется контроль!...»

1927

## ХРЕСТОМАТИЯ ЛЮБВИ

### ЛЮБОВЬ НЕМЕЦКАЯ

Омик. Садик. По карнизу  
 Золотой струился свет.  
 Я спросил свою Луизу:  
 — Да, Луиза? Или нет?  
 И бледнея от сюрприза,  
 И краснея от стыда,  
 Тихим голосом Луиза  
 Мне ответствовала: да!..

### ЛЮБОВЬ АМЕРИКАНСКАЯ

«— Дзыны!.. — Алло! — У телефона  
Фирма Джемса Честертон.  
Кто со мною говорит?  
— Дочь владельца фирмы Смит.  
— Вы согласны? — Я согласна.  
— Фирма тоже? — Да. — Прекрасно.  
— Значит, рок? — Должно быть, рок.  
— Час венчанья? — Файф-о-клок.  
— Кто свидетели венчанья?  
— Блек и Вилькинс. — До свиданья».  
И кивнули в телефон  
Оба, Смит и Честертон.

### ЛЮБОВЬ ИСПАНСКАЯ

Сладок дух магнолий томных,  
Тонет в звездах небосклон,  
Я найму убийц наемных,  
Потому что... я влюблен!  
И когда на циферблате  
Полночь медленно пробьет,  
Я вонжу до рукояти  
Свой кинжал ему в живот.  
И, по воле Провиденья  
Быстро сделавшись вдовой,  
Ты услышишь звуки пенья,  
Звон гитар во тьме ночной.  
Это будет знак условный,  
Ты придешь на рокот струн.  
И заржет мой чистокровный,  
Мой породистый скакун.  
И под звуки серенады,  
При таинственной луне,  
Мы умчимся из Гренады  
На арабском скакуне!..  
Но чтоб все проделать это,  
Не хватает пустяка...  
— Выйди замуж, о, Нинета,  
Поскорей за старика!..



## РУССКАЯ ЛЮБОВЬ

Позвольте мне погладить вашу руку.  
Я испытываю, Маша, муку.  
Удивительная все-таки жизнь наша.  
Какие у вас теплые руки, Маша.  
Вот надвигается, кажется, тучка.  
Замечательная у вас, Маша, ручка.  
А у меня, знаете, не рука, а ручище.  
Через двести лет жизнь будет чище.  
Интересно, как тогда будет житься.  
Вы хотели бы, Маша, не родиться?  
Не могу больше, Маша, страдать я.  
Дайте мне вашу руку для рукопожатья.  
Хорошо бы жить лет через двести.  
Давайте, Маша, утопимся вместе!..

1927

## ЭМИГРАНТСКАЯ ОДА

«О, ты, что в горести напрасно»,  
Меня жалоб вариант,  
Ежеминутно, ежечасно,  
На Бога ропщешь, эмигрант!

Заткни роскошные фонтаны, —  
Не натирай души мозоль.  
Не сыпь на собственные раны  
Свою же собственную соль.

Не пялся в прошлое уныло,  
Воспоминанья — это дым.  
Не вспоминай о том, что было,  
И не рассказывай другим.

Не мни прикидываться жертвой,  
Судьбы приемлющей удар.  
И не клянись, что фокстерьер твой  
Был в оно время сенбернар.

Себя на все печали в мире  
Монополистом не считай  
И нервным шагом по квартире  
В минуты гнева не шагай.

О жизни мелкобуржуазной  
Слезы насильственной не лей.  
И десять раз в году не празднуй  
Один и тот же юбилей.

Не доверяй словам красивым  
И не предсказывай конец.  
Не пей рябиновку с надрывом,  
А просто пей под огурец.

И ты не думай, что настанет —  
И грянет гром, и вспыхнет свет...  
Весьма возможно, что и грянет,  
Но ведь возможно, что и нет.

А посему не злобствуй страстно  
И не упорствуй, как педант,  
«О ты, что в горести напрасно»  
На Бога ропщешь, эмигрант!

Но возноси благодаренья  
И не жалей хороших слов  
За то, что в час столпотворенья,  
Кровосмешенья языков

Ты сам во столп не обратился,  
Не изничтожился в тоске,  
Но вдруг от страха объяснился  
На столь французском языке,

Что все французы испытали  
Внезапный приступ тошноты  
И сразу в обморок упали —  
И им воспользовался ты!..

1927—1933

## А. А. АЛЕХИНУ

Свет с Востока, занимайся,  
Разгорайся много крат,  
«Гром победы, раздавайся»,  
Раздавайся, русский мат!..  
В самом лучшем смысле слова,  
В смысле шахматной игры...  
От конца и до другого  
Опрокидывай миры!  
По беспроводной сети  
Всяких кабелей морских  
Поздравленья шлите, дети,  
В выражениях простых!..  
Рвите кабель, рвите даму,  
Телеграфную мамзель,  
Сердце, душу, телеграмму,  
Не задумываясь, прямо —  
Шлите прямо в Грандотель.  
Буэнос. Отель. Алеше.  
Очень срочно. Восемь слов.  
«Бьем от радости в ладоши,  
Без различия полов».  
А потом вторую шлите  
За себя и за семью:  
«Ах, Алеша, берегите  
И здоровье, и ладью!»  
Третью, пятую, шестую  
Жарьте прямо напролет:  
«Обнимаю и целую  
Шах и мат, и патриот».  
Главным образом вносите  
В текст побольше простоты,  
Вообще переходите  
Все с Алехиным на «ты»!  
«Гой еси ты, русский сокол,  
В Буэносе и в Айре!  
Вот спасибо, что нацокал  
Капабланке по туре!..  
Десять лет судьба стояла

К нам обратной стороной,  
Той, что, мягко выражаясь,  
Называется спиной». —  
И во тьму десятилетия  
Ты пришел и стал блистать!  
Так возможно ль междометья,  
Восклицанья удержать?!  
Стань, чтоб мог к груди прижаться  
Замечательный твой миф,  
Заключить тебя в объятья,  
Невзирая на тариф!..  
Все мы пешки, пешеходы,  
Ты ж орел — и в облаках!  
Как же нам чрез многи воды,  
Несмотря на все расходы,  
Не воскликнуть наше — ах!..

1927

## ЛЮБОВЬ ПО ЭПОХАМ

### ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Опуститься на скамью  
И в аллее, где фиалки,  
На песке писать — люблю —  
Наконечником от палки.  
Слушать пенье соловья,  
Замирать от муки сладкой  
И, дыханье затая,  
Поиграть ее перчаткой.  
А когда начнут вокруг  
Все сильнее сгущаться тени,  
Со скамьи сорваться вдруг,  
Опуститься на колени,  
Мелкой дрожью задрожать,  
Так, чтоб зубы застучали,  
И к губам своим прижать...  
Кончик шарфа или шали.

## ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Прийти в гости. Сесть на диван.  
 Покурить. А после куренья  
 Встать и сказать: «Жизнь — это обман...  
 С моей точки зренья!»  
 Потом, постояв, опять сесть,  
 Грузно, чтоб пружина заныла.  
 И вдруг взять и наизусть прочесть  
 «Я не помню, когда это было...».  
 Потом со вздохом сказать: «Н-да...»,  
 Схватить пальто, стать одеваться  
 И на глупый женский вопрос: «Куда?»  
 Грубо ответить: «Домой!.. Стреляться!..»

## 1905-й

Никаких фиалок. Никакой скамьи.  
 Ни пасторали, ни драмы.  
 Отрицание любви. Отрицание семьи.  
 Отрицание папы и мамы.  
 Она безвольно шепчет: «Твоя».  
 А он отвечает зловеще:  
 «Я утверждаю свое — я!..»  
 И тому подобные вещи.  
 Утвердив, он зевает. Пьет чай.  
 И молча глядит в пространство.  
 Потом он говорит: «Катя, прощай...  
 Потому что любовь — мещанство».

## ЭВАКУАЦИЯ

Наша жизнь подобна буре.  
 Все смешалось в вихре адском.  
 Мы сошлись при Петлюре,  
 Разошлись при Скоропадском.  
 Но, ревниво помня даты  
 Роковой любовной страсти,  
 Мы ли, друг мой, виноваты  
 В этих быстрых сменах власти?..

## ЭМИГРАЦИЯ

Чужое небо. Изгнание.  
Борьба за существование.  
Гнешь спину, хмуришь бровь.  
Какая тут, к черту, любовь?!

1928

## НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Черт толкает человека  
Испытать свою удачу  
И отправиться к знакомым!..  
В воскресенье!.. И на дачу!!

Мылит щеки он с какой-то  
Дрожью, прямо сладострастной.  
Ибо черт его толкает  
Бриться бритвой безопасной.

Окровавленный, как туша,  
Скажем вежливо, баранья,  
Он завязывает галстук,  
Тоже морщась от страданья.

Ибо где же вы видали,  
Чтоб охваченный экстазом  
Человек спешил на поезд  
И возился с самовязом?

Наконец, напудрив личность  
Желтой жениною пудрой,  
Все, что следует, приемлет  
Он с покорностью мудрой:

Час езды по подземелью,  
Пять законных пересадок,  
Словом, весь не нами в мире  
Установленный порядок.

Чуден путь от Сен-Лазара  
По зигзагам рельс гудящих,  
В допотопном третьем классе,  
В отделение для курящих...

Чуден плебс, когда он дышит  
Перегаром литров многих  
И подруг своих щекочет,  
Некрасивых, но нестрогих.

А в окно мелькают трубы,  
Уголь, фабрики, заводы —  
Вообще, сплошное лоно  
Изумительной природы!..

После долгой, жуткой тряски  
И размяв насилиу кости,  
Человек с крахмальной грудью  
Наконец приехал в гости.

Сорок тысяч восклицаний,  
Восхищенье... панорамой,  
Чай, холодный, как покойник,  
И салфетки с монограммой.

Кто-то старым анекдотом  
Угостил и был доволен,  
А потом и солнце село  
За верхушки колоколен.

Долго шли гуськом по парку.  
Воздух в легкие вдыхали.  
А когда качнулся поезд,  
Все платочками махали.

— До свиданья... — До свиданья!  
Паровоз нахально свистнул.  
Человек невольно вздрогнул,  
И задумался, и скиснул.

## ПЕСЕНКА

«Дождик, дождик, перестань!..»  
Мы отправимся в Бретань  
Всем составом всех частей  
С целым выводком детей,  
С граммофоном впереди,  
С фокстерьером позади,  
С утопающим в кульках  
Папой с зонтиком в руках,  
С мамой, виснувшей на нем,  
В шляпе с розовым пером,  
С нянькой старой и рябой,  
С оттопыренной губой,  
Цугом, скопом, словом, все  
На траву и на форсэ,  
На форсэ и на траву!  
Неизвестно для чего...

Папа будет тосковать,  
Мама будет загорать,  
Нянька будет говорить,  
Что в России лучше жить,  
Дети будут рвать трико,  
Пить парное молоко,  
Удобрять чужой пейзаж,  
Бегать голыми на пляж,  
И, с детей беря пример,  
Угорелый фокстерьер,  
Мир и Космос возлюбя,  
Будет прямо вне себя!..

А потом придет наш срок —  
Узелок на узелок,  
Чемодан на чемодан,  
И унылый караван  
После каторжных работ  
В путь обратный потечет...  
С утопающим в кульках  
Папой с зонтиком в руках,  
С мамой, виснувшей на нем,  
В шляпе с розовым пером,



С недовольною судьбой  
Нянькой старой и рябой,  
С целой тучею детей  
Всех фасонов и мастей,  
С граммофоном впереди  
И с собакой позади...

1928

## ЛЕТНИЕ РАССКАЗЫ

Не в Ла-Манш, не в Пиренеи,  
Не на разные Монбланы,  
Не под пальмовые рощи,  
Не в диковинные страны...

Я уехал бы на Клязьму,  
Где стоял наш дом с терраской,  
С деревянным мезонином,  
С облупившеюся краской,

С занавесками на окнах,  
С фотографиями в рамках,  
Со скамейкой перед домом  
В почерневших монограммах,

С этой гревшейся на солнце,  
Сладко шурившейся кошкой,  
Со спускавшеюся к речке  
Лентой вившейся дорожкой,

Где росли кусты рябины,  
Волчья ягода чернела,  
Где блистательная юность  
Отцвела и отшумела!..

Как летела наша лодка  
Вниз по быстрому теченью,  
Как душа внимала жадно  
Смеху, музыке и пенью,

Плеску рыбы, взлету птицы,  
Небесам, и душным травам,

И очам твоим правдивым,  
И словам твоим лукавым...

А когда садилось солнце  
За купальнями Грачевых,  
И молодки, все вразвалку,  
В сарафанах кумачовых

Выходили на дорогу  
С шуткой, с песней хоровою,  
А с реки тянуло тифой,  
Сладкой сыростью речною,

А в саду дышали липы,  
А из дома с мезонином  
Этот вальс звучал столетний  
На столетнем пианино,

Помнишь, как в минуты эти  
В этом мире неизвестном  
Нам казалось все прекрасным,  
Нам казалось все чудесным!

Богом созданным для счастья,  
Не могущим быть иначе,  
Словно Счастье поселилось  
Рядом, тут, на этой даче,

В этом домике с терраской,  
С фотографиями в рамах,  
И сидит, и встать не хочет  
Со скамейки в монограммах..

1928

## ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА

### К РУССКОЙ

Сначала надо говорить о Толстом,  
О живописи, об искусстве,  
О чувстве, как таковом,  
И о таковом, как чувстве.

Потом надо слегка вздохнуть  
И, не говоря ни слова,  
Только пальцем в небо ткнуть  
И... вздохнуть снова.

Потом надо долго мять в руках  
Не повинную ни в чем шляпу,  
Пока Она, по-женски, не скажет: Ах!  
И, по-мужски, пожмет вам лапу.

### К НЕМКЕ

Немку надо глазами есть,  
Круглыми и большими.  
Ни с каким Толстым никуда не лезть,  
А танцевать шимми.

Танцевать час. Полтора. Два.  
Мучиться, но крепиться.  
Пока немецкая ее голова  
Не начнет кружиться.

И глядь, — веревка ль, нитка ль, нить, —  
Незаметно сердца свяжет.  
И не надо ей ничего говорить...

Она сама все скажет.

### К ДОЧЕРИ АЛЬБИОНА

Для англичанки все нипочем,  
И один есть путь к победе:  
Все время кидать в нее мячом  
И все время орать: ради!

Потом, непосредственно от мяча,  
С неслыханной простотою,  
Так прямо и рубить сплеча.  
Будьте моей женою!

И если она за это не даст  
Ракеткой по голове вам,  
Значит, она либо любит вас,  
Либо... остолбенела.

### К ФРАНЦУЖЕНКЕ

Французский женский нрав таков,  
Что, отбросив в сторону шутки,  
С дамой надо без дураков  
Говорить об ее желудке.

Они не любят этих ши-ши,  
И хотя души в них немало,  
Но если прямо начать с души,  
Тогда просто пиши — пропало!..

1928

### ТОЛЬКО НЕ СЖАТА...

*В*се хорошо на далекой отчизне.  
Мирно проходит строительство жизни.  
«Только не сжата полоска одна.  
Грустную думу наводит она».

Партия, молвил Бухарин сердито,  
Это скала, и скала из гранита!  
Это, сказал он, и грозен, и вещ,  
Первая в мире подобная вещь!

Только... Раковскому шею свернули,  
Только... Сосновский сидит в Барнауле,  
Только... Сапронова выслали с ним,  
Только... Смилга изучает Нарым,  
Только... Как мокрые веники в бане,  
Троцкий и Радек гниют в Туркестане,  
Словом: гранит, монолит, целина!

«Только не сжата полоска одна».

Школы — источники знания и света.  
 Что ни зародыш — то два факультета.  
 Верх достижения! Стены дрожат!  
 В яслях доценты в пеленках лежат!

Только в лохмотьях, в отребиях черных  
 Шляется жуткая тьма беспризорных,  
 Только по улицам бродит шпана,  
 «Только не сжата полоска одна».

Землю крестьянскую трактором взроем!  
 Площадь посева удвоим! Утроим!  
 Все разверстаем! Запишем! Учтем!  
 Хлебом завалим! Задавим! Зажмем!

Только опять не везет Микояну,  
 Только опять по разверстке, по плану,  
 В очередь, в хвост растянулась страна...  
 «Только не сжата полоска одна».

В области высшей политики то же:  
 Кто в чистоте своих принципов строже,  
 Кто, как одна лишь советская власть,  
 Душу за принцип готов прозакласть?!

— Нам ли читать договоры Европы?  
 Мы ли за нею пойдем, как холопы.  
 Мы ли, носители новых идей,  
 Будем еще разговаривать с ней?! —  
 Трррр!.. и, грустное перышко вынув,  
 Так из Москвы расписался Литвинов,  
 Так!! что в Америке подпись видна...  
 «Грустную думу наводит она».

1928

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

**Я** гляжу на вашу шубку,  
 Я расстроиться готов:  
 Сколько было перебито  
 Милых дымчатых кротов.

Сколько твари этой серой  
Уничтожено в полях,  
Лишь бы вам блистать Венерой,  
Утопающей в мехах!..

А когда еще и мрамор  
Вашей шейки неземной  
Оттеняете вы пышной  
Черно-бурою лисой,

Мне, кому бы только славить  
Вашу смутную красу,  
Мне становится обидно...  
Не за вас, а за лису!

Я гляжу на ваши руки,  
И считаю, мизантроп,  
Сколько надо было горных,  
Темноглазых антилоп,

Грациознейших животных  
Меткой пулей пронизать,  
Чтоб могли вы и перчатки,  
Как поклонников, менять!..

Я гляжу на сумку вашу,  
На серебряный затвор.  
А на сумке чья-то кожа  
Очаровывает взор.

И встает передо мною  
Голубой, далекий Нил...  
И шепчу я с тихой грустью:  
— Бедный, бедный крокодил!

Наконец, на ваши ножки  
Я взволнованно гляжу,  
И дрожу, и холодею,  
Холодею и дрожу...

Ради пары ваших туфель,  
Ради моды, для забав...  
Черным негром был отравлен  
Ядом собственным удав!

И когда в звериных шкурах,  
В перьях птиц и в коже змей,  
Вы являетесь Дианой,  
Укрошающей зверей,

Я хочу спросить невинно,  
Тихо, чинно, не дыша:  
— Где у вас, под всей пушниной,  
Помещается душа?

1928

## ПОСЛАНИЕ ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

Официально отпразднован 20-летний юбилей Д. Бедного

**Н**тички прыгают на ветке.  
Распускается жасмин.  
Честь имею вас поздравить  
С юбилеем, гражданин!

Двадцать лет писать поэмки,  
Гнать стишки на километр...  
Это даже и ребенку  
Очевидно, что вы мэтр!

От сохи ль вы, я не знаю...  
Но, по слогу, по стиху,  
Вы, как я предполагаю,  
Прямо вделаны в соху!

Говорят, что местный рынок  
Тверд в решении своем:  
Что ни слово, то суглинок,  
Что ни строчка, чернозем.

И, уверясь в идеале  
Окружающей мордвы,  
Вы действительно пахали,  
Прямо землю рыли вы!..

Но у вас характер пылкий,  
В поле тесно было вам...

Вас влекло на лесопилки,  
К доскам, к бревнам, к топорам!

Стон стоял на всю окрестность,  
Закачались леса.

— Пропадай, моя словесность,  
Все четыре колеса!

Честный пот с лица катился,  
И, упарясь и вспотев,  
Вы имели трижды право  
Изливать гражданский гнев!

— Я не скучный слов точильщик, —  
Вы сказали, — я другой...  
Я простой продольный пильщик,  
Я работаю пилой!

И, рубанок взяв упрямый,  
Страшный выпятив кадык,  
Вы стругали этот самый,  
Сплошь тургеневский язык...

И за это вас прославить  
Должен хилый будет век.  
Честь имею вас поздравить,  
Гражданин и дровосек!..

1929

## РЯД ВОЛШЕБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

*Троцкий, Троцкого, Троцкому...*

### 1

**С**тоять на черных площадях,  
Чеканить медленную прозу  
И принимать, внушая страх,  
Наполеоновскую позу...

Сжимать во гневе кулаки,  
Готовив адские реторты,



«И слабым манием руки»  
Передвигать свои когорты...

Хрипеть, командовать, грозить  
И так вздымать и нос и профиль,  
Чтоб каждый мог сообразить,  
Что это явный Мефистофель...

Швырять в провал грядущих лет  
Казну награбленных наследий..  
— Какой заманчивый сюжет...  
Для исторических трагедий!

## 2

«Во глубине сибирских руд»  
Страдать за твердость убеждений  
И все рассчитывать на суд  
Каких-то новых поколений...

Во мраке северных снегов,  
Точь-в-точь как Меншиков опальный,  
Сносить обиды от врагов  
И проклинать свой рок печальный...

Являть собою тип борца,  
Который полон чувств высоких,  
И ждать коварного свинца  
От соглядатаев жестоких...

Глядеть на собственный скелет,  
Считать былые килограммы..  
— Какой заманчивый сюжет  
Для многоактной мелодрамы!

## 3

Но, за порог успев шагнуть,  
Начать сейчас же, и не кстати,  
В двояко-вогнутую грудь  
Себя публично колошматить.

Но пококетничать не прочь,  
Не соблюдая достоинств чина,  
Взорваться бешено, точь-в-точь  
Как пневматическая шина...

Но, хмуря бледное чело,  
Плечами двигая худыми,  
Замучить сорок дактило  
Воспоминаясь своими.

И завалить столбцы газет  
Изыском слова, слога, стиля...  
— Какой заманчивый сюжет,  
Какой сюжет для водевиля!

1929

### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

**Б**ыл месяц май, и птицы пели,  
И за ночь выпала роса...  
И так пронзительно синели,  
Сияли счастьем небеса,

И столько нежности нездешней  
Тогда на землю пролилось,  
Наполнив соком, влагой вешней,  
И пропитав ее насквозь,

Что от избытка, от цветенья,  
От изобилья, от щедрот,  
Казалось, мир в изнеможенье  
С ума от счастья сойдет!..

Был месяц май, и блеск, и в блеске  
Зеленый сад и белый дом,  
И взлет кисейной занавески  
Над русским створчатым окном.

А перед домом, на площадке,  
Веселый смех, качелей скрип.  
И одуряющий и сладкий,  
Неповторимый запах лип.

Летит в траву твой бант пунцовый,  
А под ногой скользит доска,  
Ах, как легко, скажи лишь слово,  
Взмахнуть и взвиться в облака!..

И там, где медленно и пышно  
Закатный день расплавил медь,  
Поцеловать тебя неслышно,  
И если надо, умереть...

Был месяц май, и небо в звездах,  
И мгла, и свет, и явь, и сон.  
И голубой, прозрачный воздух  
Был тоже счастьем напоен.

Молчанье. Шорох. Гладь речная.  
И след тянулся от весла.  
И жизнь была, как вечер мая,  
И жизнь и молодость была...

И все прошло, и мы у цели.  
И снова солнце в синеве,  
И вновь весна, скрипят качели,  
И чей-то бант лежит в траве.

1929

## ВЕШНИЕ ВОДЫ

«Ожидались мы светлого мая»  
И радостных, майских гонцов!..  
И вот уж вода ключевая,  
Стекающая от верхних жильцов,

Бежит по упрямым карнизам  
И льется в наш тихий уют,  
И так эти струйки капризно  
На головы наши текут,

Как будто мы вслух умоляли,  
Чтоб утром, в назначенный час,

Соседи цветы поливали  
И хлопали прямо на нас.

— Дождались! Дождались! Дождались...  
Кипение! Пена! Угар!  
Какие-то шлюзы прорвались,  
Слетели со всех Ниагар,

И всхлипами всех клокотаний,  
И накипью желчи и слез,  
И грозною бурей в стакане  
Семейный бурлит купорос!..

— У Петьки экзамен французский,  
А он и не думает, хлыщ.  
Катюша вздыхает о блузке.  
У Оленьки выскочил прыщ.

Из платица выросла Тася.  
И нужен жене туалет,  
И требует каторжник Вася  
Свободы, штанов и штиблет!

А папа, пронзив зубочисткой  
Единственной мудрости зуб,  
Мечтает от истины низкой,  
Уйти в возвышающий клуб,

Отдаться слепому азарту  
И в счастья вступить полосу,  
Вот так и поставить на карту  
И жизнь, и дырявое су!..

А в окнах хрипят граммофоны,  
Посудой кухарки стучат,  
Трещат и звенят телефоны,  
Какие-то дети кричат,

И тонут в их хоре жестоком  
Счастливые вздохи отцов...  
А вешние воды потоком  
Стекают от верхних жильцов.

1929

## ОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ МИРА

## 1

Люди каменного века  
Жили медленно и вяло...  
Назначенье человека  
Только в том и состояло,  
Чтоб чесать себя под мышкой,  
Состязаться в диком вое  
И с убийственной отрыжкой  
Жрать сырье как таковое.  
И хотя они не лезли  
Никогда в аристократы,  
Но зато ж у них и нервы  
Были вроде как канаты!

## 2

Дети Греции и Рима  
Жили более развратно.  
Жили тоже без комфорта,  
Но красиво и приятно.  
То упорно предавались  
Жесточайшей в мире брани,  
То мастикой натирались  
В знаменитой римской бане,  
То дымящеюся кровью  
Заливали прах арены,  
То себе ж, во вред здоровью,  
Перерезывали вены.  
Но и римляне и греки,  
Уверяют Геродоты,  
Не имели огорчений  
И не ведали заботы.

3

Смутный мир Средневековья,  
Католический и хмурый,  
Баритоном и любовью  
Освежали трубадуры.

Надевали полумаски  
И часа четыре кряду  
Про одни и те же глазки  
Голосили серенаду.

Пели страстно, пели жарко,  
Все забыв на этом свете!  
А потом пришел Петрарка,  
А потом пошли и дети...

1929

## ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРИТОКИ

*Философские размышления*

*М*ир как солнечная призма.  
Небосвод блаженно тих.  
Для тоски, для пессимизма —  
Оснований никаких.

Начиная с Гераклита,  
Все струится, все течет.  
И менять свое корыто  
Не резон и не расчет.

Прав философ, что, не споря,  
Не борясь за идеал,  
Сел на корточки у моря  
И погоды ожидал.

— Будет, будет вам погодка! —  
Говорил он сам себе,  
Научившись очень кротко  
Подчинению судьбе.

И когда его приливом  
Прямо в море унесло,  
Было так же горделиво  
Философское чело.

И да будет нам уроком  
Этот самый Гераклит,  
Что внизу, на дне глубоком,  
Столько времени лежит.

Ибо мы не сознаемся,  
Восставая на судьбу,  
Что и мы течем и льемся  
В водосточную трубу.

Кто потоком, кто каскадом,  
И сверкая, и змеясь,  
Кто широким водопадом,  
Кто по капельке струясь...

Но, когда земных страданий  
Весь наполнив водоем,  
В этом жидком состоянье  
Мы предстанем пред Творцом.

Мутны, скользки, безобразны,  
Отвратительны на вид,  
Он нас всех в газообразный  
В пар и в воздух обратит!..

И, сгустившись в небе синем  
В сумрак, в тучу и в грозу,  
Мы таким потоком хлынем  
На оставшихся внизу,

Так намочим их сердито,  
Что они, под треск и звон,  
Вспомнят, черти, Гераклита  
Древнегреческих времен!

## «ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ВЯТСКИЙ...»

Крестьяне просят разъяснить, под-  
лежит ли свинья коллективизации?

Известия

**К**ак поступить с последнею свиньей?  
Считать ее наследницею барства,  
Которая подтачивает строй  
Единственного в мире государства?

С презрением хавронью заколов,  
Предать ее копчению, а копоть,  
Без пафоса, без пошлости, без слов,  
Вот именно, не рассуждая, слопать?

А гиблый дух шекспировских цитат?..  
— Пожрать — уснуть... Уснуть, быть может,  
грезить...

«А если сон виденья посетят?»  
Особенно когда свинью зарезать?!

Иль, подавив естественный порыв  
И низменное чувство аппетита,  
Отдать свинью в ближайший коллектив,  
Как некий взнос для общего корыта?

И чувствовать, что ты освобожден! —  
Исполнен долг борца и гражданина,  
И поколениям будущих времен  
Уже приуготовлена свинина...

Хотя с другой, с обратной стороны,  
С обратной, но, конечно, не свинячей,  
Кем могут быть гарантии даны,  
Что поступить не мог бы ты иначе?!

Республика... Отечество... Алтарь...  
Ударный жест... решительная схватка...  
Но требовать ударного порядка  
Легко в теории. А в практике — ударь,  
Так эта бессознательная тварь  
Берет и поддыхает без остатка!..



А ты хоть извивайся как змея, —  
С советской властью шуточки плохие:  
Доказывай, что это не свинья,  
А мелкобуржуазная стихия!.

Но власть не верит, грозно, впопыхах,  
Она орет: «Уловка да лазейка!..»  
Берет за чуб, трясет, вгоняет в страх.

Недаром выражался Мономах:  
— Да, тяжела ты, шапка и ячейка!..

1930

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Пора начать социалистическое на-  
ступление на музыкальном фронте!

*Из советских газет*

Сколько приятно из далека  
Созерцать зарю Востока,  
Искушенный теща взор —  
Этим пламенным сияньем,  
Этим розовым пыланьем  
Этих собственных Аврор!.

Что ни день, то достижение,  
Что ни час — преображение,  
Претворение мечты,  
Тайнам новое причастье,  
На земле земное счастье  
И победа красоты!

Не могу застыть в покое...  
Дайте что-нибудь такое,  
Чтобы мог я колотить,  
И чтоб мог я барабанить,  
Дробью душу затуманить,  
Радость бурную излить!

Так и хочется галопом  
Проскакать по всем Европам,  
Учинить у них Содом —  
И воскликнуть: «Посмотрите.  
И немедленно умрите,  
Пожираемы стыдом!»

Разве снилось вам, гниющим,  
Вам, во прахе трижды сущим,  
Нечто равное тому,  
Что теперь, даю вам слово,  
Блеском солнца мирового  
Всю прорезывает тьму?!

Мы с душою семиструнной,  
Мы, кого сонатой лунной  
Угощал еще Мамай,  
Мы, над кем от колыбели  
Без конца звенели трели,  
Открывающие рот, —  
И конечно, мы мечтали  
О последнем идеале,  
Знаменующем рекорд —  
В день, когда над всей вселенной  
Грянет мощью вожделенной  
Заключительный аккорд!

Пусть еще у музыкантов  
Нет достаточных талантов,  
А в руках одни смычки...  
Нам не надо инструментов!  
Мы и так интеллигентов  
Обыграем в дурачки!..

Потому что в мире пресном,  
В уравнение с неизвестным,  
Мы, вот именно, есть икс!  
Будет день — и грянет опус,  
И не только на Европу-с,  
А на весь на материк-с!

Ничего не пожалеем,  
 Так ударим, так огреем,  
 Что воскликнет мир, зловец:  
 — А, действительно, какая  
 Эта музыка Мамая  
 Симфоническая вещь!..

1930

## ОСКОМИНА

Возможно, что это —  
 Разлитие желчи.  
 Больная печенка. А главное, годы.  
 А может быть, это —  
 Влияние солнца.  
 Истомное лето. Законы природы.  
 Возможно. Не знаю.  
 Но в стужу и в слякоть,  
 Порой негодуя, порой умиляясь,  
 А чаще смеясь,  
 Чтоб только не плакать,  
 Я чтеньем советских газет занимаюсь...

Как жемчут нижу я  
 Жемчужины слога,  
 Платформы, и формы погуще и резче,  
 Поход пионеров  
 На Господа Бога,  
 И всякие измы, и прочие вещи...  
 Зимой это просто:  
 «Кулацкая тема»,  
 «На базисе тезисов срыва колхоза».  
 Сие означает,  
 Что жизнь не поэма,  
 Менжинский не ландыш, и Сталин не роза.

Но летом!.. Но летом,  
 Когда этот Цельсий  
 Буквально безумствует в трубке стеклянной,  
 Когда под окошком

Мостят мостовую  
И край перепонки моей барабанной.  
Когда это скопом,  
И сразу, и вместе —  
Влечет вас под пальмы, в пустыню, в оазис,  
Скажите открыто,  
Признайтесь по чести —  
Волнует вас тезис? Тревожит вас базис?!

Я думаю с грустью  
О тех обреченных,  
В которых, как яблоки в бедного гуся,  
Пихают начинку  
Толченых, моченых  
Листовок, брошюрок, агиток, дискуссий...  
На каждую душу —  
Пайковая жвачка,  
На каждую жвачку — оброчные души!  
Нет, лучше пускай уж  
Мостят мостовую  
И грохотом камня терзают мне уши...

1930

## НА КОШАЧЬЕЙ ВЫСТАВКЕ

**В** исканиях земного идеала,  
Познания, истоков и основ  
Великий смысл кошачьего начала  
Открылся мне на выставке котов.

Все гибкое, все хрупкое, все злое,  
Мятущееся в гибельной тоске,  
Таящееся в видимом покое,  
Сокрытое в хрустящем позвонке,

Блеснуло мне и вырвалось оттуда,  
Из глубины сощурившихся глаз,  
Из зелени, из тайны изумруда,  
Из желтизны, впадающей в топаз,

Из тусклой тьмы смарагда и агата,  
Из косных недр и облачных химер,  
Которые описывал когда-то  
Замученный любовницей Бодлер.

Но, равнодушна к памяти Бодлера,  
Водила ты по выставке меня.  
В твоих глазах, зеленовато-серых,  
Был тот же блеск заемного огня,

Пронзительный, загадочный, лучистый,  
Не ласковый, не женский и не твой,  
А этой кошки, рыжей и пушистой,  
Персидской кошки с шерстью золотой.

Но ты, увы! Бодлера не читала,  
И от стихов ты приходила в грусть...  
Зато ты просто кошек обожала  
И все породы знала наизусть!

— Персидский кот с жестокими усами,  
Священный кот, подведомственный Бrame,  
Шотландский кот, одетый в коверкот,  
И белый кот, воспитанный в Сиаме,  
И голубой, индокитайский кот,  
И черный кот для Брокена, для оргий,  
И серый кот для щедрых производств.  
И ты была в безумии, в восторге  
От этих рас, пород и благородств!

Когда ж домой с тобой я возвращался  
И нам котенок маленький попался,  
Измученный, несчастный и худой,  
Мяукавший, намокший под дождями,  
Родившийся, конечно, не в Сиаме,  
А, вероятно, в яме выгребной,  
Ты так его ногою оттолкнула,  
А на меня так ласково взглянула,  
Что понял я, что очередь за мной!

## ПЕСНИ ИЗГНАНИЯ

### ЗОЛОТОЙ СОН

Господа! если к правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навевает  
Человечеству сон золотой!

*Надсон*

Пусть он явится северным скальдом,  
Миннезингером сказочных лет.  
Пусть безумца зовут Макдональдом,  
Если лучшего имени нет.

Пусть он будет брамином индусским,  
И жрецом вожделеющих масс.  
Или даже подвижником русским,  
Как весьма уважаемый Влас.

Пусть он будет японец, китаец,  
Или житель обеих Гвинеи,  
Или самый последний малаец...  
Это им уж, малайцам, видней!

Пусть из тьмы, из пустыни прибудет —  
Как какой-нибудь жалкий Номад.  
Пусть из «Нового Града» он будет,  
Если даже не нов этот Град...

Пусть он будет пророк гениальный,  
Или, чаяньям всем вопреки,  
Пусть он будет дурак интегральный  
В переводе на все языки.

Все равно... Поколение лелеет  
Эту мысль с незапамятных лет.  
— Только пусть он придет и навевает!  
Потому что терпения нет...

Потому что покуда мы станем  
И томиться, и веялки ждать,  
Мы и сами дышать перестанем.  
А на мертвых уж что навевать!

1932

## CHANSON À BOIRE

От Гренады до Севильи  
Все танцует, все поет...  
Скиньте ж, Маша, тип мантильи  
С ваших мраморных красот!  
В наших табелях о ранге —  
Возраст только атавизм.  
А поэтому, мой ангел,  
Не впадайте в пессимизм.  
Горячо рекомендую —  
«За святой девиз вперед»  
Выпить рюмочку, другую,  
За четырнадцатый год.  
Если червь вам сердце гложет,  
Прикажите — задущу!  
Если ж это не поможет,  
То прощения прошу...  
Значит, вашей сердцевины  
Не коснулся мой аккорд.  
Значит, я, как тип мужчины,  
Не созвучен в смысле морд.  
Но в надежде, что прискорбный  
Факт сей может и не быть,  
Я прошу ваш профиль скорбный  
Хоть на фас переменить.  
Потому что, чем яснее  
Ваши томные черты,  
Тем вы больше в апогее  
Нашей женской красоты.  
Так роскошно стрижка ваша,  
Как античный вьется фриз,  
Что прошу вас, выпьем, Маша,  
За какой-нибудь девиз!  
Выпьем раз от состраданья,  
А для вкуса — по второй,  
И наш горький хлеб изгнанья  
Густо вымажем икрой!..

1933

## АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Не хочу хрестоматий и сказок,  
Ни стихов, ни легенд, ни поэм.  
Я желаю Анютиных глазок...  
А иных не желаю совсем...

Все бывшие богини — в отставку!  
Не хочу ни Венер, ни Минерв.  
Ах, скорей бы на землю — на травку,  
Несмотря на седалищный нерв...

Сколько было ошибок во вкусах,  
Сколько раз, безнадёжный вопрос,  
Разводилось колес на турусах!  
Дальше больше турус, чем колес...

Для чего, на Анюту не глядя,  
Ты на Энгельса юность губил?  
Кто он был тебе? тетя иль дядя?  
Или школьным товарищем был?

А потом ты ушел к декадентам...  
Для чего? Отчего? Почему?  
И когда отравлялся абсентом,  
То зачем? И в угоду кому?

Ах, как часто менялися позы,  
И герой, и под ним пьедестал...  
Декадент, ты искал туберозы,  
А Анютины глазки топтал?!!

Это верно, что жизнь авантюра,  
И исполнена всякого зла,  
Но была бы Анюта не дура,  
Уж она б тебя в руки взяла!

Не срывал бы ты желчно повязки,  
Не писал бы роман на ходу...  
И цвели бы Анютины глазки  
И в твоём предзакатном саду.

1932



\* \* \*

Дождь был. Слякоть. Гололедица.  
Чувство грусти было. Сирости.  
Даже Малая Медведица  
В небе ежилась от сырости.

На углу ажаны кутались  
В ихний плащ непромокаемый.  
Под ногами дети путались  
Вереницей нескончаемой.

А за ними, все ценители,  
Все любители словесности,  
Шли их взрослые родители,  
Затоплявшие окрестности.

И от площади Согласия  
До предместья парижского  
Шла такая катавасия,  
Песни, пляски Даргомыжского,

Вихрь стихов, дыханье мистики,  
Трель сопрано соловьиного,  
Речи русской беллетристики,  
Пафос «Славы» Гречанинова,

Да концерты, все с квартетами,  
С звуком говора московского,  
С декламацией, с балетами,  
С полной музыкой Чайковского,

Что ажаны с пелеринками,  
Впав в великую прострацию,  
Позабыли вдруг дубинками  
И махать на эмиграцию.

А кругом, с зонтами черными,  
В переулки хлынув узкие,  
Густо шли путями торными,  
Все валом валили русские.

И чужая, одинокая,  
И ища противоядия,  
Башня Эйфеля высокая  
Рассылала всюду радио.

Все будила в мире станции  
Звуком четким, как жемчужинка,  
Что Париж — столица Франции,  
А сама она француженка!..

1937



# Отнюдь не мелочь

(пародии, афоризмы, частушки)





## Из цикла «Фишки»

\* \* \*

Был молод. Верил в идеал.  
Но все, по молодости, врал.  
Теперь он важный и седой...  
И только врет, как молодой.

\* \* \*

Склонен к мелкому обману.  
Блудодей. Трубою хвост.  
Милый друг — по Мопассану,  
А по-нашему — прохвост.

\* \* \*

Купил дворец с чужими предками.  
Созвал желающих — глазей!  
И кормит тухлыми объедками  
И разночинцев, и князей.

\* \* \*

То в плащ, то в тогу он рядится,  
То циник он, то донкихот...  
Уже он в дедушки годится,  
А все надежды подает.

\* \* \*

**В** партийном смысле — выдвиженец,  
В семейном смысле — двоеженец,  
В идейном смысле — нигилист,  
А в общем смысле — аферист.

\* \* \*

**В**здыхни над жизнью этой серой,  
Над этой женскою судьбой:  
— Она могла бы стать гетерой,  
А вышла честною швеей.

\* \* \*

**В** желудке — язва, в горле — спазма.  
В душе — пожар энтузиазма.

\* \* \*

**Н**есмотря на надрыв, на мечтательность  
взгляда,  
Невзирая на левый уклон —  
Повивальная бабка второго разряда  
И притом довоенных времен.

\* \* \*

**С**кользнув по этим килограммам,  
Одной лишь мыслью устранись:  
Не страшен брак с гиппопотамом,  
А страшно, как с ним разойтись?!

\* \* \*

**В** какой бы плащ он ни рядился,  
С каких ни прыгал бы высот,  
Он околоточным родился  
И околоточным умрет.

\* \* \*

Какой стихийный темперамент  
И всеобъемлющая ширь!  
В программе дня его — парламент,  
А в мыслях — женский монастырь.

\* \* \*

Оугою бровь, в глазах зарница,  
Почти из мрамора чело...  
Посмотришь издали — царица,  
Посмотришь ближе — дактило.

\* \* \*

Так большей частью и бывает...  
Он разбудил ее! И вот,  
Она бессонницей страдает,  
А он снотворные сует.

\* \* \*

Угрюм, как сыч.  
Надут, как пыж.  
Летами — хрыч.  
Цветами — рыж.

\* \* \*

По убеждению — безбожник,  
По положенью — эмигрант,  
Взаимы берет он как художник,  
А отдает как дилетант.

\* \* \*

О нем сказал его приятель,  
Числом супружеств поражен:  
— Вот постоянный председатель  
На съезд меняющихся жен!

\* \* \*

Обрисовать его недолго.  
Он в каждом помысле таков,  
Что у него — не чувство долга,  
А лишь сознание долгов.

\* \* \*

Одно лицо ей ангел дал,  
Другое дал ей Мефистофель:  
— Чем добродушнее овал,  
Тем злонамереннее профиль.

\* \* \*

Ему заметили давно,  
Что при его душевном строе  
Душой быть общества — одно,  
А казначеем быть — другое.

\* \* \*

О двадцать лет терзал печенку,  
Гнал стишок на километр...  
Это даже и ребенку  
Очевидно, что вы мэтр!

\* \* \*

Очень трудно человека  
Отличить от псевдонима.  
Но о качестве сигары  
Говорят зигзаги дыма.

\* \* \*

Иногда щепоть махорки  
Притворяется гаваной,  
Значит, хочется махорке  
Тоже быть благоуханной.



\* \* \*

Он свято верил в жребий свой  
И, не щадя мозгов и плечи,  
Об стенку бился головой,  
Взыскуя истины и бреши.

\* \* \*

Моль от ласкового слова,  
От ударов ли судьбы,  
А подлец поднялся снова  
С четверенек на дыбы.

\* \* \*

Полученной затрещины им мало.  
Все те же песни, те же тенора.  
И вновь хрипит охрипший запевала,  
Которому на пенсию пора.

\* \* \*

Ну как сказать тебе о нем,  
Не вызвав сожаленья?  
— Горел общественным огнем,  
Но жил без отопленья.

\* \* \*

Он не как все ее любил,  
А как-то странно, наизнанку.  
И каждый вечер приходил  
И, грузно сев на оттоманку,  
Молчал. Вздыхал. И молвив: «Н-да...» —  
Хватал пальто, чтоб одеваться.  
А на вопрос ее «Куда?»  
Бурчал: «Не спрашивай!.. Стреляться...»

\* \* \*

Она свой локон поседевший  
Упорно красит. Пудрит нос.  
И все решает наболевший  
Благотворительный вопрос.

\* \* \*

При житейском при таланте  
Быстры смены бытия:  
Из рахитика — романтик,  
Из романтика — свинья.

\* \* \*

Со склонностью к излишнему экстазу,  
К потоку слов, к словесному греху,  
Он облакал в штампованную фразу  
Любой пустяк, любую чепуху.

Он мог сказать, что пакт ненападения  
Он заключил с возлюбленной своей,  
Когда и сам дошел до охлаждения  
И надоед, по-видимому, ей.

И называл концом капитализма  
Тот день, когда неистовствуя вслух,  
В большой тоске, в припадке пессимизма,  
Не мог найти он франка или двух...

\* \* \*

Толпа гудит. Толпа гогочет.  
И ищет идолов опять.  
Никто решительно не хочет  
Министра павшего поднять.

Меж тем, не внемля укоризне,  
Не лучше ль тихо расспросить,  
Как он дошел до этой жизни  
И захотел министром быть.

\* \* \*

Не говори о нем — перо он продает  
Не утверждай — никто не покупает.  
«Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает...»

Пусть нет издателя, но дух он издает

## Из цикла «Альбом»

\* \* \*

Мужчина был этот, сказать без корысти,  
Достоин большой исторической кисти, —  
И в смысле общественном, и поелику  
Удобно сей кистью ударить по лику.

\* \* \*

Человек он первый сорт,  
На пальто атласный борт,  
Белая манишка,  
Вдоль по личику монокль,  
Через плечико бинокль,  
А в груди одышка.

\* \* \*

Беспокойная натура,  
Он стремится в высоту,  
А жена рыдала, дура,  
На супружеском посту...

\* \* \*

Был он кролика безвреднее,  
Верил в силу божества,  
А ходил в бистро соседнее  
Для обмена вещества.

\* \* \*

Он да и нет. Он плюс и минус.  
Планета он и метеор.  
То верит в слово, то в дубину-с,  
То Августин, то Флоридор.

В нем все двойится... Мир и личность.  
И день и ночь. И свет и тьма.  
Его кредит, его наличность  
И даже логика сама.

И оттого и происходит,  
Что он на месте не стоит:  
«Идет налево — песнь заводит,  
Направо — сказку говорит».

\* \* \*

Если голубь до рассвета  
Ночь в конюшне и проспал,  
То наутро голубь этот  
Все же лошадю не стал.

\* \* \*

Хорошо про птичек сказано,  
Что не сеют и не жнут,  
А сардинку, где указано,  
Обязательно найдут...

Только ты, балда упрямая,  
Как до рыбки дорвался,  
Так сардинка это самая  
Уж и кончилась вся.

\* \* \*

По теории Эйнштейна,  
Дух которого зловец,  
Даже степень превосходства —  
Относительная вещь...

\* \* \*

Взбудоражен, вечно встрепан,  
Среди всех шатаясь толп,  
В личной жизни остопоп он,  
А в общественной он столп.

\* \* \*

В какой бы плащ он ни рядился,  
С каких ни прыгал бы высот,  
Он частным приставом родился  
И частным приставом умрет.

\* \* \*

Чтоб жизнь унылую осмыслить,  
Не уставал он утверждать,  
Что он живет, чтоб только мыслить,  
А поразмыслив, чтоб страдать.

Но по привычке сибарита  
Сидел, взирая на закат,  
Хоть у разбитого корыта,  
Но облачившись в халат.

\* \* \*

Ороден. Тучен. Весь в проборе.  
С шнурком в пенсне. С винцом в груди.  
С веселой искоркой во взоре  
И с длинным прошлым позади.

Как человек и как издатель,  
Как меценат и как артист,  
Он не фитюлька, не мечтатель,  
Не Дон Кихот, а реалист.

Он видит смысл в любой задаче  
И любит жизнь с ее игрой,  
С ее огнем, а наипаче —  
С ее зернистою икрой.

\* \* \*

Она привязывалась вдруг.  
Она любила так безмерно,  
Что каждый месяц новый друг  
Сменял другого суеверно.

И, словно дав любви обет,  
Как в некой сказке или были,  
Она вязала им жилет  
А те в жилете уходили!

## Из «Альбома пародий»

\* \* \*

Вы прекрасны, точно роза...  
Но по множеству примет,  
Роза вянет от мороза,  
Вы ж от зноя... ваших лет.

\* \* \*

Нишу тебе четыре слова:  
— Не отбивайся, я готова...

\* \* \*

Если будешь в потолок  
Ты плевать и тешиться,  
Как же будешь, ангелок,  
Ты на люстре вешаться?

\* \* \*

Когда моя фигура  
Исчезнет под мостом,  
Пролей тогда, о Нюра,  
Слезу на сей альбом!



\* \* \*

Ходят волны в синем море,  
Цветут в поле васильки...  
Ах, какое это горе,  
Когда люди — дураки!..

\* \* \*

Птичка прыгает на ветке,  
Вышла дева помечтать...  
А на этой пятилетке  
Можно голову сломать!

\* \* \*

Жизнь не храм, а мастерская,  
А рябина не левкой...  
В этом логика большая,  
Хотя связи никакой.

\* \* \*

Льются воды с крутосклонов,  
А с небес глядит луна...  
Все сто сорок миллионов  
Обожают Сталина!

\* \* \*

Над прудом склонилась ива,  
Не желает чижик петь...  
За идею коллектива  
Надо лечь и умереть!

\* \* \*

Расцвела на клумбе роза,  
Я на розочку гляжу...  
Как дошла я до колхоза,  
Никому не расскажу.

\* \* \*

Ели, пили, говорили...  
Даже в оперу ходили...  
А теперь, и неспроста,  
Будет опера не та!

\* \* \*

Если вы на непрерывный  
Мой плюете комплимент,  
Значит, вы консервативный  
И противный элемент.

## АМЕРИКАНСКИЕ ЧАСТУШКИ

\* \* \*

Я пошла гулять на Ист,  
А дошла до Веста.  
Мой миленок коммунист —  
Завсегда без места.

\* \* \*

Што ты, што ты, што ты,  
Я приехала без квоты!

\* \* \*

Мне на Бруклинском мосту  
Было неудобно...

Все ж миленка красоту —  
Не забыть до гроба.

\* \* \*

Для потребностей природы  
Не жалея культуры!  
Господа профессора,  
Айда в штукатуру!

\* \* \*

Я в Америке живу,  
Горе мыкаю.  
Говорить — не говорю,  
Только спикаю<sup>1</sup>.

## СОВЕТСКИЕ ЧАСТУШКИ

\* \* \*

*В*се на свете пустяки,  
А пальтишко драно...  
Все на свете дураки,  
Кроме Микояна.

\* \* \*

На поляночке трава,  
А на небе туча.  
Мадам Крупская — вдова,  
Но зато живуча.

---

<sup>1</sup> Образовано от speak — говорить (англ.).

\* \* \*

Легко кашу заварить,  
Расхлебать — тяжело.  
Сталин может говорить  
Ровно две недели...

\* \* \*

Сердце горестно точится,  
Дрожь во всей коленке...  
Чтой-то мне не хочется  
Становиться к стенке.

\* \* \*

Красный ситчик — красота,  
Да товар не ходок.  
Моя милка — сирота,  
А я — самородок!..

\* \* \*

По мужской своей привычке  
Говорит мне мой злодей,  
Будто женщины что птички,  
В смысле логики вещей!..

\* \* \*

Не жалея перепонки,  
Я кричу ему в ответ:  
— Вы мне больше не миленьки,  
Я вам больше не предмет!..

\* \* \*

От такого неведенья  
Обалдел он моего:  
— У меня есть точки зренья,  
А у вас нет ничего.

\* \* \*

Тут уж я без проволочки  
И сказала дураку:  
— Мне плевать на ваши точки! —  
А сама в истерику.

\* \* \*

Стал батистовым платочком  
Мои слезы утирать:  
— Не желаю разным точкам  
Свой предмет предпочитать!

\* \* \*

Он сказал мне:— Не казните.  
Дайте вымолвить — пардон!  
Я ж сказала:— Как хотите,  
Но без прения сторон!

\* \* \*

Мир сияет, как полтинник,  
Веселится, старый хрыч...  
Оттого, что именинник  
Алексей Максимович.

## ЧАСТУШКИ

\* \* \*

**К**аждый муж на свой фасон  
В жизни хороводит.  
Мой-то, скажем, франкмасон,  
А без франка ходит.

\* \* \*

Дай-ка песенку затянем,  
А слеза пускай бежит...  
Бить лежачего не станем,  
Раз лежащий — пусть лежит.

\* \* \*

В небе — звезды, в поле — мята,  
В женском сердце — ерунда.  
«Хороши наши ребята,  
Только славушка худа!»

\* \* \*

Чай пила, когда не помню,  
Ела щи, не знаю где...  
Мы живем, не забывайте,  
В артистической среде.

\* \* \*

Под мостом струится Сена,  
Светит в небе Водолей...  
А признаться откровенно —  
Что нам Сена? Что мы ей?

\* \* \*

Наш подросточек упрямый  
Уж на что интеллигент,  
А плюет на папу с мамой  
За их бешеный акцент.

\* \* \*

Справа жены, слева детки —  
Очень грустный переплет.  
А душа, как чижик в клетке,  
Все мелодии поет...

\* \* \*

Если знать тебе охота  
Твою горькую судьбу,  
Не читай мне «Дон-Кихота»,  
А читай «Мою борьбу».

\* \* \*

Ты не верь в мечты и планы  
И в склоненье слова «честь»,  
А ты верь в аэропланы,  
Если только они есть.

\* \* \*

Ноет кость от ревматизма,  
В грустных мыслях ерунда...  
А в душе от романтизма  
Не осталось ни следа.

\* \* \*

Говорил Макиавелли,  
Все старался учесть,  
Что семь пятниц на неделе —  
Это минимум и есть.

\* \* \*

Черт до слез теперь хохочет,  
Видя пошлый этот свет:  
— Сталин делает что хочет,  
А блюдет нейтралитет.

\* \* \*

Дело требует сноровки,  
А сноровка — Божий дар.  
...В общем, плачет по веревке  
Наш народный комиссар.

\* \* \*

Одержимая их банда  
Свирепеет день от дня.  
...По-немецки — пропаганда,  
А по-нашему — брехня.

\* \* \*

— Как хотите, воля ваша, —  
Молвит щука осетру.  
— Не завидую, мамаша,  
Я Адольфу Гитлеру.

\* \* \*

На горе стоит аптека,  
Но не в том, конечно, суть...  
А такого человека  
Только в прорубь и толкнуть!



## Афоризмы из цикла «Тьмы низких истин»

Не откладывайте на завтра то, что вы можете положить сегодня.

От труда на бирже до биржи труда — один шаг.

— Зачем тебе шляпка, когда сама Истина и та голой ходит?

— Веществ много, а обменять их не на что!..

Обидно, когда горький хлеб изгнания и тот дорожает.

Эмигрантская эпитафия:

«Не дождавшись братства народов, умер под забором».

Не до аперитиву, быть бы живу!..

Если бы мыльные пузыри лопались, как банки, то мыла не хватило бы.

Банк — теория относительности.

Тюрьма — теория вероятности.

**Б**ухгалтерия двойная, а камера одиночная.

**Р**асходы сокращаются, и мы сокращаемся вместе с ними.

**О**т судьбы и от трубы не уйдешь!

**В**осстановление России начнется с перекраски вывесок и переименования улиц.

**С**начала народ безмолвствует, потом становится под знамена, потом в очередь, потом — опять под знамена и потом снова безмолвствует.

**И**сторический роман — это четыреста страниц убористого шрифта и клевета на мертвых.

**Д**остаточно и трех пальм, чтобы почувствовать себя в оазисе, и достаточно одного дурака, чтобы почувствовать себя в пустыне.

**В**сякое воровство требует ловкости, и только литературное — наглости.

**У**грызению совести научиться невыносимо.

**Н**ичто так не помогает повторять географию, как извержения вулканов и землетрясения.

**Л**учше быть относительно правдивым, чем приблизительно честным.

**Р**азрешение публиковать мемуары только после смерти автора основано на том, что покойники со своими знакомыми все равно не раскланиваются.

**Н**ичто так не помогает дружбе, как близорукость, и ничто так не вредит любви, как дальнорукость.

**Н**ичто так не будит мысль, как похоронное объявление.

# Афоризмы из цикла «Новый Козьма Прутков»

## ПРОБИРНАЯ ПАЛАТКА

Бессмертный дух Козьмы Пруtkова!  
Ты ль, с бородавкой на щеке,  
Внушаешь им любое слово  
И в каждой явствуешь строке?!

Не ты ль замыслил, по порядку,  
И слух, и зренье усладить?  
Не ты ль Пробрирную Палатку  
В Париже вздумал возродить,

Чтоб все ушибы и увечья  
В карикатуре показать,  
Открыть фонтаны красноречья  
И необъятное объять?..

Не ты ли в бархатные кресла,  
Как в лоно горестных долин,  
Сажает старческие чресла,  
А сверху сыплешь нафталин.

Не ты ли, ради козней адских,  
Соединил, сопряг в одно  
Сиих действительных и статских  
И недействительных давно?

И вот они с дыханьем злобным  
Уже двенадцать лет подряд  
Каким-то голосом загробным  
В своем кликушестве утробном  
Шипят и шамкают: «Назад!»

И ты нашел мужей серьезных,  
Перипатетиков, скопцов,  
И пару кляч туберкулезных,  
И невоздержанных юнцов,

И, до забав отменно падох,  
Взболтал, взъерошил, разъярил,  
Поверг в истерику, в припадок  
И лбы им здорово набил!..

Но в исступлении великом  
И в одержимости своей  
Они кружатся в танце диком,  
В шаманской пляске дервишей.

И в парике бывлой завивки  
Ты смотришь вниз чрез облака  
И мыслишь: «Да!.. Вот это сливки,  
Вот это пенки с молока!..»

**В**ставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми.

**В** обществе друзей предавайтесь веселью откровенно и неумеренно.

В обществе врагов веселитесь тихо и про себя.

**Б**удьте милосердны не только к домашним животным, но и к животным вообще.

**Л**юбите ближнего как угодно, только не утомительно.

**В** погоне за главным не пропустите второстепенного!

Не учите всех уму-разуму, помните, что и сумасшедший своим умом живет.

Выходя из себя, не забудьте вернуться!

Не клянитесь письменно в вечной любви! Клянитесь устно...

Из чаши наслаждений пейте глотками, а вообще никакой другой посуды не употребляйте.

Не кладите зубы на полку, откладывайте их про черный день.

Старайтесь научиться только легкомыслию, благо-разумию вы все равно не научитесь.

Старайтесь казаться моложе, чем вы есть, но не моложе, чем о вас думают.

Неренесите мужественно зубную боль ближнего своего.

Улыбайтесь на всякий случай, случай всегда найдется...

Протягивая руку помощи, не сжимайте ее в кулак.

Не имейте вида собственного памятника, воздвигнутого усердием почитателей!

**Е**жедневное творчество — это не только бессознательный процесс, но и гонорар тоже.

**И**з столкновения мнений, может быть, и рождается Истина, но зато с какой же шишкой на лбу!..

**О**ля того чтобы стать плодовитым писателем, необходимы два условия: не страдать — ни боязнью пространства, ни водобоязнью.

**Н**ри желании и пафос можно капитализировать.

**С** фонтаном не спорят, его можно либо заткнуть, либо привыкнуть.

**Н**енавистью к большевизму можно было бы питаться бесконечно долго, если бы питание это не приобрело характера общедоступной столовки.

Когда посмотришь, кто и как ест с тобой рядом, аппетит пропадает.

**П**осле пяти рюмок коньяку француз переходит на минеральную воду, а русский — на «ты».

**Н**ичто не требует столь повышенной осторожности, как помощь ближнему.

Ибо душить человека в объятиях надо тоже умеючи.

**С**кажи мне, с кем ты раззнакомился, и я скажу, кто ты таков.

**С**амые жуткие люди — это те, которые говорят на одной ноте, не повышая и не понижая голоса.

Неразговорчивый собеседник может довести до отчаянья, словоохотливый — до преступления.

Надгробную речь лучше всего начинать словами: «Слезы мешают мне говорить...»

Потому что известное выражение «Я не оратор» было бы куда уместнее в устах самого покойника.

В эмиграции нет даже воображаемой оси, а она все-таки вертится.

Безграмотность уже тем хороша, что она хоть не декламирует.

Про человека, бросившегося под поезд, можно с уверенностью сказать, что если ему и наскучила железная дорога, то не только она одна.

Если бы все «мысли вслух» высказывались про себя, то грохот автобусов был бы еще несноснее...

Люди делятся на квадратных и овальных.  
С квадратными — надежнее, с овальными — уютнее.

С каждой осенью Цех молодых поэтов становится старше.  
В этом польза осени.

Невозвращенцами называются люди, которые так наездили, что уж и вернуться не на что.

Осень — это такое время года, когда даже веснушки проходят, а франко-советские переговоры все продолжают.



**Л**етом — репарации, осенью — платежи.

**Б**едный Макар до того приспособился, что сам, подлец, на шишках валяется.

**К**то летом поет, тот осенью свистит.

**Э**миграция живет не от капитала, а от оборота.

**О**тчего родители не понимают детей?

Не оттого ли, что дети разучились говорить по-русски, а родители не научились говорить по-французски?..

**И**з двух идущих на пари рискуют оба: один — что он проиграет, другой — что ему не заплатят

**Т**олько человеку, лишенному воображения, и можно давать взаймы.

Ибо он, по крайней мере, не представляет себе, что не отдать — это тоже выход.

**А**велью только сочувствуют, а про Каина даже поэмы пишут.

**Н**е преувеличивай заслуг покойника, ты его не воскресишь.

И наипаче не преувеличивай заслуг юбиляра, ты его утроишь.

**О**казывается, что слово «трест» происходит от глагола «трещать».

**У** фальшивомонетчиков есть одна хорошая черта:  
— Они не ищут популярности.

**Ж**уликов много, дураков мало, потому такая и идет борьба за существование...

**К**огда говорят, что на бедного Макара все шишки валятся, то забывают, что при умении можно и шишками спекулировать...

**В**се возможно...  
Возможно и то, что грядущим поколениям даже и наша судьба покажется заманчивой.  
Ибо окажется, что мы присутствовали всего-навсего при конце капитализма, а их под конец социализма утраздило попасть.

**О**тделаться от ближнего своего можно только двумя способами:  
— Либо отказать ему в помощи, либо помочь.

**О**тказывать легче всего по телефону.  
Помогать — тоже...

**У**иник — это тот, который дает, но морщится.  
Скептик — это тот, кто не морщится, но дает.  
И только стойк и не дает, и не морщится.

**Е**сли бы мы знали все, что о нас будут говорить, когда нас не будет, нас бы уже давно не было...

**Е**сли долго поступать по-свински, то в конце концов можно устроиться по-человечески.

**Р**ассчитывать на чудо — это значит погибнуть, но преждевременно.

**С**очувствие — это равнодушие в превосходной степени.

**В**осьмичасовой рабочий день — это уже не столько идеал для тех, кто работает, сколько для тех, кто не работает.

**Т**олько тогда и имеет смысл делать долги, если делать их в государственном масштабе.

В противном случае их надо платить.

**Ч**еловек со вкусом может с годами и притупить свой вкус.

Поэтому удержаться на высоте может только человек, лишенный вкуса.

**Н**еповторима не только первая молодость, но — улы! — и вторая.

**Ч**уткие натуры всем сострадают, но всех переживают...

**М**рын-трава и зимой растет.

**К**огда на перемене обстановки настаивает врач — это еще полбеда.

Беда — когда на этом же настаивает судебный пристав.

**Е**сли бы все уезжали на отдых одновременно, отдохнуть нельзя было бы!

Несколько искренних любителей природы могут общими усилиями любой пейзаж испортить.

Сидеть на берегу тихого озера и кидать камушки в воду, хотя это и успокаивает, может надоесть.

Если бы под рукой были не камушки, а добрые знакомые, это и не надоело бы, и успокоило бы...

Не преувеличивай значения дружбы — это уменьшает число друзей.

Если ты хочешь вечной любви, не доводи ее до апогея.

Честность с собой — это понятие абсолютное.  
Честность с другими — понятие относительное.

Нытай дружбу каленым железом, но не испытывай ее благородным металлом.

Законченных идиотов хоть показывать можно... но что делать с незаконченными?!

У круглого дурака может быть голова остроко-  
нечная.

После капитализма будет социализм, это ясно...  
Но где выход из социализма?

Если ты уже вынул человека из петли, то не толкай его в прорубь.

**Н**ичто так не зажигает толпу, как зажигательные бомбы.

**Р**еспублика — это очень часто монархия с пересадками.

**Н**е так опасно знамя, как его древко.

**Н**ри неустойчивом режиме и артиллерия имеет совещательный голос.

**С**о словом надо обращаться бережно, а с необдуманным — в особенности.

**Е**сли тебе случится выйти из себя — молчи.  
Выскажешься, когда вернешься!

**Е**сли вам окончательно нечего делать, отчего вам не сделаться душой общества?!

**Л**учше заложить оружие, чем сложить оружие.

**З**астенчивого человека везде затолкают — и в метро, и в Царствии Небесном.

**Л**учше родиться на всем готовом, чем в одной сорочке.

**П**очему все читают похоронные объявления и никто не читает лирических стихов?!

Легче верить в хронику происшествий, нежели в братство народов.

Ничто так не мешает хождению в народ, как трамвай.

Так принято: прежде чем отправиться в Вечность, человек заходит в Тупик.

Не желай смерти врагу своему.  
А просто попроси, чтоб его взяли живым на небо.

Пример оптического обмана:  
— Обмануть оптика.

Только в ресторане и можно найти общий язык, и то под хреном.

Распивочно и навынос — это значит до того пить, пока тебя не вынесут.

Аппетит приходит во время недоедания.

Если б Венера Милосская ела пирожки с капустой, она бы не стояла в Лувре!

Когда женщина падает в обморок, она знает, что она делает.

Молстяку не важно завоевать весь мир, ему важно потерять несколько кило.

**Е**сли б стрелку весов можно было бы перевести так же легко, как стрелку часов!

**П**ротивники большевизма не с тем не согласны, что Ленин умер, а с тем, чтоб его идеи жили.

**А**ристократическое происхождение — понятие условное.

Это только у слонов вся белая кость торчит наружу.

**И**з голосов, вопиющих в пустыне, можно тоже хор составить.

**Ч**тоб верить в свою звезду, не надо быть астрономом.

**М**ожешь быть мистиком, но не говори, что пощечина — это удар судьбы.

**«Х**орошо человеку быть одному...»

— Особенно в одиночной камере и пожизненно.

**А**льтруист хватается за соломинку, эгоист — за жену.

**К**огда у человека впереди одно только братство народов, значит, все остальное у него уже позади.

**О**птимисты уверяют, что недалеко то время, когда все гильотины будут переделаны на швейные машины Зингера.

А пессимисты уверяют, что недалеки те времена, когда все швейные машинки Зингера будут переделаны на гильотины.

От взаимного равнодушия погибнет не только мир, но и эмиграция тоже.

Шоколадные автоматы все равно что эмигрантские меценаты:

— Сколько ни дергай, не действуют!

Смысл долголетия в том и заключается, чтобы пережить своих кредиторов.

Вообще, если так будет продолжаться, то борьба за существование станет исключительно идейной...

Не посматривай на часы, когда тебе говорят о Вечности.

Напрасно ты думаешь, что камень, поставленный на могиле философа, — это и есть философский камень.

Не думай дурно о всех ближних сразу, думай по очереди.

Пессимизм — это обстоятельство времени, оптимизм — образа действия.

Когда про человека говорят, что он поседел на своем посту, то этим хотят сказать, что не место красит человека, а время...



**О** братстве народов не надо орать во все горло, а лучше говорить шепотом.

Потому что для народов это безразлично, а для горла вредно.

**К**огда человек начинает очень хмуриться, значит либо он действительно знаменит, либо действительно болен.

**В**ерх неудобства — это когда в душе еще романтизм, а в ноге уже ревматизм.

**Н**ичто так не укрепляет памяти, как чтение метрики.

**П**риличный человек если и совершит свинство, то молча.

**З**ато убежденная свинья без подходящей литературной цитаты никак уж не обойдется.

**Е**сли ты бываешь в доме раз в семь лет, то спрашивай предварительно, не переменилась ли хозяйка дома.

Потому что за семь лет жены меняются до неузнаваемости...

**У** прожигателей жизни нет времени подумать о безработных, зато у безработных найдется время подумать о прожигателях жизни...

**Н**ачинается с голодного марша, кончится похоронным.

Не зарывай таланты в землю — зарывай поклонников!

Иди в ногу с веком, но не утомляйся.

Самое прекрасное в человеке — это противоречие: голосует за социалистов, а верит в текущий счет.

Монархия бывает вначале, республика — в конце, и только анархия — всегда в антракте.

Лучше страдать от бессонницы, чем видеть во сне Клару Цеткин.

Юность довольствуется парадоксами, зрелость — пословицами, старость — афоризмами.

Ничего так не возбуждает страсти, как золото.  
И ничего так не успокаивает, как свинец.

Когда по лицу друга твоего пробегает тень, это значит, что он хочет отказать тебе.

Когда по лицу друга твоего пробегает сияние, это значит, что он понял, что ты не собираешься просить его.

История цивилизации показывает, что отношения между людьми зависят не только от путей сообщения, но и от количества пересадок.

Единственное неудобство тайных обществ — это то, что они явные.

**Н**ет ничего более утомительного, чем любовь к ближнему в международном масштабе.

**О**т молний есть громоотводы, от газов — противогазы, от холеры — сыворотки.

Но что придумано человечеством от недержания речи?!

**С**амая легкая должность — это переоценщика ценностей.

**П**ричин войны не бывает, бывают только последствия.

**В** состоянии добродушия составляй список врагов своих; в состоянии равнодушия составляй списки друзей.

**П**ри свободе печати можно писать о чем угодно, только не о графоманах, с которыми ты знаком лично.

**В** каждом булыжнике дремлют искры, надо только уметь их высечь.

**П**отенциальная подлость, как и скрытая теплота, проявляется тогда, когда температура доходит до точки кипения.

**П**оследнее слово принадлежит не оратору, а боксеру.

**С**меется тот, кто смеется без последствий.

**Т**олько такая трибуна, с которой сбросили оратора, и может называться свободной трибуной.

**В** результате обмена мнений выясняется не истина, а число пострадавших.

**«Т**оварищи, бросьте курить, ничего не слышно!»

**Т**олько находясь в большой толпе и понимаешь, что такое безлюдье.

**Н** прежде чем хлопнуть дверью, убедись в том, что она хлопает!

**Н**е ищи чертей в тихом омуте, они уже выехали!

**«М**олчите, проклятые струны!» можно сказать только басом. Если это сказать тенором, никто не поверит.

**Ч**еловек, которому нечего сказать, может говорить безостановочно.

**И**з двух зол принято выбирать меньшее, а уничтожать предпочтительно — большее.

**В** разговоре человека со своей совестью инициатива разговора принадлежит совести.

**С**трельба есть передача мыслей на расстоянии...

**Д**ля противников, находящихся в двух разных лагерях, труднее сговориться именно тогда, когда один противник находится в вооруженном лагере, а другой противник находится в концентрационном лагере.

**С**винья ничего не понимает не только в одних апельсинах, а в государственном праве тоже.

**Л**юби человечество сколько тебе угодно, но не требуй взаимности.

**Е**сли считать на пятилетки, то, действительно, не заметишь, как время летит!..

**В** конце концов, вся переоценка ценностей только к тому и сводится, что к переименованию улиц.

**Г**осударственный деятель должен постоянно сниматься, иначе его забудут.

**В**о времена Биконсфильда были бакены.  
Во времена Бисмарка были усы.  
Теперь пошли просто усики...

**Л**егкость в мыслях и камни в почках — вещи несовместимые.

**К**огда говорят о логике вещей, то имеют в виду только новые вещи, а не поношенные.

**К**ак бы твое положение ни было худо, утешайся тем, что международное положение еще хуже.

**И** в маленьком корабле может быть большая течь.

**Д**ля того чтобы стать настоящей душой общества, надо не щадить — ни души, ни общества.

Никто и никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину.

В неравном браке одна половина дражайшая, а другая — дрожащая.

Чем ночь темней, тем доллар ниже...

В игре на бирже есть три этапа: сначала — страх, потом — крах, потом — тупик.

Лучше заработать честным трудом много, чем честным трудом мало.

Ничто так не старит женщину, как возраст.

Ничто так не омолаживает, как расплата в старости за грехи в молодости.

В жару человечеству хочется, главным образом, прохладительных напитков, а не государственных переворотов.

Муднее всего уцелеть не в начале бескровной революции, а в конце.

На журавлей в небе работают утки на земле.

Ничто так не мешает видеть, как точка зрения.

**В**ерх невезения — пережить Октябрьскую революцию и умереть от солнечного удара.

**Е**сли бы у негров была пятилетка — на тропике Рака была бы тундра.

**К**огда братская могила роется в длину, она называется каналом.

**В**ожди исчезнут, термометры останутся.

**Е**сли бы Диоген вовремя женился, он бы не дошел до бочки.

**М**удрец верит в свет разума, дурак — в бенгальский огонь.

**Н**ародное творчество выражается не только в пословицах, но также и в виселицах.

**Ч**еловек вышел из обезьяны, но отчаиваться по этому поводу не следует: он уже возвращается назад.

**В**се вырождается... Когда-то народ требовал: «Хлеба и зрелищ!» Теперь он удовлетворяется хлебными карточками и контрамарками.

**Н**и одно движение не обходится без жертв, даже уличное.

**С**амый лучший двигатель — это самолюбие...  
Ни одной лошадиной силы, а какая мощь!

Прошлое принадлежит археологам, настоящее — спекулянтам, будущее — химикам.

Программа-максимум — сохраниться, программа-минимум — уцелеть.

Объявить себя гением лучше всего по радио.

Путь к забвению лежит через Триумфальные ворота.

Молодость стремится вдаль, зрелость — вширь, старость — вглубь.

О царских долгах еще Гамлет высказался:  
— Понять — простить!

Из любых деревень можно колхозы сделать, а особенно из потемкинских.

У людоедов можно карьеру сделать, но не в качестве старожилы.

Ничто так не приближает к смерти, как долголетие.

Верить в прогресс, конечно, можно, но очень настаивать не нужно.

В семье народов — не без уродов.



**У**душливым бывает не только газ, но и оратор.

**О** торжества великих идей доживут не пацифисты, но старожилы.

**Л**учше иметь длинную жизнь и короткий некролог, чем длинный некролог и короткую жизнь.

**Ж**ить надо не оглядываясь, но... озираясь.

**Ч**ем у человека задерживающих центров меньше, тем его периферия больше.

**Ч**тоб выиграть в лотерее, надо иметь не только удачу, но лотерейный билет тоже.

**Б**огатые люди ставят на лошадь, а бедные — на конину.

**В** молодости человек поет, в зрелости — напевает, в старости — скрипит.

**Ч**тобы погрузить человека в полную тьму, достаточно и одной светлой личности.

**С**о дня Октябрьского переворота прошло шестнадцать лет.

Это значит, что до нового переворота осталось на шестнадцать лет меньше.

Если иметь много вождей народа, можно возненавидеть радио.

Если управлять государством может кухарка, то маляр тем более.

В Германии четыре миллиона безработных; зато все они — арийцы.

Лучше вовремя отступить, чем не вовремя отступиться.

Важны не планы, а аэропланы.

Министр Геббельс исключил Генриха Гейне из энциклопедического словаря.

Одному дана власть над словом. Другому — над словом.

Быть целомудренным в словах и быть целомудренным на словах — вещи разные.

Если чужая душа — потемки, то кулак тем более.

Оскорбить действием может всякий, оскорбить в трех действиях — только драматург.

Чтоб устоять перед соблазном, необходимо одно из двух: либо присутствие духа, либо отсутствие вкуса.

**О**т принятого решения тем приятнее отказаться, чем оно тверже.

**С**мягчающим вину обстоятельством может быть только легкомыслие, но ни в коем случае не глубокомыслие.

**Е**сли в тебя вселился бес, потеснись и дай ему место.

Сначала будет тебе тесно, а потом станет тесно бесу.

**О**чарование начинается с главного, разочарование — с пустяков.

**Р**аскаяться никогда не поздно, а согрешить — можно и опоздать.

**Л**учше остановиться на многоточии, чем постепенно дойти до точки.

**В** братской могиле все люди — братья.

**В**о время гражданской войны история сводится к нулю, а география — к подворотне.

**И** тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.

**К**огда правительство объявляет себя хозяином положения, то ни хозяйству, ни положению завидовать не следует.

**Б**росить в женщину камнем можно только в одном случае:

— Когда это камень чистой воды.

**Л**огика вещей требует заключения.

Особенно когда речь идет о заключении в тюрьме и о вещах украденных.

**В** начале бе слово.

За исключением последнего слова подсудимого.  
Которое было в конце.

**Н**реступник, убежденный в безнаказанности, в конце концов, страдает за свои убеждения.

**Е**сли тебе предложат на выбор братство народов или дешевизну продуктов, соглашайся на дешевизну продуктов.

**У** электрического общества есть тоже идея-фикс: кто не платит, тому не светят.

**И** оципанная курица принадлежит к царству пернатых.

**Л**ожь — искусство, сплетня — ремесло.

**Н**ичто так не возбуждает подозрительности, как молитвенное выражение глаз.

**О**билие светлых личностей объясняется исключительно недостатком очевидцев.

**К**огда хотят дать взятку, то лучше всего объясняться знаками и лучше всего — денежными.

**П**одходящая надпись для крематория:  
— «Мой костер в тумане светит...»

**П**роще всего — это биография алкоголика:  
— Всю жизнь распивочно, а потом навынос.

**Н**е так опасна преждевременная старость, как запоздалая молодость.

**Б**арахтаться — это и значит жить полной жизнью!

**В** двух случаях директора банка одинаково трудно видеть:  
— Когда банк платит и когда банк не платит.

**Л**учше остаться человеком, чем выйти в люди.

**К**огда люди не сходятся в главном, они расходятся из-за пустяков.

**П**редложить вместо любви дружбу все равно что заменить кудри париком.

**М**юрьма имеет то преимущество, что никто не спрашивает: куда вы едете?

**С**плетничают те, у кого нет личной жизни, и по адресу тех, у кого есть личная жизнь.

**И** деревянные мозги могут обладать железной логикой.

**Е**сли бы не было книгопечатания, не было бы и клеветы в печати.

**Чтобы** выжить из ума, необязательно быть старожилом.

**Отсутствие** фантазии:  
— Родиться Гольденбергом и назваться Леви.

**Д**евушка, прозевавшая несколько партий, считается беспартийной.

**Н**ехорошо, когда вино ударяет в голову вместе с бутылкой.

**Н**ет большего прожигателя жизни, чем заведующий крематорием.

**К**огда все население готовит на примусах, то жизнь проходит в сплошном утаре.

**Н**акты начинаются с рукопожатия, факты — с мордобития.

**С**амый сокращенный путеводитель по Европе — это постановление о высылке.

**И** из вегетарианца можно котлету сделать.

**Ч**тобы сделаться вождем народа, надо обладать всеми чувствами, кроме чувства юмора.

**Д**ля памятников нужны герои, для отвинчивания памятников нужна толпа.

**Л**учшее средство утопить утопающего — это бросить ему якорь в голову.

**Н**аходиться все время на краю пропасти — это еще не значит иметь постоянный адрес.

**Д**ля того и дается последнее слово подсудимым, чтобы расправиться со свидетелями.

**О**дна точка зрения может закрыть весь горизонт.

**О**т твердого решения тем легче отказаться, чем оно тверже.

**Ц**итаты не только выражают чужую мысль, но и прикрывают наготу собственной.

**Н**ет ничего труднее, как выйти в люди и остаться человеком.

**Ж**изнь начинается криком и кончается стоном.

**Н**редков вешают на стене, а современников — где попало.

«Книги имеют свою судьбу».

Это значит, что книги, взятые для прочтения, обратно не возвращаются.

Легче быть рабом идеи, чем господином слова.

И переименование улиц есть переоценка ценностей.

Причины приводят к вождям, вожди — к последствиям.

Реки впадают в море, люди — в отчаянье.

Словом можно обидеть, словарем — ушибить.

Чтобы жить припеваючи, не надо быть тенором.

Пока дурак не докажет противного, он считается крутым.

Вождь выходит из народа, но обратно не возвращается.

Все в мире относительно:  
Обеспечьте собаке собачью жизнь, она счастлива будет!

Трудно жить полной жизнью на пустой желудок.



**Ч**еловек, который в такой степени вышел из себя, что обратно уже не вернулся, называется невозвращенцем.

**С** юридическим лицом на «ты» не выпьешь.

**И**деальный случай — когда автор хладнокровен, сюжет полнокровен, а критик малокровен.

Неизмеримо хуже, когда происходит наоборот: автор поражает полнокровием, сюжет — малокровием, а критик — хладнокровием.

**С** великих людей снимают маску после смерти, потому что ее не удалось сорвать с них при жизни.

**Ч**еловек, который приходит без приглашения, либо фаталист, либо свинья.

**Ж**енщина бальзаковского возраста — это такая женщина, которая еще помнит Бальзака.

**В** советской России вся жизнь проходит в сплошном утаре, потому что все сплошь готовят на примусах.

**Ч**тобы дожить до торжества идей, надо за них умереть.

**В**ерх невезения:  
— Сидеть на иголках и кашлять.

**П**осле обильной выпивки французы переходят на соду, а русские — на «ты».

Для того чтобы выжить, надо пережить.  
А для того чтобы пережить, надо пожить.  
А для того чтобы пожить, надо выжить.

Многолюб, которого не накрыли, называется однолюбом.

Когда женщине сорок с хвостиком, то она и вертит хвостиком.

В эмиграции сначала так:  
— Имею двести тысяч, ищу компаньона.  
А потом так:  
— Разыскиваю компаньона и мои двести тысяч...

Легче осмыслить чужую смерть, чем понять чужую жизнь.

Можно и не имея голоса жить припеваючи...

Сила воли необходима в двух случаях: во-первых, чтоб принять решение, во-вторых, чтоб его не выполнить.

Лучше быть рабом привычек, чем пленником иллюзий.

Когда душа ближе всего к земле?  
— Когда она уходит в пятки.

Про каждого человека можно написать роман, но не каждый человек заслуживает некролога.

**К**огда люди живут долго вместе, они становятся похожи друг на друга и мало — на самих себя.

**Е**сли бы у Гитлера было чувство юмора, он бы уже давно повесился.

**Ч**тобы прослыть глубокомысленным, надо долго хмуриться.

**Ч**еловека, который ясно видит, что он ошибся, называют ясновидцем.

**У**бийственна не бездарность, а спрос на нее.

**С**частливым называется такой брак, в котором одна половина храпит, а другая не слышит.

**В**ерх карьеризма, это — мечта мухи, чтоб из нее слона сделали.

**П**ризнание приходит поздно, склероз — рано.

**У**отзывчивых людей один недостаток: их никогда нет дома.

**И**спорченные дети говорят, что любят папу с мамой, а честные — трубочки с кремом.

**Л**учше иметь связи в сферах, чем в стратосферах.

**Х**удший вид остряка — это остряк-самоучка.

**С**тоик верен своей жене, циник — чужой, эпикуре-  
ец — обеим.

**В**ерх невезения:  
— Быть спущенным с лестницы и не успеть хлопнуть  
дверью.

**Ч**еловек с навязчивой идеей — это такой идейный  
человек, от которого не отвяжешься.

**М**ронная речь Сталина:  
— Пошли вон, дураки!..

**В**ерх противоречия: очутиться в пиковом положе-  
нии и чувствовать себя козырем.

**Ф**илософия брака: кратчайшее расстояние между  
точками есть развод.

**Д**войная бухгалтерия — это смотреть на звезды, а  
считать доллары.

**Ч**тоб прослыть ясновидцем, предсказывай будущее  
на сто лет вперед.

**Ч**тоб прослыть глупцом, предсказывай его на завтра.

**Н**арисовать новую карту Европы может только ма-  
ляр.

**Е**сли иметь подходящий народ, можно сделаться во-  
ждем народа.

**Н**ока истина не стала прописной, за нее страдают, а когда она прописная, ею жонглируют.

**Л**егче утробить живого, чем воскресить мертвого.

**Н**икто так не ценит свободы печати, как графоман.

**К**огда оптимиста вынимают из петли, он даже не удивляется.

**Н**окойник и похоронное объявление, это — факт и реклама.

**К**огда вождю ставят памятник про жизни, то для того, чтоб поторопить его.

**Т**рудно уцелеть не столько в начале революции, сколько в конце эмиграции.

**Ч**еловек, которому некуда бежать, называется беженцем.

**В**ерх жестокости: поймать человека, страдающего тиком, и запретить ему моргать.

**А**рийский параграф: прежде чем отправиться к праотцам, убедись, что они не евреи.

**В**ерх популярности — это когда весь мир ненавидит одного человека.

В Германии есть два лагеря: один вооруженный, другой концентрационный.

Вожди подобны бомбам: они падают сверху.

Примечание к Майн Риду:  
Если Гитлер — охотник за черепами, то Муссолини — всадник без головы.

Итальянская версия:  
— Договор с Германией — это самоубийство с целью грабежа.

Вот что происходит в Италии: итальянцы убивают итальянцев.

Итальянцы убивают итальянцев, итальянцы убивают итальянцев.

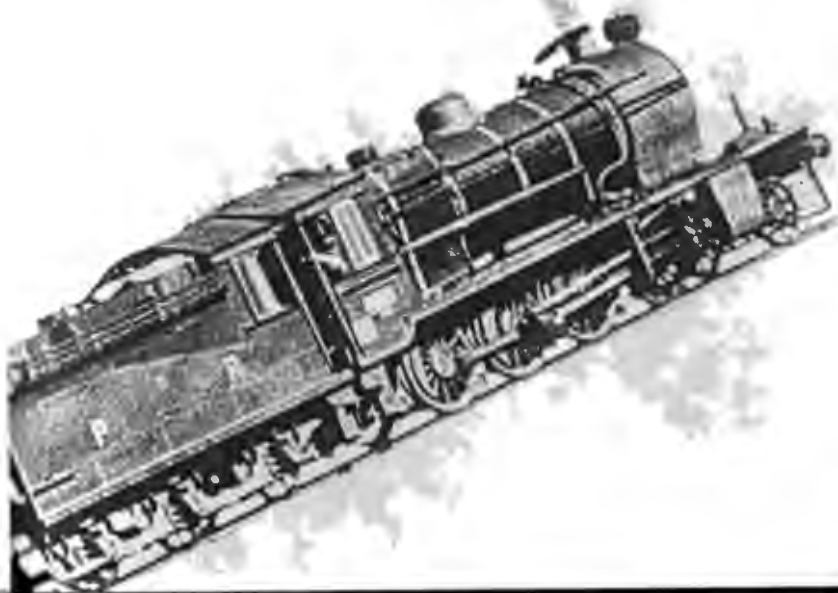
Вот что происходит в Италии: итальянцы убивают итальянцев.

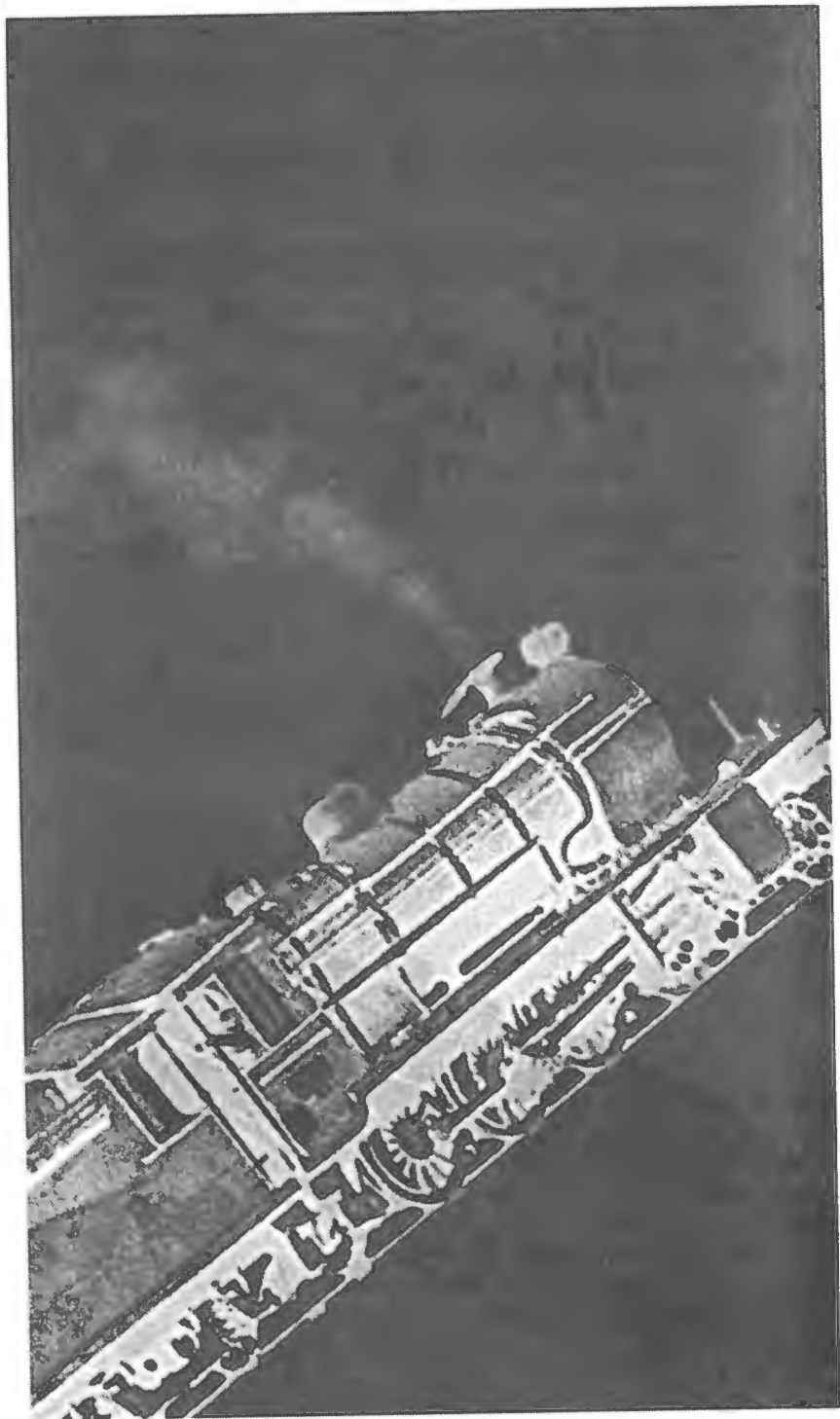
Итальянцы убивают итальянцев, итальянцы убивают итальянцев.

Итальянцы убивают итальянцев, итальянцы убивают итальянцев.

Итальянцы убивают итальянцев, итальянцы убивают итальянцев.

Поезд  
на третьем  
пути







\* \* \*

Кроме портовых босяков

и колоратурных сопрано, были в Одессе свои любимцы, знаменитости и достопримечательности, которыми гордились и восхищались и одно упоминание о которых вызывало на лица неподдельную патриотическую улыбку.

Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво.

Пивная помещалась в центре города, на Дерибасовской улице, окружена была высоким зеленым палисадом и славилась тем, что гостю или клиенту ни о чем беспокоиться не приходилось, старый на кривых ногах лакей в кожаном фартуке наизусть знал всех по имени и знал, кому, что и как должно быть подано.

После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты и где красному вину удельного ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться черным пенистым пивом.

Сухой, стройный, порывистый, как-то по-особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санчо Панса, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио — художники Буковецкий, Дворников и Заузе — составляли, казалось, одно целое и неделимое; и не успевал переступить порог по-

пулярный в свое время А. М. Федоров, поэт и беллетрист, как Бунин, обладавший совершенно недюжинным, совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мимической, начинал уже подбираться к намеченной жертве:

— Александр Митрофанович, будь другом, расскажи еще раз, как это было, когда ты сидел в тюрьме, я, ей-богу, могу двадцать раз подряд слушать, до того это захватывающе интересно...

Федоров, конечно, не соглашался и «за ложную стыдливость, каковой всегда прикрывается сатанинская гордость», немедленно подвергался заслуженному наказанию.

Карикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна.

Этот дар интонации, подобный его дару писательства, невзирая на смелость изобразительных средств, не терпел ни одной сомнительной, неверной или спорной ноты.

Переходя на тонкий тенор, острый, слащавый и пронзительный, Бунин обращался к воображаемой толпе политических арестантов, которых вывели на прогулку, и, простирая руки в пространство, в самовлюбленном восторге, долженствовавшем быть благовестом для толпы, кричал иступленным уже не тенором, а вдохновенно-фальшивым фальцетом:

— Товарищи! Я — Федоров! Тот самый... Федоров!.. Я — вот он, Федоров!..

Присутствовавшие надрывали животики, Бунин театрально отирал совершенно сухой лоб, а виновник торжества подносил своему палачу высокую кружку пива и, криво усмехаясь и заикаясь, говорил:

— А теперь, Иван, изобрази Бальмонта — «и хохот демона был мой!».

Но этот маневр диверсии не всегда удавался, тем более что пародию на стихи Бальмонта, где каждый куплет кончался рефреном «И хохот демона был мой!» — во всяком случае немислимо было воспроизводить у Брунса, где было много посторонней публики, не всегда способной оценить некоторые свободололюбивые изыски бунинской пародии...

\* \* \*

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кофейное заведение Либмана — все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, которую французы называют:

— Dix-neuf cents... La belle époque!<sup>1</sup>

Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноречивым, но в космополитизме своем по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением.

Жест в этом городе родился раньше слова.

Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке — если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.

А приблизительный заключался в том, что настоящее кофе со сливками можно пить только у Либмана, чай с пирожными лучше всего у Фанкони, а самые красивые в мире ножки принадлежат Перле Гобсон.

Чтоб не томить воображение, скажем сразу, что Перла Гобсон была мулаткой и звездой «Северной гостиницы».

Каковая «Северная гостиница» ничего диккенсовского в себе не заключала, никакой мистер Пиквик никогда в ней не останавливался, а принадлежало это скромное название всего только кафешантану, но, конечно, первому в мире.

За столиками «Северной гостиницы», в зале, расписанном помпейскими фресками, или приблизительно, можно было встретить всех тех, кого принято называть «всей Одессой».

Богатые, давно обрусевшие итальянцы, которым почти целиком принадлежал Малый Фонтан с его мраморными виллами и колоннадами; оливковые греки, торговавшие рыбой и сплошь называвшиеся Маврокордато; коренные русские помещики, по большей части с сильной хохлацкой прослойкой; евреи, обросшие семьями, скупщики зерна и экспортеры, и среди них герои и действующие лица «Комедии брака» Юшкевича; морские офицеры

<sup>1</sup> Девятисотые годы... Блестящая эпоха!

в белых тужурках с черными с золотом погонами, со сдержанным достоинством оставлявшие кортики в раздевалке; несколько кутящих студентов в мундирах на белой подкладке, лихо подъезжавших в фазтонах на дутиках; и, наконец, два аборигена, два Аякса, два несравненных одесских персонажа, которыми тоже немало и с трогательным постоянством гордилась южная столица.

Одного звали Саша Джигелли, другого Сережа Уточкин.

Отсутствие отчеств нисколько не говорило о недостатке уважения, скорее наоборот: это было нечто настолько свое, настолько родное и близкое, что как же их было называть иначе, как не сокращенными, милыми, домашними именами?!

За что ж их, однако, любили и уважали?

Никаких подвигов Саша Джигелли не совершил, ничего такого не изобрел, не выдумал, никаких ни военных, ни гражданских доблестей не проявил.

Но настолько был миленький, красив и лицом и движениями, настолько приятен, и в таких гулял умопомрачительных, в складочку выутюженных белых брюках с обшлагами, и такие носил, душка, гетры на желтых штиблетах с пуговицами, и портсигар с монограммой, и тросточку с набалдашником, и шляпу-панаму, а из-под шляпы взгляд темно-бархатный, что ходили за ним по Дерибасовской, как за Качаловым на Кузнецком Мосту, толпы поклонниц, вежливо сказать, неумеренных, а честно сказать — психопаток.

А сам он только щурился и улыбался, и все дымил папиросками, по названию «Графские».

А что про Сашу Джигелли друг другу рассказывали и всегда по секрету, и каких только ему не приписывали оперных примадон, драматических гран-кокетт, львиц большого света и львиц полусвета, хористок, гимназисток, белошвеек и епархиалок, — списку этому и сам Дон Жуан мог позавидовать.

Надо полагать, что в Одессе, как и в Тарасконе, была манера все преувеличивать, но, преувеличивая, делать жизнь краше и соблазнительнее.

Несомненно, однако, и то, что, все равно, очищенная от легенды или приукрашенная, а биография Саши Жи-

белли еще при жизни героя вошла в историю города, и историей этой город весьма гордился, как до сих пор гордится Казановой Венеция...

И все же, в смысле славы, сияния, ореола — Сережа Уточкин был куда крупнее, значительнее, знаменитее.

И бегал за ним не один только женский пол, а все население, независимо от пола, возраста, общественного положения и прочее.

Красотой наружности Уточкин не отличался.

Курносый, рыжий, приземистый, весь в веснушках, глаза зеленые, но не злые. А улыбка, обнажавшая белые-белые зубы, и совсем очаровательная.

По образованию был он неуч, по призванию спортсмен, по профессии велосипедный гонщик.

С детских лет брал призы везде, где их выдавали. Призы, значки, медали, ленты, дипломы, аттестаты, что угодно.

За спасение утопающих, за тушение пожаров, за игру в крикет, за верховую езду, за первую автомобильную гонку, но самое главное, за первое дело своей жизни — велосипед.

Уточкин ездил, лежа на руле, стоя на седле, без ног, без рук, свернувшись в клубок, собравшись в комок, казалось, управляя стальным конем своим одною магнетической силой своих зеленых глаз.

Срывался он с лошади, разбивался в кровь; летел вниз с каких-то сложных пожарных лестниц; вообще живота своего не щадил.

Но чем больше было на нем синяков, ушибов, кровоподтеков и ссадин, тем крепче было чувство любви народной и нежнее обожание толпы.

В зените славы своей познакомился он с проживавшим в то время в Одессе А.И. Куприным.

Любовь была молниеносная и взаимная.

— Да ведь я тебя, Сережа, всю жизнь предчувствовал! — говорил Куприн, жадный до всего, в чем сказывались упругость, ловкость, гибкость, мускульная пружинность, телесная пропорциональность, неуловимое для глаза усилие и явная, видимая, разрешительная, как аккорд, удача.

Красневший до корней волос Уточкин только что-то

хмыкнул в ответ и, заикаясь, — ко всему он еще был заика, — уверял, что рад и счастлив и что очень все это лестно ему...

А что лестно, и в каком смысле, и почему, так и не договорил.

Потом где-то в порту долго пили красное вино, еще дольше завтракали в еврейской кухмистерской на Садовой и уже поздно вечером у Брунса, без конца чокаясь высокими кружками с черным пивом, окончательно перешли на «ты». — Куприн со свойственным ему добродушным лукавством и этой чуть-чуть наигранной, безразличной и звериной простотой, Уточкин, нервно двигая скулами, краснея и заикаясь.

Увенчанием священного союза был знаменитый полет вдвоем на одном из первых тогда самолетов. Вся Одесса, запрудившая улицы, конная полиция, санитарные пункты, кареты «Скорой помощи», невиданное количество хорошеньких, как на подбор, сестер милосердия с красными крестиками на белых наколках, подзорные трубы, фотографы, бинокли, рисовальщики, градоначальник, производивший смотр силам, стоя в пролетке, — и, наконец, не то вздох, не то крик замершей толпы и... — «белая птица, плавно поднявшись над городом, то исчезает в облаках, то снова появляется в голубой лазури», как вдохновенно писал местный репортер Трецек.

Впрочем, сами участники этой на шумевшей тогда прогулки, и А.И. Куприн, и Уточкин, подробно рассказали о своих воздушных впечатлениях на страницах «Одесских новостей».

Надо ли говорить, каким громом аплодисментов встретила Уточкина «Северная гостиница», когда чуть ли не на следующий день «король воздуха», как выражался неупокоившийся Трецек, осчастливил ее своим посещением?

Саша Джибелли поднес ему венок из живых цветов с муаровой лентой и соответствующей надписью древнеславянской вязью.

Два Аякса троекратно облобызались, оркестр сыграл туш, а когда Перла Гобсон, освещенная какими-то фиолетовыми лучами, произнесла по-английски несколько приветственных слов от имени дирекции кафешантана, энтузиазм публики достиг апогея.

Весь зал поднялся со своих мест, какие-то декольтированные дамы, не успев протиснуться к Уточкину, душили в своих объятиях сиявшего отраженным блеском Сапу Джибелли, а героя дня уже несли на руках друзья, поклонники, спортсмены, какие-то добровольные безумцы в смокингах и пластронах, угрожавшие утопить его в ванне с шампанским...

Положение спас С. Ф. Сарматов, знаменитый куплетист и любимец публики, говоря о котором одесситы непременно прибавляли многозначительным шепотом:

— Брат известного профессора Харьковского университета Опеньховского, первого специалиста по внematочной беременности!

Сам Сарматов был человек действительно талантливый и куда скромнее собственных поклонников.

Появившись на эстраде в своих классических лохмотьях уличного бродяги, оборванца и пропойцы, «бывшего студента Санкт-Петербургского политехнического института, высланного на юг России, подобно Овидию Назону, за разные метаморфозы и прочие художества», Сарматов, как громоотвод, отвел и разрядил накопившееся в зале электричество.

Немедленно исполненные им куплеты на злобу дня сопровождались рефреном, который уже на следующий день распевала вся Одесса:

Дайте мне пилота,  
Жажду я полета!..

Восторг, топот, восхищение, рукоплескания без конца.

Опять оркестр, и снова пробки Редерера и вдовы Клико то и дело взлетают вверх, к звенящим подвескам люстры, а на сцене уже, всех и все затмившая, шальная, шалая, одаренная, ни в дерзком блеске своем, ни в распутной заостренности непревзойденная, в платье «цвета морской волны», ловким, рассчитанным движением ноги откидывая назад оборки, кружева, воланы предлинного шелкового шлейфа, появляется М. А. Ленская, из-за которой дерутся на дуэли молодые поручики, покушаются на самоубийство пожилые присяжные поверенные и крепкой перчаткой по выбритым щекам днем, на Дерибасовской

улице, супруга официального лица публично бьет лицо по физиономии...

Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет — «Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».

Не только в самой столице, но далеко за ее пределами, всем южанам, как чеховским «бирюлевым барышням», давно известно было, что «Одесские новости» — это Эрманс, «Южное обозрение» — Исакович, а «Одесский листок» — Н.Н. Навроцкий.

А еще было известно, что недавней короткой славой своей «Одесский листок» обязан был самому Власу Михайловичу Дорошевичу, которого отбил у Навроцкого не кто иной, как Иван Димитриевич Сытин.

И не то что так, просто отбил, а чтобы поставить вдохновителем и главным редактором московского «Русского слова».

И все это, несмотря на происшедшее между ними в свое время, в самом начале века, недоразумение, или, как отвлеченно выражался Сытин, случай.

Замечательно и то, что оба рассказывали этот случай, каждый в свойственном ему стиле или манере, но по существу совершенно одинаково.

Что, вообще говоря, является большой редкостью, а в так называемой литературной среде тем более.

В сочной передаче Сытина история эта показалась нам особенно живописной.

А выслушали мы ее много, много лет спустя, в 1923 году, в марте месяце, и вот в этом самом городе Нью-Йорке.

Покойный Сытин вырвался из Москвы, получив миссию организовать грандиозную выставку советской живописи в Америке.

По ходу действия, как говорит Зощенко, советской живописью называлось все, что можно было найти наиболее выдающегося в петербургском Эрмитаже, в московской Третьяковской галерее и, разумеется, в частных коллекциях, ставших собственностью рабочих и крестьян.

Вся эта затея, как и предшествовавшие ей гастроли Московского Художественного театра, который на свой страх и риск возил из Москвы в Нью-Йорк один из самых



прославленных и влюбленных в свое дело импресарио, Л. Д. Леонидов, должна была закосневшую, окостеневшую в долларах буржуазию и ослепить, и оболванить.

После первой пятилетки, на шестой год Октябрьского переворота, надо было что-то предъявить, чем-то ударить в нос, какой-то показать товар лицом, снять его со старых дореволюционных складов, но пометить сегодняшним днем и заштемпелевать как следует — «Made in USSR», а там видно будет.

Чрез всесильного, губастого, слюняво-сговорчивого Луначарского, благодаря добрым друзьям, а также и бывшим метранпажам, удалось старику получить командировку и со свойственной ему неисправимой добросовестностью «выполнить и перевыполнить» сумбурную, сложную, неблагодарную задачу.

— Помилуйте, — рассказывал Сытин, — у меня ведь в Москве заложниками вся семья осталась, дети, внуки, да еще чудом удалось в деревне, под Москвой, весь мой церковный хор сохранить. Доказал им, голубчикам, что это дело вполне народное, и все мои певчие самые что ни на есть чистой воды мужики и крестьяне.

Ну вот, видите, и поверили, и на весь хор продовольственные карточки выдали. А я, конечно, один за все отвечаю и за всех ручаться должен. И за детей и внуков, и за хористов в хоре, и за наборщиков в бывшей моей типографии...

Так что соблюдать себя должен аккуратно, сами догадываетесь, — белого и черного не покупайте, да и нет не говорите.

...Не помню как, но беседа, естественно, перешла на недавнее, а в безвозвратности и неповторимости своей — уже стародавнее прошлое.

Кто-то из присутствующих, если не ошибаюсь, покойный А. Л. Фовицкий, стал расспрашивать о бывших русскословцах, имена которых знала вся грамотная Россия.

Разговор, разумеется, коснулся и Дорошевича.

Вспоминали его единственную в своем роде лекцию, в январе 18-го года, в переполненном до отказа цирке Никитина, на Садовой.

Все уже было кончено, свергнуто и коленом к земле придушено.

Россия полным ходом шла к военному коммунизму.

Надо было иметь много гражданского мужества, близкого к отчаянию, и много нерастраченного пафоса, и жгучей, невысказанной, неизжитой ненависти, чтоб в зиму 18-го года решиться на подобное выступление, прикрытое пестрой мишурой официальной темы:

«Великая французская революция в воспоминаниях участников и современников...».

Цирк был переполнен. Люди дрожали от холода, переминались с ноги на ногу, и от человеческого дыхания образовалось какое-то мутное марево, и в нем желтым неверным светом, то совсем потухая, то мигая, горели электрические лампочки.

Дорошевича встретили как надо: стоя, неистово аплодируя, но без единого слова, крика, неосторожного приветствия.

Он был в шубе, в высокой меховой шапке, чуть сутулый и сам высокий, уже смертельно желтый и обреченный, в неизменном своем с широким черным шнуром пенсне, которое он то снимал, то снова водружал на свой большой мясистый нос.

Он читал, то и дело отрываясь от написанного, по длинным, узким, на редакционный манер неразрезанным листкам бумаги, читал ровным, четким, ясным, порой глуховатым, порой металлическим, но всегда приятным для слуха низким голосом, без аффектации, без подчеркивания, без актерства.

Читал он, и, вернее, говорил, о событиях и вещах страшных, жутких, безнадежных, полных острого, вещего, каждодневного смысла.

За одни упоминания о подобных вещах и событиях в Москве, в январе 18-го года, у любых дверей вырастали латыши и китайцы преторианской гвардии.

И путь был для всех один: на Лубянку.

Все это понимали, чувствовали, ни с кем не переглядываясь, друг друга видели, лектор толпу, толпа лектора, и так в течение полутора или двух часов этого незабываемого вечера...

Через сравнительно короткий промежуток времени, в Крыму, от быстро развивавшейся болезни, от разжижения мозга, Дорошевич умер.

Закрыла глаза ему его молодая жена, красивая, жадная к жизни, актриса Ольга Миткевич.

У Гейне есть стихи, в переводе Вейнберга.

Стихи эти, вернее, две строчки из них, Влас Михайлович при жизни, с недоброй улыбкой любил декламировать.

Но та, кто всех больше терзала,  
И мучила сердце мое...

И, не кончив четверостишия, останавливался.

\* \* \*

На лекции Дорошевича, о которой вспомнил Фовицкий, Сытин не был, но, конечно, много об этом выступлении слышал, и тут-то, словно коснулись мы неких заповедных струн, старик расчувствовался, разошелся и сам предложил:

— А не хотите ли, я вам расскажу, как у нас с покойным Власом Михайловичем знакомство произошло?

Долго нас уговаривать не пришлось.

— Было это больше сорока лет тому назад, одним словом, в конце девяностых годов. Торговал я у Проломных ворот, имел свой ларь, как следует быть, железом окованный; и цельный день, с утра и до вечера, топтался на одном месте, чтоб, не приведи господи, покупателя не пропустить.

Ну, товар был у меня всякий, какой надо:

И «Миллион снов», новый и полный сонник с подробным толкованием; и «Распознавание будущего по рукам», хиромантией называется. Очень ходкая была книжка. И «Гадание на картах». И «Поваренная книга» — подарок молодым хозяйкам. И, конечно, четьи-минеи. И жития святых. И все такое прочее.

Ранняя московская осень в тот год была, как сейчас помню, ясная и тихая, с заморозками по утрам, от лотков на площади шел грибной дух, на всех куполах Василия Блаженного солнце играет, хорошая, господа, была жизнь, может, и несправедливая, а хорошая...

Ну, вот и подходит к моему ларю неизвестный мне молодой человек, на вид вроде семинариста, что ли, с лица

бледный, и не то белобрысый, не то рыжий, и еще к тому долговязый.

Чутьем чую, что никакой это не покупатель, а так, — как в картах, проходящая масть.

Ну, слово за слово, а он уж меня и по имени-отчеству величает, и все знает, пострел этакий, что я «Сонник»-то на свой страх и риск сам отпечатал, и вроде так издателем на обложке значусь.

И вынимает из-под полы тетрадь, в трубочку свернутую, и говорит — так, мол, и так, если желаете иметь весьма для вас подходящий товар, как раз к Рождеству, вещь очень чувствительная и задушевная, и у кого уютно слезу прошибет...

А настоящий читатель, небось сами знаете, любит под праздник всплакнуть маленько.

И так мы с ним, с долговязым, по душам разговорились, что, уж не помню как, а очутились через час-другой у Соловьева в чайной, в Охотном Ряду, сели у окна, под высоким фикусом, и стал я его поить чаем с бубликами, а он все свою бородавку указательным пальцем мусолит, машина в трактире гудит-надрывается, а он это папироской мне прямо в лицо дымит и всю свою тетрадь под машинный гул на полный голос читает.

Ну, что ж, не стану греха таить, был я тогда помоложе да покрепче, а может, тоже и глупее был, а только так меня от чтения его за душухватило и защемило больно, что уж не знаю как, а слезы по щекам, по бороде так и потекли струей.

И так он меня, подлец, растрогал и разнежил до крайности, что я ему тут же с места новенькую зеленую трешницу из-за пазухи вынул и на стол положил, и говорю ему — беру твою тетрадь, как есть в сыром виде, и давай, брат, по рукам, и вот тебе три рубля кровными деньгами на твое счастье и благосостояние...

А он еще ломается и говорит церковным басом, — за такие слезы можете и пятерку дать, не пожалеете.

В общем, поторговались мы с ним как следует и на трех с полтиной и покончили.

Забрал я у него тетрадь с сочинением и спрашиваю, а какую ж твою фамилию на обложке печатать будем? А он мне говорит — боже вас сохрани фамилию мою на облож-

ке печатать, а то меня из моего учебного заведения на все четыре стороны с волчьим билетом выгонят!

Ну, думаю, как хочешь, мне лишь бы книжонку к Рождеству выпустить, будет чем расторговаться на праздник.

И расстались мы по-хорошему, и больше я его и в глаза не видел. Исчез, словно корова языком слизала.

Старик остановился, вздохнул и, выдержав паузу, с чувством, толком и расстановкой преподнес нам свой заключительный эффект.

— Так можете вы себе представить, чем это все кончилось? Никогда в жизни не догадаетесь!

Уже вся книжонка в типографии, на Пятницкой, полностью отпечатана была, как зовет меня братьев Кушнеревых главный управляющий и говорит, змея, сладким голосом: «Что ж это вы, Иван Дмитрич, какую штучку придумали?! Николая Васильевича Гоголя святочный рассказ в печать сдаете?! И, так можно сказать, и глазом не моргнув?!»

Одним словом, что говорить, не помню, как я от управляющего на свет божий вырвался, как при всех наборщиках от стыда не сгорел, как с Пятницкой улицы до Проломных ворот дошел.

И. Д. развел руками и добродушно улыбнулся:

— Конечно, был я тогда совсем сырой и, правду сказать, еще по складам читал, а больше все на смекалку и природный свой нюх надеялся.

Ну, вот и попался, как карась в сметану, и поделом.

А Влас Михайлыч, царствие ему небесное, уже и в то время, это я еще в чайной Соловьева нутром почувствовал, показался мне человеком огромного будущего и в русском смысле, и в моем личном, и, как видите, предчувствие меня не обмануло, и его жизнь, и моя жизнь крепко были между собой связаны.

Это уж потом, много лет спустя, после случая с Гоголем, когда он гремел на Юге и молодая слава его доходила до Москвы, поехал я к нему в Одессу, сманивать от Навроцкого.

И сманул. И встретились мы, как старые друзья, и в большой компании, пред отъездом из Одессы, за отличным завтраком в Лондонской гостинице, Дорошевич, по

моей просьбе, рассказал — а рассказывать он был мастер — историю нашего знакомства, и посмеялись мы вдвоём и от всего сердца, а договор дружбы подписали на веки вечные...

Сытин остановился и добавил с грустью:

— И не наша вина, что недолгим оказался век и что и Россия не та, и «Русского слова» нет, и нет Дорошевича.

\* \* \*

«*Не* поймет и не оценит гордый взор иноплеменный...»

Ни взор, ни слух в особенности.

А музыки московских сочетаний на западный бемоль не переложить.

«Не уложить в размеры партитур пленительный и варварский сумбур».

Санкт-Петербург пошел от Невского проспекта, от циркуля, от шахматной доски.

Москва возникла на холмах: не строилась по плану, а лепилась.

Питер — в длину, а она — в ширину.

Росла, упрямилась, квадратов знать не знала, ведать не ведала.

Посад к посад, то вкривь, то вкось, и все вразвалку, медленно, степенно.

От заставы до другой, причудой, зигзагом, кривизной, из переулка в переулок, с заходом в тупички, которых ни в сказке сказать, ни пером описать.

Но все начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил.

Только вслушайся — навек запомнишь!

— Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка.

— Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка.

— Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка.

И еще не все: Швивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле.

— Арбат. Миуссы. Бутырская застава.

— Дорогомилово... Одно слово чего стоит!

— Охотный Ряд. Тверская. Бронная. Моховая.  
— Кузнецкий Мост. Неглинный проезд.  
— Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие пруды. Кудринская. Страстная, Красная площадь.

Не география, а симфония!

А на московских вывесках так и сказано, так на вечные времена и начертано:

— Меховая торговля Рогаткина-Ежикова. Булочная Филиппова. Кондитерская Абрикосова. Чайная-развесочная Кузнецова и Губкина. Хлебное заведение Титова и Чуева. Молочная Чичкина. Трактир Палкина. Трактир Соловьева. Астраханская икра братьев Елисеевых.

— Грибы и сельди Рыжикова и Белова. Огурчики нежинские фабрики Коркунова. Виноторговля Молоткова. Ресторан Тестова. «Прага» Тарарыкина.

— Красный товар купцов Бахрушиных. Прохоровская мануфактура. Купца первой гильдии Саввы Морозова главный склад.

И уже не для грешной плоти, а именно для души:

— Книжная торговля Карбасникова. Печатное дело Кушнерева. Книготорговля братьев Салаевых.

А там, за городом, за городскими заставами, будками, палисадами, минуя Петровский парк, — Яр, Стрельна, Самарканд.

Живая рыба в садках, в аквариумах, цыганский табор прямо из «Живого труп».

У подъездов ковровые сани, розвальни, бубенцы, от рысаков под попонами пар идет, вокруг костров всякий служилый народ греется, на снегу с ноги на ногу переминается.

Небо высокое, звездное; за зеркальными стеклами, разодетыми инеем, морозным узором, звенит музыка, поет Варя Панина, Настя Полякова, Надя Плевицкая.

Разъезд будет на рассвете. Зарозовеют в тумане многоцветные купола Василия Блаженного; помолодеет на короткий миг покрытый мохом Никола на Курьих ножках; заиграет солнце на вышках кремлевских башен.

И зелено-бронзовые кони барона Клодта над фронтоном Большого театра обретут свой четкий, утренний рельеф.

А на другом конце города, — велика, широка Москва,

все вместит, все объемлет, — за другими оградами, рогатками и заставами, от хмельного тяжелого, бредового сна проснется на жестких нарах по-иному жуткий, темный и преступный мир, тот самый Хитров рынок, который никем не воспет, хотя и весьма прославлен.

И, вот, поди, разберись!.. Москву, как Россию, не расскажешь, не объяснишь.

А только одно наверняка знаешь и внутренним чутьем чувствуешь:

— Петербург — Гоголю, Петербург — Достоевскому.

Болотные туманы, страшные сны, вещее пророчество:

Быть Петербургу пусту.

А грешной, сдобной, утробной Москве, с часовнями ее и с трактирами, с ямами и теремами, с нелепием и великолепием, темной и неумной, с Яузой, и Москвой-рекой, и с Замоскворечьем купно — все отпустится, все простится.

За простоту, за широту, за размах великий, за улыбку ясную и человеческую.

За московскую речь, за говор, за выговор.

За белую стаю московских голубей над червленим золотом царских теремов, часовенок, башенок, куполов.

А пуще всего за здравый смысл, а также за добродушие.

В Петербурге — съезишься, в Москве — размякнешь.

И открыл ее не Гоголь, не Достоевский, а стремительный, осиянный, озаренный Пушкин.

«Мое!» — сказал Евгений грозно,

И шайка вся сокрылась вдруг...

Шарахнулись в сторону, попятились назад и мертвые души, и бесы.

\* \* \*

Нрошумело столетие. И снова, в сотый раз, была зима и выпал снег.

Пред полотном Кустодиева замерла восхищенная толпа.

Во все глаза глядела на «Широкую Масленицу».

Мела метелица, и в снежном вихре взлетали к небу зеленые, красные, желтые, синие, одноцветные, разноцветные, сумасшедшей пестроты шары, надувные морские



жители, бенгальские огни, рассыпавшиеся звездным дождем ракеты и фейерверки; заливаясь смехом, с веселой удалю качались на качелях ядреные, белотелые, краснощекие, крупитчатые, рассыпчатые молодичи и молодухи, в развевавшихся на ветру сарафанах, платках, шалях.

Захватывая дух, стремглав летели с русских гор игрушечные санки, расписанные суриком, травленные сульфальным серебром, а в них в обнимку, друг к дружке прижавшись, уносились вниз счастливые на миг, навек пары; теснилась, толпилась, притоптывала, плясала, всюду гуляла масленичная толпа, в гуд гудели машины в тракторах, заливалась гармонь, надрывалась шарманка:

Крутится, вертится шар голубой,  
Крутится, вертится над головой.  
Крутится, вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украть.

И над всем этим кружением, верчением и мельканием, над качелями и каруселями, ларями, шатрами, прилавками и палатками, над толпой, над Москвой, над веселой гульбой, над снежной метелицей, в разрыве, в просвете синего неба церковной синевы, — в меховой высокой шапке, в бобровой шубе, огромный, стройный, ладный, живой, во весь рост стоял в молодой своей славе российский кумир, языческий бог — Федор Иванович Шаляпин...

Такой он и был, этот северный пролог, написанный Кустодиевым, таким он и остался в памяти.

\* \* \*

Обозрение театров приближалось к концу.

Апофеоз был в Камергерском переулке.

Камергерский переулок — Художественный театр.

Театр Станиславского, театр Немировича-Данченко.

Об этом написаны трактаты, мемуары, воспоминания, фолианты.

Поколение, которое доживает век, еще до сих пор ничего не забыло.

И когда за чашкой зарубежного чая собираются вместе в тесный, с каждым годом редеющий кружок, где-ни-

будь в Париже, в Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, у черта на рогах, то и дело слышишь:

— А помните в «Дяде Ване» удаляющуюся тройку и колокольчики за стеной?

— А как Артем на гитаре тренькал?

— А старика Фирса помните?

— А «На дне» Горького, помните, как говорил Барон, лежа на нарах, — в карете прошлого далеко не уедешь!

Как он это говорил!

— А кто играл Вершинина в «Трех сестрах»?

— Ну, Станиславский, конечно!

— Разве можно забыть, как он напевал вполголоса: «Любви все возрасты покорны...»

— А молодые поручики в белых кителях, Федотик и Родэ?.. Целовали ручки, щелкали фотографическим аппаратом и всех снимали, на память.

И полк уходил из города, и издали доносились звуки военного марша, и постепенно замирали, замирали...

— А помните, как играл Станиславский князя Обрезкова в «Живом трупе»?

— А Лилину помните?

— В большой гостиной, где диваны и кресла из карельской березы и все обито вялым лиловым шелком?

— А Москвин — Федя Протасов?

— Помните, как он лежал на тахте, закрыв лицо руками, а цыгане пели «Эх, не вечерняя, не вечерняя заря»?

— А как Качалов играл набоба Баста «У жизни в лапах»?

— А кто помнит Москвина в роли Федора Иоанновича? «Я царь или не царь?!»

— А как он изображал Кота в «Синей птице»!

— В черных бархатных сапогах, и такой ласковый, ласковый, и голос сладкий и вкрадчивый, а как был загроможден?!

— Помните, усы? Три волоска, как в струну вытянуты, и длинные-предлинные, три с правой стороны и три с левой!

— А «Miserege» помните? И музыку Ильи Саца?

— А в «Вишневом саду» декорации Добужинского?

— А «Месяц в деревне»?

— Зеленую лужайку, залитую солнцем. И легкие, белые занавески на окнах, которые от ветра колышались?

— А Вишневецкий в роли Бориса Годунова?

— А актрисы, актрисы? Книппер, Германова, Коренева?

— А Ликкиардопуло, неперемный грек, поэт, советчик, переводчик?

— А кто, господа, помнит, как чествовали Чехова?

— И как ему было стыдно и неловко. И как он, бедный, снимал пенсне, пожимал руки и покашливал?

— А как приезжал этот самый Гордон Крэг, и хотя и англичанин, а все время облизывался от восторга?

— А Сураварди? Верный индус Камергерского переулочка? Который привозил живого Рабиндраната Тагора, прямо из Индии в Художественный кружок?

— А помните? Помните? Помните?

Чай давно простыл и, несмотря на сладость воспоминаний, чувствовалась потребность в эпилоге.

— Притворяться нечего, все равно это новое поколение, идущее на смену, начиная от ловчил и доставал, вышколенных комсомольской муштрой, и кончая ватагой новоиспеченных французов, американцев и иных иностранных подданных, все равно молодое поколение усмехнется, как полагается.

— Усмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом...

Извиняться, однако, не будем, оправдываться не станем.

А в эпилоге воспоминаний были, всего-навсего, серые ботики Качалова...

Кто знал Москву описываемых лет, тот подтвердит и на суде покажет.

Так велико было поклонение, так неумеренно обожание, что толпой выходила молодежь, по преимуществу женская, в одиннадцатом часу утра на Кузнецкий Мост и терпеливо ждала.

Ибо известно было, что утреннюю свою прогулку, от Петровки до Лубянки, вверх по Кузнецкому, и по правой стороне обязательно, Василий Иванович Качалов совершает в начале одиннадцатого, а потом по Петровке, мимо

кондитерской Эйнема и большого цветочного магазина, сворачивает в Камергерский, на репетицию.

Ну, вот, и ждали.

И дождавшись, шли за ним.

За полубогом в меховой шапке, в серых ботиках, в отличной шубе.

На лошадях он не ездил, выпрягать было нечего.

Стало быть, ходить шаг за шагом, и хоть на приличном расстоянии, но все же в сиянии исходящих от полубога лучей, в ореоле немеркнущей всероссийской славы.

Качалов все это знал, терпел и, как уверяли девушки, даже улыбался порой.

Пролетали сани, то вверх по Кузнецкому Мосту, то вниз. Скрипел снег под ногами.

«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»...

И шагал он в серых своих ботиках, о которых на закате дней еще до сих пор вспоминают со вздохом пожилые психопатки, а может быть, и не психопатки, а неисправимые, чудесные, русские дуры, вечные курсистки, сохранившие в душе ненужную молодость и благодарную любовь.

Каждой эпохе свой кумир.

Кому — Буденный, кому — Качалов.

Изменить не изменишь, а меняться не станем.

И, усмехнувшись иной усмешкой, повторим вслед за Игорем Северяниным:

Пусть это все — игрушки, пустяки.

Никчемное, ненужное, пустое.

Что до того! Дни были так легки,

И в них таилось нечто дорогое...

\* \* \*

Москва жила полной жизнью.

Мостилась, строилась, разрасталась.

Тянулась к новому, невиданному, небывалому. Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.

С любопытством глядела на редкие лакированные автомобили, припершие из-за границы.

А сама выезжала в просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря, против которых как устоишь, не поддашься соблазну?

— Пожа-пожалте, барин! С Дмитрием поезжайте! Во как прокачу, довольны будете!

И все, как на подбор, крепкие, рослые, молодцеватые, кудрявые, бороды лопатой, глаза искры мечут, на головных уборах павлиньи перышки радугой переливаются, а на синем армяке, на вате стеганном, в складках, в фалдах, серебряным набором в поясе перехваченном, такого нашито, намотано, наворочено, что только диву даешься и сразу уважение чувствуешь.

Мережковский и Гершензон уж на что друг друга терпеть не могли, а в этом определении без спору сошлись.

Вот именно так, и никак не иначе:

— Византийский зад московских кучеров!

После этого и все остальное яснее становится.

И Сандуновские бани в Неглинном проезде, где на третьей полке паром парят, крепким веником по бедрам хлопают и из деревянной шайки крутым кипятком поливают, и выводят агнца во столько-то пудов весом, под ручки придерживая, и кладут его на тахту, на льняные простыни, под перинки пухлые, и квасу с изюминкой целый жбан подносят, чтоб отпить изволили, охладились малость, душу господу невзначай не отдали.

И трактир Соловьева, яснее ясного, в Охотном Ряду, с парой чаю на чистой скатерти, с половыми в белых рубашках с косым воротом, красный поясик о двух кистях, узлом завязанный, а уж угождать мастера, ножкой шаркать, в пояс кланяться, никакое сердце не выдержит, последний подлец медяшки не пожалеет.

Долго, степенно, никуда не торопясь, не спеша бессмысленно, а в свое удовольствие пьют богатыри извозчики, лихачи и троечники, и тяжелые ломовики-грузчики.

Полотенчиком пот утирают и дальше пьют, из стакана в блюдечко наливают, всей растопыренной пятерней на весу держат, дуют, причмокивают, сладко крикают.

А в углу, под окном, фикус чахнет, и машина гудит, жалобно надрывается.

— Восток? Византия? Третий Рим Мережковского?

Или державинская ода из забытой хрестоматии:

Богopodobная царевна  
Киргиз-кайсацкия орды...

А от Соловьева рукой подать в «Метрополь» пройти, — от кайсацких орд только и осталось что бифштекс по-татарски, из сырого мяса с мелко нарубленным луком, черным перцем наперченный.

А все остальное Европа, Запад, фру-фру.

Лакеи в красных фраках, с золотыми эполетами; метрдотели, как один человек, в председатели Совета министров просятся; во льду шампанское, с желтыми наклейками, прямо из Реймса, от Мозта и Шандона, от Мумма, от Редерера, от вдовы Клико, навеки вдовствующей.

А в оркестре уже танго играют.

Иван Алексеевич Бунин, насупив брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:

— Помяните мое слово, это добром не кончится!.. Через год-два так оно и будет.

Слишком хорошо жили.

И, как говорил Чехов:

— А как жили! А как ели! И какие были либералы!..

А покуда что, живи всюю, там видно будет.

Один сезон, другой сезон.

Круговорот. Смена.

Антрактов никаких.

В Благородном собрании музыка, музыка, каждый вечер концерт.

Из Петербурга приехал Ауэр.

Рояль фабрики Бехштейна. У рояля Есипова.

Играют Лядова, Метнера, Ляпунова.

К Чайковскому возвращаются, как к первой любви.

Клянутся не забыть, а тянутся к Рахманинову.

В большой моде романсы Глиэра.

Раздражает, но волнует Скрябин.

Знатный петербургский гость, солист Его Величества, дирижирует оркестром Зилоти.

Устраивает музыкальные выставки Дейша-Сионикская.

Успехом для избранных пользуется «Дом песни» Олениной д'Альгейм.

Через пятнадцать лет избранные переседут в Париж, а

студия Олениной д'Альгейм водворится в Passy, в маленьком особнячке, на улице Faustin-Hélie.

Театр, балет, музыка.

Художественные выставки, вернисажи.

Третьяковская галерея, Румянцевский музей, коллекции Щукина — все это преодолено, отдано гостям, приезжим, разинувшим рот провинциалам, коричневым епархиалкам, институтам благородных девиц под водительством непроницаемых наставниц в старомодных шляпках, с шифром на груди.

На смену пришел «Мир искусства», журнал и выставка молодых, новых, отважившихся, дерзнувших и дерзающих.

Вокруг них шум, спор, витии, «кипит словесная война».

Академические каноны опровергнуты.

Олимп не по себе.

Новые созвездия на потрясенном небосклоне.

Рерих. Сомов. Стеллецкий. Сапунов.

Судейкин. Анисфельд. Арапов.

Петров-Водкин. Малютин.

Миллиоти. Машков. Кончаловский.

Наталья Гончарова. Юон. Ларионов.

Серов недавно умер, но обаяние его живо.

Есть поколения, которым непочтительность не к лицу.

Продолжают поклоняться Врубелю.

Похлопывают по плечу Константина Коровина.

Почитают Бенуа.

А еще больше Бакста.

Написанный им портрет Чехова уже принадлежит прошлому.

Теперь он живет в Париже, и в альманахах «Мира искусства» печатаются эскизы, декорации к «Пизанелле» Габриеле д'Аннунцио.

В постановке Мейерхольда, с Идой Рубинштейн в главной роли...

Чудак был Козьма Прутков, презрительно возгласив, что нельзя объять необъятное.

И не только необъятное можно объять, а и послесловие к нему.

Вроде возникших в пику уже не многоуважаемой Третьяковской галерее, а самому «Миру искусства» — фу-

туристических выставок, где процветали братья Бурлюки, каждый с моноклем и задиры страшные.

А Москва и это прощала.

Забавлялась недолго и добродушно забывала.

Назывались выставки звонко и без претензий.

«Пощечина общественному вкусу».

«Иду на вы».

И «Ослиный хвост».

Во всем этом шумном выступлении была, главным образом, ставка на скандал, откровенная реклама и небольшое самолюбование.

Все остальное было безнадежной мазней, от которой и следа не осталось.

Но литературному футуризму выставки эти службу, однако, сослужили, явившись своего рода трамплином для будущих «свободных трибун», диспутов и публичных истерик.

Называли Бурлюков — братья-разбойники, но в арестантские роты своевременно не отдали, благодаря чему один из них благополучно эмигрировал в Нью-Йорк и в течение нескольких лет скучно лаял на страницах большевистского «Русского голоса», прославляя военный коммунизм и охаявая голодную эмиграцию.

Однако вернуться на советскую родину не пожелал, предпочитая носить свой революционный монокль в стране акул и свиных королей.

«Ослиный хвост» бесславно погиб.

Внимание москвичей на мгновение привлек приехавший из Швейцарии Жак Далькроза, выступивший с публичной лекцией по вопросу весьма насущному и для русской общественной жизни действительно неотложному.

«Ритмическое воспитание молодежи».

Лекция имела огромный успех, почему — до сих пор неизвестно. Тема была во всех смыслах актуальная.

Ибо российская молодежь была, как известно, всем избалована, привилегированные классы — теннисом и крикетом, и истрадавшие низы — стрельбой из рогатки и чехардой.

Но ритма, конечно, не хватало.

Устами Жака Далькроза античная Эллада заклинала Варварку и Якиманку скинуть тулупы и валенки и боси-



ком, в легких древнегреческих хитонах, под звуки свирели, начать учиться плавным, музыкальным движениям, хоровому началу и танцу.

Все это было в высшей степени увлекательно и настолько заразительно и почтенно, что после отъезда швейцарского новатора в Москве и Петербурге и даже в глухой, далекой провинции возникла настоящая эпидемия ритмической гимнастики, и те самые светлые девушки, которые задумчиво стояли на распутье, не зная, куда им идти — на зубоврачебные курсы или на драматические, сразу все поняли и стремглав пошли в босоножки.

А тут, как будто все было условлено заранее, на крыльях европейской славы прилетела Айседора Дункан.

На мощный, мускулистый, англосаксонский торс наугад были накинuty кисейные покровы, дымчатая вуаль и облачко легкого газа.

Под звуки черного рояля поплыло облачко по театральному небу, понеслась величественная босоножка по московской сцене, то воздевая к солнцу молитвенно протянутые руки, то, припав на одно колено, натягивала невидимый глазу лук, то, угрожая погрузиться в бездну, спасаясь от любовострастных преследований самого Юпитера.

После греческой мифологии был вальс Шопена.

Потом траурный марш Бетховена.

Испанские танцы Мошковского сменили скерцо Брамса.

А за сюитой Грига последовал «Умирающий лебедь», по поводу которого сатирическая «Стрекоза» неуважительно писала:

«Артистка ограничилась одним лебедем, в то время как при ее темпераменте и телосложении она смело могла бы заполнить собой все Лебединое озеро целиком...»

Публика, однако, была потрясена.

Московский успех затмил все, до той поры виденное.

И хотя поклонники классических традиций кисло улыбались, а присяжные балетоманы обиженно куксились и пожимали плечами, подавляющее, прилежное большинство пало ниц, и вернуть его к действительности было немыслимо.

Но все это было ничто по сравнению с успехом петербургским.

Аким Волынский неистовствовал.

Андрей Левинсон разразился таким панегириком, что спустя несколько лет сам не решился включить его в свой сборник статей, посвященных танцу.

А трогательный горбун, целомудренный Горифельд, талантливый и очень сдержанный литературный критик, откровенно признавался на страницах «Речи», что искусство Айседоры Дункан настолько совершенно, что чуткому зрителю даже аплодировать непристойно, ибо только слезами умиления может выразить он свой беспредельный восторг...

Кто мог предвидеть, что через десять лет после первого российского триумфа последует второй? И что принимать и приветствовать Айседору будет народный комиссар Луначарский.

И не в слезах умиления, а в пьяном бреду склонится перед постаревшей босоножкой буйная русая голова Сергея Есенина?

Сахарный паренек в голубенькой косоворотке увезет Ниобею за океан.

И после медового месяца в оплаченной Ниобеей «Астории» беспощадно изобьет ее и искалечит.

И не в состоянии объяснить свою нечеловеческую страсть и деревенскую любовь на высокомерном английском наречии, обложит ее непередаваемой русской балладой, тряхнет кудрями русыми и поплывет назад, в колхоз, в глушь, в Саратов.

Недаром декламировал Бальмонт по этому ль, по другому ль поводу:

Не кляните, мудрые! Что вам до меня?  
Я ведь только облачко, полное огня.  
Я ведь только облачко... Видите — плыву.  
И зову мечтателей. Вас я не зову...

Так оно и вышло, почти что по Бальмонту.

Прилетело облачко, налетел мечтатель.

А хохотал и скалил ослепительные зубы один Ветлугин, которого, остановившись в Берлине, Есенин пригласил на роль гида и переводчика на все время морганатического брака.

Хохотал потому, что автору «Записок мерзавца» вообще и всегда все было смешно.

А еще и потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил, и значит, опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в столь теплой, хотя и противоестественной компании, — это, сами согласитесь, не каждый день и не со всеми случается.

\* \* \*

Все, чем жила писательская, театральная и музыкальная Москва, находило немедленный отзвук, эхо и отражение в огромном раскидистом особняке купцов Востряковых, что на Большой Дмитровке, где помещался Литературно-художественный кружок, являвшийся тем несомненным магнитным полюсом, к которому восходили и от него же в разные стороны направлялись все центробежные и центростремительные силы, определяемые безвкусным стереотипом представителей, деятелей, жрецов искусства.

Кружком управлял совет старшин, скорее напоминавший Директорию.

Из недр этой директории и вышел первый консул, Валерий Брюсов.

Оказалось, что у первого консула есть не только имя, но и отчество и что именуют его, как и всех смертных, то есть по имени-отчеству, то есть Валерий Яковлевич.

Для непосвященного уха звучало это каким-то оскорбительным упрощением, снижением.

Низведение с высот Парнаса на обыкновенный, дубовый, просто натертый полотерами паркет.

А как же сияние, ореол, аура, золотой лавровый веночек вокруг мраморного чела?

И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова, который, хотя тоже оказался Вячеславом Ивановичем, но по крайней мере пребывание имел в башне из слоновой кости, где, окруженный толпою раскаявшихся весталок, так и начертил в своем знаменитом послании:

Мы два грозой зажженных ствола,  
Два пламени полунощного бора.  
Мы два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела!

А на поверку оказывается, что Брюсовы хотя и ведут свой род от Брюса и Фаренгейта, но на самом-то деле старые москвичи, домовладельцы и купцы второй гильдии.

Вот тебе и двухалая стрела.

Одной убогой справкой больше, одной иллюзией меньше.

Пришлось помириться на том, что, по определению Бальмонта, у Брюсова все-таки не обыкновенное, а настоящее лицо нераскаившегося каторжника, надменно и в бледности своей обрамленное жесткой черной, слегка тронутой проседью, бородой; зато высокий лоб и красные, неестественно красные губы... вампира.

Вампир... — в этом все же была какая-то уступка романтическому максимализму, который во что бы то ни стало требовал творимой легенды, а не прозаической биографии.

А ведь вот от Ивана Алексеевича Бунина никто ничего не требовал.

Ни бледного мраморного чела, ни олимпийского сияния.

Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.

Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых — ни позы, ни лжи.

Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:

— Он как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!

Но Брюсов, помилуйте! — Цевницы, гробницы, наложницы, наяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы, в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех, — и все пифии, пифии, пифии...

А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутниках, об этих самых «молодых девушках, не лишенных дарования», писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посовето-

вать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве...

Одна из самых талантливых, Наталья Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.

Что-то было непоправимо оскорблено и поправно.

В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась «Вечная сказка», вышла вторым посмертным изданием.

О молодой жертве поговорили сначала шепотом, потом все громче и откровеннее.

Потом наступило молчание.

Потом пришло и забвение.

\* \* \*

**Н**оклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным.

Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма и где священным лозунгом были презрительно брошенные строки:

Быть может, все есть только средство  
Для звонко певучих стихов!..

Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.

Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.

Львов-Рогачевский и Петр Коган хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в «Мире Божьем» и в «Русском богатстве», но в усердной преданности своей кто — марксизму, кто — «Народной воле», — до всего этого парнасского колдовства и волко-

вания не снисходили и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов отгораживались высокой стеной.

И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю.И. Айхенвальд правды не убоился и так во всеуслышание и заявил:

— Не талант, а преодоление бездарности!

Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.

Многие съезжились и постепенно стали отходить на старые пушкинские позиции.

А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.

«Конечно, нельзя отрицать, — писал он в «Свободных мыслях» Василевского (Не Буквы), — версификаторы дошли до точки и многие из них, как в Крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.

Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.

А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!

От Белого моря до Черного — ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.

Все правильно, и все по стандарту.

А поэзии и в помине нет»

\* \* \*

Впрочем, недаром сказано:

— Нет большей бессмыслицы, нежели плющ благоразумия на зеленых ветках молодости.

Мудрость Екклезиаста постигается на склоне дней. Переоценка ценностей приходит не сразу. И как утверждали римляне:

— Поздно мелют мельницы богов.

В «Стоиле Пегаса» и в «Десятой музе», в прокуренном до отказа ресторане «Рип» на Петровке, всюду, где собирались молодые таланты и начинающие бездарности, козырные двойки и всякая проходящая масть, — никакой

мизантропии, само собой разумеется, и в помине не было, ни о каких переоценках и речи быть не могло.

В каждом мгновении была вечность.

Горацийев нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.

Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.

За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку — полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Кадэ, Тримблэ, даже кондитерской Сиу на Кузнецком Мосту.

Одним из таких закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт.

Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.

Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одаренную, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.

Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество, блистать отраженным блеском миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна, или, как фамильярно ее называли, Броничка, не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заемный блеск.

Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя, и чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый, взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.

Бронислава Матвеевна писала милые, легкие, как дуновение, и без всякого «надрывчика» рассказы, новеллы и так называемые «письма женщин», на которые был то-

гда большой и нелепый спрос. Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нем было больше скольжений и касаний, чем претензий на глубину, чернозем и суглинок.

Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.

Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег она скрепя сердце еще редактировала пустопорожний еженедельник «Женское дело», официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Попов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.

Издательницей журнала тоже официально значилась «мамаша Крашенинникова», а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхоленный присяжный поверенный Петр Иванович, адвокатурой не занимавшийся и развивавший большую динамику в настоящем издательском подворье на Большой Дмитровке.

Календари, справочники, газеты-копейки, — главное быстро стряпать и с рук сбывать.

В квартире у Бронички все было мило, уютно, налажено.

Никакого художественного беспорядка, ни четок, каштаньет, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шалапина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.

— Если б я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засушенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербарium. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! — с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.

По вторникам и средам, а может быть, это были четверги, — за давностью лет не упомнишь — во всяком случае, поздно вечером начинался съезд, хотя все приходило пешком и расстоянием не стеснялись.

Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адвокат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представительный, губастый, с какой-то не то кис-



той, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.

С этого и начиналось.

— А у алжирского бей под самым носом шишка выросла!..

Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:

— Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!

После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.

По одну сторону Анакреона — так его не без ехидства, оправдывавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома, — усаживалась томная и бледная Анна Мар, только выпустившая свой новый роман под обещающим названием «Тебе Единому согрешила».

По другую сторону, — могий вместити, да вместит, — «дыша духами и туманами», загадочно опускалась на тихим звенением откликавшиеся пружины молодая беллетристика Нина Заречная.

Колокольчик в прихожей не умолкал.

В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных темных глаз, прямой, неправдоподобно худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич. Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.

— Муравьиный спирт, — говорил про него Бунин, — к чему ни прикоснется, все выедаст.

Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза.

Веселая, блестящая, умница из умниц, — кого угодно за пояс заткнет, — с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного, «охраняющего входы», и несмотря на ранний час уже нетрезвого Володи Курносого, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е.В. Выставкина.

Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а по-

одинок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.

Да иначе и быть не могло.

Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского златоуста, — кстати сказать, златоуст изрядно шепелявил, — о коллективном помешательстве на женском равноправии и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово досталось на орехи.

Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и все под дружный и явно одобрительный смех аудитории, и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски вежливого Семена Рубановича, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими темными восточными глазами, ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских имажинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.

А когда появилась Маша Каллаш, в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом, — пепельного цвета волосы барашком взбиты, — ну тут от златоуста, хотя он и хохотал вовсю, и тряс животом, одно только воспоминание и оставалось.

Прекратил бой Маяковский.

Стукнул по обыкновению кулаком по хозяйскому столу, так что стаканы зазвенели, и крикнул зычным голосом:

Довольно этой толочи,  
Наворотили ком там...  
Замолчите, сволочи,  
Говорю вам экспромтом!

Экспромт имел бешеный успех.

Нина Заречная — пила вино и хохотала.

Анна Мар зябко куталась в шаль, но улыбалась.

Жорж Якулов, как молодой карабахский конек, громко ржал от радости. Хозяйка дома шептала на ухо Екате-

рине Выставкиной, подмигивая в сторону предводителя Бурлюков:

— Все-таки в нем что-то есть.

Рубанович теребил свои усики и утешал Шершеневича, подавленного чужим успехом.

И только один «Муравьиный спирт» угрюмо молчал и шурился.

Зато неутомимый Мандельштам жал ручки дамам, то одной, то другой, прикладывался мокрыми губами, под нависшими седыми усами, и, многозначительно выпив красного вина из бокала Нины Заречной, стал в позу и, неожиданно для всех, по собственному почину начал читать, шепелявя, но не без волнения в голосе:

В день сбиранья винограда  
В дверь отворенного сада  
Мы на праздник Вакха шли.  
И любимца Купидона,  
Старика Анакреона  
На руках с собой несли.

\* \* \*

Много юношей нас было.  
Бодрых, смелых, каждый — с милой!  
Каждый бойкий на язык.  
Но — вино сверкнуло в чашах —  
Вдруг, глядим, красавиц наших  
Всех привлек к себе старик.

\* \* \*

Череп, гроздьями увитый,  
Старый, пьяный, весь разбитый,  
Чем он девушек пленил?!  
А они нам хором пели,  
Что любить мы не умеем,  
Как когда-то он любил!..

Все сразу захлопали в ладоши, зашумели, заговорили. Броня Рунт чокнулась с златоустом и так в упор и спросила:

— Это что ж? Автобиография?

Маяковский не удержался и буркнул:

— Дело ясное, Мандельштам требует благодарности за прошлое!

Старый защитник и не пробовал защищаться.

Воспользовавшись минутной паузой, он явно шел на реванш.

— Вот вы, господа поэты, писатели, мастера слова, знатоки литературы, скажите мне, сиволапому, а чьи ж это, собственно говоря, стихи?

Эффект был полный.

Знаменитый адвокат крикнул, грузно опустился на диван и, торжественно обведя глазами не так уж чтоб очень, но все же смущенную аудиторию, произнес с несколько наигранной простотой:

— Аполлона Майкова, только и всего.

Маяковский, конечно, сказал, что ему на Майкова в высокой степени наплевать.

Имажинисты прибавили, что это не поэзия, а лимонад.

И только один Ходасевич не выдержал и, впервые за весь вечер разжав зубы, не сказал, а отрезал:

— С ослами спорить не стану, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, и через пятьдесят лет ослы прозреют и поймут.

Толчок был дан, и шлюзы открылись.

Опять хлопали пробки, опять Бронислава Матвеевна протягивала, обращаясь то к одному, то к другому, свой опустошенный бокал и томно и в который раз повторяла одну и ту же ставшую сакраментальной строфу Пушкина:

Пьяной горечью Фалерна  
Ты наполни чашу, мальчик!

В ответ на что все чокались и хором отвечали:

Так Постумия велела,  
Председательница оргий.

До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилева, говорили о «Железном перстне»

Сергея Кречетова, глумились над Майковым, Меем, Апухтиным, Полонским.

Маяковский рычал, угрожал, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнется.

Ходасевич предлагал содрогнуться всем скопом и немедленно, лишь бы не томиться и не ждать.

Анна Мар поджимала свои тонкие губы и пыталась слабо улыбаться.

Рубанович снова теребил усики и вежливо, но настойчиво доказывал, что первым поэтом он считает Сергея Клычкова, и грозился продекламировать всего его наизусть.

\* \* \*

В шутовском наброске, пытаясь восстановить фильм быстробегущих событий, Аркадий Аверченко то и дело обращался к своему воображаемому помощнику:

— Мишка, крути назад!

Мишка крутит, и кинематографическая лента послушно, но только в обратном порядке, сползает со своего ролика или валика, и на освещенном экране человеческой памяти встают дни, месяцы, годы, события, числа, даты, былое, минувшее, бывшее и давно прошедшее.

— Мишка, крути назад!

\* \* \*

И все-таки надо сказать правду: заварушка превратилась в драму, драма — в трагедию, а Учредительное собрание разогнал матрос Железняк. Почему и как все это произошло, объяснит история...

Которая, как известно, от времени до времени выносит свой «беспристрастный приговор».

Князь Львов был человек исключительной чистоты, правдивости и благородства.

Павел Николаевич Милуков был не только выдающимся человеком и великим патриотом, но и прирожденным государственным деятелем, самым богом созданным для английского парламента и Британской энциклопедии.

А когда старая, убеленная сединами, возвратившаяся из сибирской каторги Екатерина Константиновна Врешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и матерински облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, — умилению, восторгу и энтузиазму не было границ.

— При мне крови не будет! — нервно и страстно крикнул Александр Федорович.

И слово свое сдержал.

Кровь была потом.

А покуда была заварушка.

И, вообще, все Временное правительство, с Шингаревым и с Кокошкиным, с профессорами, гуманистами и присяжными поверенными, все это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, темной, забитой и безграмотной России, на четвертый год изнурительной войны.

И вот и пошло.

Сначала разоружили бородатых, малиновых городовых, и вел их по Тверской торжествующий и веселый Вася Чиликин, маленький репортер, но ходовой парень.

Через несколько лет он станет редактором харбинских, шанхайских и тянь-тзинских листков и будет получать субсидии то в японских иенах, то в китайских долларах.

Вместо полиции пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участковых приставов присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.

Примечание для любителей:

Одним из них был и некий Вышинский, Андрей Январевич.

Вслед за милицией появилась красная гвардия.

И наконец, первые эмбрионы настоящей власти:

Советы рабочих и солдатских депутатов.

Естествознание не обмануло революционных надежд.

Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки, с винтовкой за плечом, с «маузером» под крылышками.

Мотыльки стали разъезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать, вообще говоря, — углублять революцию.

Керенский вступил в переговоры, сначала убеждал, умолял, потом тоже угрожал, но не очень.

Тем более что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали.

Грузовиков становилось все больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали.

А с театра военных действий приходили невеселые депеши.

От генерала Алексева, от Брусилова, от Рузского, от Эверта.

В порыве последнего отчаяния, в предчувствии неизбежной катастрофы, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил пламенные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками, возвращался из ставки в тыл.

А в тылу шли митинги, партийные собрания, совещания, заседания, что ни день возникали новые комитеты, советы, ячейки, боевые отряды; и министр труда принимал депутацию за депутацией и не просил, а умолял:

— По крайней мере не стучать кулаком по столу!

Но глава депутации не смущался, опрокидывал министерскую чернильницу царских времен и начинал зычным голосом:

— Мы, банщики нижегородских бань, требуем...

Продолжение следовало.

И на плакатах уличной демонстрации уже было ясно написано аршинными буквами:

Товарищи, спасайте анархию! Анархия в опасности!..

В так называемых лучших кругах общества, начиная от пестрой по составу интеллигенции, еще так недавно исповедовавшей весьма левые, крайние убеждения, и до либеральной сочувствовавшей буржуазии, тайком почитывавшей приходившую из Штутгарта «Искру» и «Освобождение», — царила полная растерянность, распад, нескрываемая горечь и уныние.

— Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. — мрачно повторял один из умнейших и просвещеннейших москвичей Николай Николаевич Худяков, профессор Петровско-Разумовской академии, обращаясь

к своему старому приятелю Якову Яковлевичу Никитинскому, написавшему энное количество томов по вопросу об азотном удобрении.

Никитинский, несмотря на почтенный возраст, был неисправимым оптимистом и в пику Худякову, который все ссылался на Карлейля, возражал ему с юношеской запальчивостью:

— Я, Николай Николаевич, из научных авторитетов признаю только один.

— А именно?

— А именно лакея Стивы Облонского. Великий был мудрец, хорошо сказал: увидите, образуется!

Через несколько недель скис и сам Яков Яковлевич.

За новым чаепитием, в уютной профессорской квартире на Малой Дмитровке, Худяков не удержался и, не глядя на начинавшего прозревать приятеля, бросил куда-то в пространство:

— А в общем, Никитинский был прав, действительно все в конце концов образуется.

Вот и образовалась опухоль, и не опухоль, а нарыв. И если его вовремя не вскрыть, произойдет заражение крови...

Интеллигентское чаепитие давно окончилось; нарыв, как известно, был вскрыт; а что вслед за вскрытием не только произошло заражение крови, но что продолжается оно и по сей день, — этого не мог предвидеть не только Худяков, но и все профессора всего мира, вместе взятые.

\* \* \*

По ночам ячейки заседали, одиночки грабили, ба-лов не было, но в театре работали всюю.

Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца.

Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.

Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом:

— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и



говору — шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Уррра! Уррра!

А неподалеку от Скобелева, в «Музыкальной табакерке», на углу Петровки и Кузнецкого Моста, какие-то новые дамы, искавшие забвения, отрыва, ухода от прозы жизни, внимали Вертинскому, и Вертинский пел:

Ваши пальцы пахнут ладаном,  
А в ресницах спит печаль.

Возможно, что все это было очень кстати.

Но так как одним ладаном жив не будешь, то для душевного отдохновения читали «Сатирикон» и потом собственными словами рассказывали то, что написал Аверченко.

Каждый номер «Сатирикона» блистал настоящим блеском, была в нем и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе.

Все это прошло и былшем поросло.

Пожелтевшие страницы старых комплектов, журнальных и газетных, можно только перелистывать.

Читать их невозможно.

Все, что было написано и напечатано, все эти стихи, пародии, ядовитые фельетоны, нравоучительные басни, желчные откровения и заостренные сатиры — отжило свой век, который длился день или месяц.

От бывшего огня остался дым, который уносится ветром.

И какой-то вкус горечи и холода, и перегара — от этой обреченной и проходящей славы.

Рыцари на час, баловни капризных промежутков, любимцы кратковременной судьбы, самые талантливые, блестящие и знаменитые журналисты расточают свой несомненный дар, швыряют его всепоглощающей мишуре и почивают на лаврах, которые превратятся в сор.

Сгореть, испепелиться, но горячо подать. Немедленно, сейчас. Станки и линописи не терпят и не ждут.

Пусть завтра будет и мрак и холод.  
Сегодня сердце отдам лучу!..

Ни целомудренных зачатий, ни длительного материнства.

Фейерверк взлетит и ослепит на миг.

Обуглится — и все о нем забудут.

Вчера «Стрекоза». Сегодня «Будильник». Завтра «Сатирикон». И потом — прах, пепел, забвение.

\* \* \*

Время шло, не останавливаясь.

Каждый день приносил новое, страшное, непоправимое.

Обе столицы превращались в вотчины, но назывались коммунами.

Петроградской коммуной правил Зиновьев, Московской — солдат Муралов.

Стены и заборы были заклеены стихотворным манифестом Василия Каменского, одного из вождей разбушевавшегося футуризма.

Манифест прославлял Стеньку Разина: в нарочито хромых гекзаметрах должна была вдохновенно отразиться лапидарная проза Ильича.

— Грабь награбленное!

Декрету не хватало ореола. Марксистской логике — былинной поэзии. Указ должен был стать заповедью.

Придворная литература рождалась на улицах и мостовых.

Это только потом, много лет спустя, восторг неопитов и примитивы самоучек получили великодержавное оформление, в порядке советского престолонаследия и смены монархов. Картуз Ильича превратился в корону Сталина.

И по сравнению с монументальным «Петром» Алексея Николаевича Толстого заскорузлая поэма Василия Каменского показалась жалкой реликвией глинобитного века.

Жизнь, однако, продолжалась.

Чрезвычайная Следственная Комиссия — так церемонно называлась когда-то ЧК — еще не достигла высот последующего совершенства, оставались какие-то убогие щели и лазейки, чрез которые проникало порой незаконное дуновение свежего воздуха, и ничтожная, еще не расстрелянная горсть инакомыслящих и инаковерующих,

упорствующих, раскольников, непримиримых и дубовых или, по новой терминологии, гнилых интеллигентов, в безнадежном отчаянии хваталась за каждый призрак, за каждый мираж, за все, что на один короткий миг казалось подавленному воображению еще возможным и, рассудку вопреки, осуществимым... Свобода печати официально еще не была отменена.

За исключением «Русского слова», — редакция на Тверской и типография были немедленно реквизированы для «Известий Совета рабочих и крестьянских депутатов», — почти все московские газеты не только продолжали выходить, но, озираясь по сторонам и оглядываясь, даже позволяли себе не только целомудренные возражения и осторожную критику, но и некоторые субтильные вольности, за которыми, впрочем, следовало немедленное заупение, конфискация и закрытие.

В нескромной памяти запечатлелся случай из жизни «Раннего утра».

Владелец газеты и официальный ее редактор Н. Л. Казецкий, человек темпераментный и несдержанный, ни за что не хотел уступить доводам и уговорам передовика и фактически заведующего редакцией, тишайшего и неизменно улыбающегося Э.И. Печерского, который умильно, но настойчиво возражал против напечатания в газете уж очень откровенных в смысле контрреволюции частушек.

— Вот увидите, Николай Львович, газету закроют...

— Ну и закроют! На день раньше, на день позже, — какое это имеет значение?! По крайней мере, пропадать так с музыкой! А что частушки эти будет завтра вся Москва повторять, за это, Эразм Иустинович, я, старый волк, вам головой ручаюсь!..

Печерский только разводил руками и неуверенно улыбался.

— Хотите, может быть, плебисцит устроить? — язвительно предложил Казецкий.

Предложение вызвало дружный хохот всей редакции.

Недаром друзья называли Казецкого самодержцем, а враги самодуром.

Спорить с ним было бессмысленно, и только для Печерского, и то ввиду его особого в газете положения, до-

пускалось иногда, в виде редкого исключения, это всеподданнейше высказанное собственное мнение.

Но Казецкий не сдавался и требовал «вотума».

Никто, разумеется, всерьез этого не принимал, репутация редактора была слишком хорошо известна, но время было сумбурное, оживление нездоровое, и нервы у всех не на шутку взвинчены.

А терять было действительно нечего.

Дамоклов меч, как великолепно выражался балетный хроникер Флееров, давно уже был занесен над всей «пишущей братией».

В конце концов, после недолгого, но веселого замешательства, милейший Муска, а в миру Федор Генрихович Мускатблит, раз в неделю военный обозреватель, а остальные шесть раз в неделю заведующий городской хроникой, загадочно переглянулся с окружающими его сотрудниками и, быстро подсчитав не столько голоса, сколько красноречивое выражение каждой пары глаз, включая и косившего на один глаз Зурича, — выступил вперед и, блаженно оскалив всю свою худую, еле обтянутую кожей челюсть, так, не заикаясь, и отцедил:

— Вотум наш, Николай Львович, сами видите, вполне ясный и отчетливый, — на чем Господин Великий Новгород порешит, на том и пригороды станут...

Казецкий был доволен или делал вид, что доволен.

Почесал острыми, выхоленными ногтями свою отличную подстриженную жесткую с проседью бородку буланже и приказал Василию Шемякину — так почему-то назывался его лакей и кучер, которого в действительности звали Мишей, — открыть несколько бутылок Абрау-Дюрсо, хранившихся в заповедном шкафу, в знаменитом, устланном персидскими коврами редакторском кабинете, куда вход был строжайше воспрещен и про который московские зоилы говорили: тайны Мадридского двора.

Впрочем, хроникер Флееров, который все знал, уверял, что никаких тайн там нету, а что в кабинете просто происходят очень деловые совещания частной балетной школы, которой Н. Л., сам большой и усердный балетоман, весьма сочувствовал, покровительствовал и поддерживал главным образом — в печати.

Как бы то ни было, Абрау-Дюрсо пришлось чрезвычайно кстати.

Все были в отменном состоянии духа, развеселились по-настоящему, а неперемный член редакции, главный метранпаж Михаил Валерьянович, отведя в сторону молодого автора тогдашних частушек, шепнул ему таинственно, скороговоркой:

— Помяните мое слово, газета наша выйдет завтра в последний раз.

Так оно и случилось.

Напрасно бегали к Подбельскому, бывшему члену правления Союза журналистов, а ныне комиссару почт и телеграфов.

Ходили целой депутацией к В.Н. Фриче, бывшему председателю того же Союза, а ныне комиссару Московской коммуны по иностранным делам.

Оба сановника только руками замахали, — отвяжись, нечистая сила!..

Не помогло и вмешательство прославленной балерины, бывшей солистки Его Величества, а в будущем заслуженной народной солистки.

Непроданные номера газеты были конфискованы, матрица Михаила Валерьяновича уничтожена, набор рассыпан, типография реквизирована для нужд «Красного Огонька», а «Раннее утро» закрыто. А из злополучных частушек, которых и сам автор не помнит, удержалась в памяти только одна, и то сказать, вполне безобидная:

Веры истинной оплот  
Укрепляет души:  
Очень ловко Центрофлот  
Держится на суше.

Состав преступления — оскорбление величества — был налицо.

\* \* \*

Впрочем, все это были только присказки, а сказка была впереди.

Погода, климат, выносливость, дух сопротивления — все это портилось.

Улучшались только рессоры и пружины советского

режима, механизм участковой милиции, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, отряды китайцев и латышей и всей преторианской гвардии.

Феликс Эдмундович Дзержинский питался одной морковью, иногда свеклою, а трупную падаль только обонял, и тоже нервно почесывал свою мягкую шатеновую бородку, еще сам не зная и не ведая, что у него золотое сердце, которое, спустя недолгий срок, открыл великий сердцевед, Алексей Максимович Горький.

Но вообще говоря, все еще были молоды и не расстреляны, — и Зиновьев, и Каменев, и Рыков, и Бухарин, и Киров, и Троцкий, и Коссиор, и Чубарь.

А Маленкову и Жданову не было и тринадцати годов от роду.

Все было впереди — и лучезарное будущее, и цинга, и голод, и «Двенадцать» Блока; и черный малахитовый мавзолей; и аннибалова клятва братьев писателей над гробом Ленина; и шествие маршалов, маршалов, маршалов; и прорытие каналов, каналов, каналов; «и подвиги, и доблести, и слава»...

А жизнь все-таки продолжалась. И как сказано в «Воскресении» Толстого:

«Как ни старались люди... изуродовать ту землю, на которой они жались; как ни забивали ее камнями, чтобы ничего не росло на ней, как они ни счищали всякую пробивающуюся травку... весна была весною, солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, между плитами камней, и березы, тополя, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья... Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город».

Аллегория, разумеется, была далеко не полная.

Но была тюрьма. И была весна — 18-го года.

Только что арестовали Сытина.

За дерзкую попытку обмануть рабоче-крестьянскую власть и получить продовольственные карточки для певчих церковного хора в своем подмосковном имении.

Посадили в одиночную камеру П.И. Крашенинникова.

За слишком большую предприимчивость по устройству сытинских дел.

И вообще за недавние грехи молодости.

За «Вечерку», — так сокращенно называлась шумная и не очень уважаемая, но имевшая большой тиражный успех, особенно в годы войны, ежедневная газетка «Вечерние новости».

За «Трудовую копейку», за «Женское дело», за целый ряд других листовок, календарей и альманахов, которыми кишмя кишело на Большой Дмитровке издательское подворье Петра Иваныча, краснощекое, черноглазое, чернобородое и белозубое присяжное поверенное, предпочитавшего полную неизвестностей, возможностей и неожиданностей недисциплинированную вольницу полулитературного рынка чинным регламентам и строгим уставам сословной адвокатуры.

Надо сказать, что при всем том, писателей и литераторов, профессиональных газетчиков и журналистов еще покуда не трогали.

И не столько из соображений такта, или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса.

Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга и удвоенные пайки для Серапионовых братьев, — все это появилось не сразу.

Ничего поэтому удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться.

Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезли по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по делам печати.

Одним из неутомимых пионеров «газеты во что бы то ни стало» был В.Е. Турок, сотрудник закрывшегося на-

всегда «Русского слова», талантливый журналист, писавший под псевдонимом Вилли.

Нарочитая несерьезность этой подписи, как и множества, если не большинства, других псевдонимов того времени, была, надо думать, «созвучна эпохе», только что отзвучавшей.

Отношение к цензуре, к цензурным комитетам, главным управлениям, особым присутствиям и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева было по преимуществу сугубо ироническим, не без намеренного верхоглядства — ты меня за бока, а я тебя свысока!..

И во всех этих кличках, прозвищах, псевдонимах была, конечно, какая-то непочтительная, инстинктивная ужимка, поза, гримаса.

Гримаса «человека, который смеется» и смехом этим защищается.

Даже нововременский Сыромятников назывался Сигма, и сам Буренин был Алексис Жасминов.

А о так называемой либеральной печати и говорить не приходится.

Все эти Альфы и Омеги, Пессимисты и Незнакомцы, Санчо Пансы и Дон Кихоты, провинциальные Трубадуры, Лоэнгрины, Железные Маски, Офени, Иваны Колочие, Незнамовы, Бурсаки, Безродные, Непомнящие, Ивановы-Классики, Тарелкины, Чертопхановы, Страшноватенки и столичные Глоб-Троттэры, Пэнгсы и Домби, а имя им — легион, все они, кто умно, кто убого, кто с блеском и талантом, кто с потугами и тщетой, хуже, лучше, с искрой, без искры, с огоньком, без огонька, но каждый по-своему, и все купно, часто в бровь, но нередко и в самый глаз, как могли, как умели, кому как Бог на душу положил, а все же по большей части честно и неподкупно боролись, протестовали, намекали, доказывали, казнили презрением, многозначительно замалчивали, и как, не щадя живота, злоупотребляли цитатами, кавычками, восклицательными знаками, а пуще всего многоточием!..

Так вот этот самый Вилли, один из легиона, торжествующий и возбужденный, влетает однажды в столовую еще не закрытого, но бездействующего Союза журналистов в Столешниковом переулке и, как бомба, взрывается



у нашего стола, уставленного чайными стаканами с морковным чаем и одним кружочком вялого лимона на всю братию.

— Владимир Евсеич, что с вами? Откуда? От следователя? От комиссара? Вызывали? Допрашивали? На вас лица нет!..

— Как это так лица нет?! — поднял голос Петр Потемкин, по уши влюбленный в заведующую буфетом Любовь Дмитриевну и поэтому находившийся всегда за стойкой и всегда в приподнятом состоянии духа, — да, посмотрите на него, — и П. П. стал преувеличенно театральным голосом декламировать:

— Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен, он весь как божия гроза!..

Надо думать, что Потемкин был прав, ибо все немедленно согласилось, что, действительно, лик его ужасен и что случилось нечто гораздо более важное и необыкновенное, чем вызов к комиссару или следователю.

Вилли продолжал раздувать ноздри, тяжело дышал, сопел, отхлебнул принесенного Потемкинской Музой какого-то подозрительного квасу и, отдышавшись, торжественно объявил:

— Нашел издателя, только что выпущен из тюрьмы. Отличный мужик, имени сказать не имею права, — лицо, пожелавшее остаться неизвестным! Ездил с ним в типографию Мамонтова. Все согласны. Бумага есть. Газета на восемь страниц. Будет называться «Час». Выходит завтра!.. В крайнем случае послезавтра!

Впечатление было ошеломляющее.

Кто-то неуместно спросил:

— А кто будет редактор?

Вилли уничтожающе посмотрел на вопрошающего и процедил сквозь зубы:

— Дураки уехали в Бразилию, так что вопрос исчерпан. Никакого редактора не будет, а будет редакционная коллегия.

И не без язвительности добавил:

— Желающие могут становиться в очередь...

— Эх ты, Епиходов! — опять крикнул из-за стойки не понимавшийся Потемкин по адресу злополучного и красного как рак специалиста по молниеносным интервью.

Ртуть в термометре быстро поднималась. Все заговорило наперебой и сразу.

Выяснилось, что авансы будут выданы сегодня же, но после захода солнца; что новая газета будет типа вечерней, то есть в 12 часов пополудни, и никаких испанцев; и что называться она будет «Час» главным образом потому, что технически это гораздо удобнее, чем если бы она называлась «Век»...

— А впрочем, — закончил Вилли, — сами увидите и поймете. Ибо, как говорил Александр Федорович Керенский, управлять — это значит предвидеть...

Через сорок восемь часов после морковного чаепития, в тридевятом царстве, в тридесятom государстве, в Российской Советской Социалистической Республике, в городе Москве, на Москве-реке, и не забудьте, что было это весною 18-го года, отпечатанный у Мамонтова, на Таганке, вышел в свет, свежий как бутон, хотя и пахнувший типографской краской, первый номер вечерней газеты «Час».

Направление газеты было неопределенное, но, как неприятно выразился впоследствии все тот же В.М. Фриче, весьма нахальное.

Вместо передовой была крайне несвоевременная историческая справка Виссариона Павлова на тему о восстании рабов под предводительством Спартака, и особенно о том, как это восстание было подавлено: со всеми подробностями, уточнениями и чуть ли не указаниями практического свойства.

Фельетон Вилли тоже носил характер вполне исторический, а именно: свобода печати в период Великой французской революции.

Выводов в фельетоне не было никаких, но, как принято было в те времена говорить, выводы напрашивались сами собой.

А. А. Епифанский дал захватывающего интереса очерк о Хитровом рынке, который после «тяжких десятилетий вопиющей нищеты и притеснений царской полиции» расцвел наконец махровым цветом и нашел свое настоящее призвание: торговлю стариной и роскошью, конфискованной во время обысков у проклятой буржуазии.

Молодая и жеманная поэтесса, в настоящее время ка-

валер ордена Красного Знамени, напечатала совершенно неподобающие стишки, вроде того, что —

Шакал, надевший шкуру Льва,  
Всегда останется шакалом...

Дальнейшие фиоритуры этого забытого произведения были настолько прозрачны, что создатель Красной Армии, так и не дождавшийся маршальского жезла, был не на шутку уязвлен.

Были еще статьи Ю. М. Бочарова, Григория Ландау, стихи Потемкина, Валентина Горянского, Дон-Аминадо, а главное, была первая глава коллективного романа «Черная молния».

Идея романа была взята у самого В.И. Ленина и касалась электрификации облаков, ни более и ни менее.

Подана была эта идея не просто, а как идея-фикс!..

Но зато с большим пафосом и с очень наглой претензией на научность.

В конце первой главы, как и полагалось, было напечатано курсивом и в скобках:

— Продолжение следует.

Никакого продолжения, впрочем, не последовало, ибо газета «Час» была в первый же день выхода закрыта со всем соответствующим церемониалом постановлений, конфискаций и вызовов куда следует.

«Управлять — это значит предвидеть!»

Неугомонный Вилли все предвидел.

Начиная дело, через несколько подставных лиц, своевременно сделавших нужные заявки, он обеспечил «ход событий».

На следующий день после закрытия «Часа» вышел «Третий час», с пояснением в подзаголовке:

«Выходит ежедневно, в 3 часа дня по московскому времени».

На этот раз приказ по линии был определенный:

— На первой странице декреты и распоряжения правительства, и никаких комментариев.

На второй и третьей — литературная критика, библиография, война с футуристами, стихи о любви, новости медицины, биологии, черт в ступе.

Четвертая страница, и последняя, — шахматный отдел и конкурсы для читателей.

Два номера вышли благополучно.

Два дня мы были в перестрелке,  
Что толку в этакой безделке!..  
Мы ждали третий день!

И недаром ждали. На третьем номере газета была закрыта.

Вилли, однако, не унимался, и после нескольких изнурительных дней хлопот, просьб, хождений и унижений мировая печать обогатилась новым ежедневным (I) изданием — «Четвертый час».

Состав сотрудников был тот же, а передовая статья кончалась многозначительным восклицанием, неосмотрительно взятым напрокат из современного народного эпоса:

— Сенька, поддержи мои семечки, я ему морду набью!..

Правительство сразу догадалось — кому, и хотя в редакции царило непринужденное веселье, в своем роде пир во время чумы, — новая газета, скоропалительно прожившая свой однодневный век, была не только закрыта, но и сам Вилли, и анонимный издатель были посажены в Бутырскую тюрьму, из которой только что, после трехмесячного заключения, выпустили на свет божий старика Сытина и П. И. Крашенинникова.

Члены знаменитой редакционной коллегии быстро смотали удочки и благоразумно переменили место жительства.

Ночевали в Томилине, в Малаховке, на станции Удельной, где бог пошлет, и жили изо дня в день с опаскою, с оглядкою, милостью дворников и нескольких покладистых милицейских, высоко ценивших самодельный денатурат, который уже назывался не просто ханжой, а рыковкой.

И хотя в распоряжении очаровательной и всегда печальной Елены Митрофановны, жены В.Е. Турока, еще имелась очередная заявка на новую газету с весьма неожиданным, хотя по-своему вполне последовательным названием «Полночь», но шалый энтузиазм уже прошел и период импровизаций и партизанских набегов кончился.

Окончательно выяснилось, что солдат Муралов шуток не понимает.

Но в одиночной камере контакт с миром был, очевидно, потерян.

Из Бутырок от упорного редактора пришла почти вдохновенная записка с планами, советами и указаниями сделать все возможное, чтобы «Полночь» не только вышла, но еще и с тютчевским эпиграфом в подзаголовке:

Я поздно встал, и на дороге  
Застигнут ночью Рима был...

Увы, тюремное вдохновение уже не нашло резонанса. Каждый пошел в свою сторону. Пульс страны бился на Лубянке. Латышши ханжи не пили. Двустволки заговорили ясным языком. Стрельба в цель стала бытовым явлением. Благодаря вмешательству красавицы Рейзен, бездарной актрисы Малого театра, перешедшей со вторых ролей на сцене на первые роли в жизни, — она уже в это время стала открыто появляться с одним из самых видных сановников нового режима, удалось с большим трудом устроить освобождение Вилли.

Жизнь его не пощадила.

Худой, замученный долгим тюремным заключением, с нездоровым, лихорадочным блеском в глазах, без кровинки в лице, он уже щедро и быстро платил свою дань «одной из самых счастливых эпох человечества».

Но уготованный судьбой напиток еще не был испит до конца.

Несколько месяцев спустя бывший прапорщик запаса, снова надевший серую шинель, непримиримый Вилли, «золотопогонник» Добровольческой армии, отбиваясь от окруживших город большевиков, на одной из главных улиц Ростова был зарублен шашками красных казаков.

И вновь, и в который раз обретали свой пророческий смысл бессмертные стихи Тютчева:

Я поздно встал, и на дороге  
Застигнут ночью Рима был...

Елена Митрофановна ушла в монастырь, похоронив мужа в братской могиле.

Русская биография была выдержана до конца.

\* \* \*

**И**юль на исходе.

Жизнь бьет ключом, но больше по голове.

Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.

В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже.

И в бывшем Камерном, на Тверском.

В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет «Леда» Анатолия Каменского.

На Леде золотые туфельки и никаких предрассудков. Раскрепощение женщины, свободная любовь.

\* \* \*

**Ш**вейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.

— Приходили, спрашивали, интересовались.

Человек он толковый и на ветер слов не кидает.

Выбора нет.

Путь один — Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам Фриче.

У Фриче борода под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.

— Пришел я, Владимир Максимилианович, насчет паспорта...

— И ты, Брут?!

— И я, Брут.

Диалог короткий, процедура длинная.

Бумажки, справки, подчистки, документики.

От оспопрививания начиная и до отношения к советской власти включительно.

Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул и печать поставил:

— Серп и молот, канун да ладан.

Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю:

«Гражданин такой-то отправляется за границу...»

\* \* \*

Через много лет пронзительные строки Осипа Мандельштама озарятся новым и безнадежным смыслом:

Кто может знать при слове — расставанье,  
Какая нам разлука предстоит...

Опыта не было, было предчувствие.  
Отрыв. Отказ. Пути и перекрестки.  
Направо пойдешь, налево пойдешь. Сердца не переделаешь.

«Что пройдет, то станет мило. А что мило, то пройдет».  
Так было, так будет.  
Только возврата не будет. Все останется позади.  
Словами не скажешь. Но только то, что не сказано, и запомнится навсегда.  
У каждого свое, и каждый по-своему.  
А там видно будет.

\* \* \*

Поезд уходил с Брестского вокзала. До станции Орши, где начинается Европа.

Немецкая вотчина. Украинское гетманство.  
Вдоль вагонов шныряют какие-то наймиты, синие очки, наспех наклеенные бороды.

До совершенства еще не дошли. Дойдут.  
В салон-вагоне турецкий посланник со свитой; оберлейтенант с красной лакированной сумкой через плечо, — дипломатический курьер германского посольства в Денежном переулке; и весело настроенные румынские музыканты, отпиликавшие свой репертуар в закрывшихся ресторанах.

Вокруг — необычайная, сдержанная, придавленная страхом суета.

Третий звонок.  
Милые глаза, затуманенные слезой.  
Опять Отрыв. И снова Отказ. От самих себя. И друг от друга.

И под стук колес, в душе, в уме — певучие, неспетые, несказанные слова:

Шаль с узорною каймою  
На груди узлом стяни...

\* \* \*

**В** русской Орше последний обыск.

Все, что было контрреволюционного, отобрали: мыло фабрики Раллэ, папирсы фабрики «Лаферм», царские сторублевки с портретом Екатерины.

Распоряжался всем огненно-рыжий комиссар в новеньком френче, в широчайших галифе на невероятно худых, тонких ногах.

Огромный наган убедительно болтался сбоку, на желтом кожаном поясе.

Комиссарские глаза буравили, наган болтался, граждане путались в ответах и дрожали.

По щучьему веленью добрую половину из поезда высадили и загнали неизвестно куда.

Балканские дипломаты, румынские скрипачи и счастливчики, избежавшие последнего заушения, благополучно перебрались по другую сторону добра и зла, где лихо гарцевал есаул Коновалец, а проверял документы пожилой прусский офицер, убийственно-вежливый.

По дороге в Киев из салон-вагона доносились звуки вальса, скрипки и цимбалы сопровождали турецкое превосходительство, уставшее от шифрованных телеграмм и сложных международных отношений.

\* \* \*

...**К**иев нельзя было узнать.

Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства.

На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протолпиться.

Изголодавшиеся москвичи и отощавшие петербуржцы набросились на белый хлеб и пожирают его, стоя и сидя.

Все друг с другом раскланиваются и, попивая кофеек, рассказывают, как они вырвались, как бежали и что у них отняли и забрали.

Настроение идиотски-праздничное.

На клумбах в Купеческом саду расцветают августовские розы.

Золотая, южная осень ласкает, нежит, зачаровывает.



На площади перед Городской думой — медь, трубы, литавры — немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона.

Катит по Крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма.

В экипаже ясновельможный гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающимся на солнце эгретом.

Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый.

Второго не будет.

В подвале «Метрополя» «Подвал Кривого Джимми», кабаре Агнивцева с осколками «Кривого зеркала».

В городском театре тот же Балиев и вся «Летучая мышь» в полном сборе.

Газет тьма-тьмущая.

«Киевская мысль», «Киевские отклики», «Киевлянин» профессора Пихно.

Кроме того, газета «Утро» и газета «Вечер».

Затея петербургская, деньги Протофимса.

Но наибольшим успехом, и на галерке и в бельэтаже, пользуется еженедельный листок Василевского (Не-Буквы) «Чертова перечница».

Листок официально — юмористический, не официально — центр коллективного помешательства.

Все неожиданно, хлестко, нахально и бесцеремонно.

Имен нет, одни псевдонимы, и то выдуманные в один миг, тут же на месте.

В заголовке сказано:

«Чертова перечница, орган старых шестидесятников, с номерами для приезжающих».

Шельмуют всех и каждого, начиная с Вудро Вильсона и кончая полковником Скоропадским.

Игорь Кистяковский, московская знаменитость, а теперь гетманский министр внутренних дел, еженедельно вызывает Василевского для объяснений и внушений.

Василевский нисколько не смущается и говорит:

— Вы, Игорь Александрович, дошли до министерства, мы до «Чертовой перечницы». Разница только в том, что у нас успех, а у вас никакого...

Кистяковский куксится, но все это ненадолго.

Скоро придет Петлора.

«Время изменится, все переменится».

Скоропадского увезут в Берлин, министры сами разъедутся, немцы после отречения Вильгельма вернутся во свояси, а столичные печенег и половцы кинутся на станцию Бирзулу.

По одну сторону станции будут стоять петлюровцы, по другую французские зуавы и греческие гонлиты в гетрах.

Из Москвы придет телеграмма о покушении на Ленина.

Советский террор достигнет пароксизма.

Дору Каплан повесят и забудут.

Забудут не только в Кремле и на Лубянке, но и в зарубежных «Асториях» и «Мажестиках».

Дело не в подвиге, а дело в консонансах...

Шарлотта Кордэ — это музыкально. Дора Каплан — убого и прозаично.

Свидетели истории избалованы. Элите нужен блеск и звук.

На жертву, на подвиг, на тяжелый «кольт» в худенькой руке — ей наплевать.

...Перед киевским разездом будет недолгое интермеццо.

Хома Брут покажется ангелом во плоти.

Архангелы Петлюры стесняться не будут.

Ни Бабефа, ни Прудона. Грабеж среди бела дня, в самотийном порядке.

Убивать на месте, но, убивая, орать — хай живе!..

Остальное — дело Истории, «которая вынесет свой властный приговор».

Вместо Кистяковского — Саликовский.

Тот самый. Александр Фомич. Старый журналист, редактор «Приазовского края».

Из Ростова-на-Дону в первопрестольный Киев, из радикального либерализма — в зоологическую гущу.

Пришли к нему целой депутацией, ходатайствовали, убеждали:

— Как же так, Александр Фомич? У вас свобода печати, а вы закрываете, штрафуете, грозите казнями египетскими...

Ответ краткий:

— По-русски не баю. По-москальски не розумию...

Опять сматывать удочки. В Бирзулу так в Бирзулу.  
К черту на рога, куда угодно.

Перед отъездом в одной из обреченных газет — последний привет, последнее четверостишие:

Не негодуя, не кляня,  
Одно лишь слово! Но простое!  
— Пусть будет чуден без меня  
И Днепр, и многое другое...

— **М**ишка, крути назад!

Опять фильм в обратном порядке.

Из Москвы — в Киев, из Киева — в Одессу. На рейде — «Эрнест Ренан».

В прошлом философ, в настоящем броненосец.

Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную.

Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки — проси, чего душа хочет!

Каждый развлекается, как может.

Большевики в ста верстах от города.

Блаженно-верующим и того довольно.

А что думает генерал Деникин, никто не знает.

Столичные печенегі прибывают пачками.

Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут, валом велят.

Музыка играет, штандарт скачет, все как было, все на месте, фонтаны, лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи, «Свободные мысли» Василевского.

Вместо ненавистного Буна — Бун это бюро украинской печати — добровольный Осваг.

Газет как грибов после дождя.

В «Одесском листке» Сергей Федорович Штерн.

В «Современном слове» Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский, Борис Мирский (в миру Миркин-Гецевич), П.А. Нилус, А.М. Федоров, Вас. Регинин, бывший

редактор петербургского «Аргуса», Алексей Толстой, он же и старшина игорного клуба; А.А. Койранский на ролях гастролера, Леонид Гросман, великий специалист по Бальзаку и по Достоевскому; молодой поэт Дитрихштейн, еще более молодой и тоже поэт Эдуард Багрицкий; Я.Б. Полонский, живой, способный, пронзительный, в шинели вольноопределяющегося; Д. Аминадо, тогда еще Дон, и в торжественных случаях почетный академик Иван Алексеевич Бунин.

«Одесскую почту» издает Некто в сером, по фамилии Финкель.

Газета бульварная, но во всем мире имеет собственных корреспондентов!..

Корреспонденты с Молдаванки не выезжают, но расстоянием не стесняются, и перышки у них бойкие.

«Почта» живет сенсациями, опровержениями, сведениями из достоверных источников.

Улица довольна, недовольны только пайщики, которых, как говорят, Финкель беззастенчиво грабит.

Вероятно, поэтому газетные мальчишки и орут во весь голос: «Требуйте свежий номер «Ограбленной почты»...

Кроме того, есть «Призыв», который издает Ал. Ксюнин, раскаявшийся нововеоменец.

Н.Н. Брешко-Брешковский в газетах не участвует, ходит вприпрыжку и самотеком пишет очередной роман под скромным названием «Царские бриллианты».

Театры переполнены, драма, опера, оперетка, всяческих кабаре хоть пруд пруди, а во главе опять «Летучая мышь» с неутомимым Никитой Балиевым.

Сытно, весело, благополучно, пампушки, пончики, булочки, большевики через две недели кончатся, «и на обломках самовластья напишут наши имена»...

Несогласных просят выйти вон.

Пейзаж, однако, быстро меняется.

Небо хмурится, сто верст, в которые уверовали блаженные, превращаются в шестьдесят, потом в сорок, потом в двадцать пять.

Ксюнин требует решительных мер.

Внемлет ему один Брешко-Брешковский и на рыбацьем судне уплывает в Болгарию.

В городе паника. Примусов и в помине нет.

Податься некуда.

Ни направо не пойдешь, ни налево не пойдешь, впереди — море.

Хоть садись на мраморные ступени, убегающие вниз, размышляй и думай:

— Ведь вот, сколько раз измывались над Горьким, сколько раз шпыняли его за олеографию, за «Мальву».

Никак не могли ему простить первородного греха, неуклюжей, стопудовой безвкусицы.

А ведь вышло по Горькому:

— Море смеялось.

\* \* \*

**С**мена власти произошла чрезвычайно просто.

Одни смылись, другие ворвались.

Впереди, верхом на лошади, ехал Мишка-Япончик, начальник штаба.

Незабываемую картину эту усердно воспел Эдуард Багрицкий:

Он долину озирает  
Командирским взглядом.  
Жеребец под ним играет  
Белым рафинадом.

Прибавить к этому уже было нечего.

За жеребцом, в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорьев.

За атаманом шли победоносные войска.

Оркестр играл сначала «Интернационал», но по мере возрастающего народного энтузиазма быстро перешел на «Польку-птичку» и, не уставая, дул во весь дух в свои тромбоны и валторны.

За армией бегом бежала Молдаванка, смазчики, грузчики, корреспонденты развенчанного Финкеля, всякая коричневая рвань.

У памятника Екатерине церемониальный марш кончился.

Мишка-Япончик круто повернул коня и гаркнул, как гаркают все освободители.

Дисциплина была железная. Ни выстрела, ни вдоха.

Только слышно было, как дезертир-фельдфебель со зверским умилением повторял:

— Дай ножку. Ножку дай!

И ел глазами взвод за взводом, отбивая в такт:

— Ать, два. Ать, два. Ать... два...

\* \* \*

**Ж**изнь сразу вошла в колею.

Колея была шириной в братскую могилу. Глубиной тоже.

Товарищ Северный, бледнолицый брюнет с горящими глазами, старался не за страх, а за совесть.

Расстреливали пачками, укладывали штабелями, засыпали землей, утрамбовывали.

Наутро все начиналось снова.

Шарили, обыскивали, предъявляли ордер с печатями, за подписью атамана, как принято во всех цивилизованных странах, где есть Habeas Corpus<sup>1</sup> и прочие завоевания революций.

Атаман был человек просвещенный, но безграмотный и ордера подписывал кратко, тремя буквами:

— Гри.

На большее его не хватало.

Да и время, надо сказать, было горячее, и все отлично понимали, что для уничтожения гидры трех букв тоже достаточно.

Все остальное было повторением пройденного и шло по заведенному порядку.

В городском продовольственном комитете, который, ввиду отсутствия времени, переименовали в Горпродком, что было гораздо короче и понятнее, выдавали карточки, по которым выдавали сушеную тарань, а для привилегированных классов населения, то есть для беззаветных сподвижников Мишки-Япончика, еще и длинные отрезы плюшевых драпировок из городской оперы.

<sup>1</sup> Конституционная гарантия против произвольного ареста.

— Хоть раз в жизни, но красиво! — как великолепно выражалась Гедда Габлер.

Стрелки на часах Городской думы были передвинуты на несколько часов назад, и, когда по упрямому солнцу был полдень, стрелки показывали восемь вечера.

С циферблатами не спорят, с атаманами тем более.

На рейде, против Николаевского бульвара, вырисовывался все тот же безмолвный силуэт «Эрнеста Ренана», на который смотрели с надеждой и страхом, но всегда тайком.

Проходили дни, недели, месяцы, из Москвы сообщали, что Ильич выздоровел и рана зарубцевалась.

Все это было чрезвычайно утешительно, но в главном штабе Григорьева выражение лиц становилось все более и более нахмуренным.

История повторялась с математической точностью.

Добровольческая армия в ста верстах от города, потом в сорока, потом в двадцати пяти.

Слышны были залпы орудий.

Созидатели новой эры отправились на фронт в плюшевых шароварах и больше не вернулись.

За боевым отрядом потянулись регулярные войска и грабили награбленное.

Созерцатели «Ренана» нагтели с каждым часом и являлись на бульвар с биноклями.

Тарань поддерживала силы, бинокли укрепляли дух.

Ранним осенним утром в город вошли первые эшелоны Белой армии.

Обращение к населению было подписано генералом Шварцем.

\* \* \*

Недорезанные и нерасстрелянные стали вылезать из нор и щелей.

Появились арбузы и дыни, свежая скумбрия, Осваг.

Ксюнин возобновил «Призыв».

Открылись шлюзы, плотины, меняльные конторы.

В огромном зале Биржи пела Иза Кремер.

В другом зале пел Вертинский.

Поезда ходили не так уж чтоб очень далеко, но в пор-

ту уже грузили зерно, и пришли пароходы из Варны, из Константинополя, из Марселя.

Мальчишки на улицах кричали во весь голос:

— Портрет Веры Холодной в гробу, вместо рубля двадцать копеек...

Было совершенно ясно, что Матильда Серао ошиблась и жизнь начинается не завтра, а безусловно сегодня, немедленно и сейчас.

На основании чего образовали «группу литераторов и ученых» и, со стариком Овсяннико-Куликовским во главе, отправились к французскому консулу Готье.

Консул обожал Россию, прожил в ней четверть века, читал Тургенева и очень гордился тем, что был лично знаком с Мельхиором де Вогюз.

Ходили к нему несколько раз, совещались, расспрашивали, тормозили, короче говоря, замучили милого человека окончательно.

В конце концов на заграничных паспортах, которые с большой неохотой выдал полковник Ковтунович, начальник контрразведки, появилась волшебная печать, исполненная еще не осознанного и только смутным предчувствием угаданного смысла.

Печать была четкая и бесспорная и, как говорится, *d'une clarté la-tine*<sup>1</sup>.

Но смысл ее был роковой и непоправимый.

Не уступить. Не сдаться. Не стерпеть.  
Свободным жить. Свободным умереть.  
Ценой изгнания все оплатить сполна.  
И в поздний час понять, уразуметь:  
Цена изгнания есть страшная цена.

\* \* \*

**Н**ачало января 20-го года.

На стоявшем в порту французском пароходе «Дюмон д'Юрвиль» произошел пожар.

Вся верхняя часть его обгорела, и на сильно пострадавшей палубе уныло торчали обуглившиеся мачты, а от

<sup>1</sup>С латинской ясностью.



раскрашенной полногрудой наяды, украшавшей нос корабля, уцелел один только деревянный торс, покрытый зеленым мохом и перламутровыми морскими ракушками.

Вся нижняя часть парохода осталась нетронутой, машинное отделение, трюм, деревянные нары для солдат, которых во время войны без конца перевозил «Дюмон д'Юрвиль», все было в полном порядке.

Что можно было починить, починили наспех и кое-как, и по приказу адмирала, командовавшего флотом, обгоревший пароход должен был идти в Босфор.

Группа литераторов и ученых быстро ушла положение вещей.

Опять кинулись к консулу, консул к капитану, капитан потребовал паспорта, справки, свидетельства, коллективную расписку, что в случае аварии никаких исков и претензий к французскому правительству не будет, и в заключение заявил:

— Бесплатный проезд до Константинополя, включая паек для кочегаров и литр красного вина на душу.

Василевский в меховой шубе и в боярской шапке уже собирался кинуться капитану на шею и, само собой разумеется, задушить его в объятиях, но благосклонный француз так на него посмотрел своими стальными глазами, что бедняга мгновенно скис и что-то невнятно пробормотал не то из Вольтера, не то просто из самоучителя.

20 января 20-го года — есть даты, которые запоминаются навсегда, — корабль призраков, обутленный «Дюмон д'Юрвиль», снялся с якоря.

Кинематографическая лента в аппарате Аверченко кончилась.

Никому не могло прийти в голову крикнуть, как бывало прежде:

— Мишка, крути назад!

Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной.

И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех:

Здесь обрывается Россия  
Над морем Черным и глухим.

\* \* \*

Группа была пестрая, случайная, соединенная сочетанием обстоятельств, но дружная и без всяких подразделений и фракций.

Старик Овсяннико-Куликовский в последнюю минуту передумал, махнул рукой, смахнул слезу и остался на родине.

С.П. Юрицын, бывший редактор «Сына отечества», наоборот, только в последнюю минуту и присоединился.

Был он мрачен, как туча, и держался в стороне.

Художник Ремизов, в «Сатириконе» Ре-Ми, еще за час до отплытия начал страдать морской болезнью.

Ни жене, ни сыну ни за что не хотел верить, что пароход еще стоит на месте и, стало быть, все это одно изображение.

— Grimасы большого города! — ядовито подсказал розовый, застенчивый, но всегда находчивый Полонский.

Намек на имевшие всероссийский успех знаменитые ремизовские карикатуры оказал живительное действие, талантливый художник сразу выздоровел и на следующий день, несмотря на настоящую, а не выдуманную качку, не только держал себя молодцом, но даже написал портрет капитана Мерантье, что сразу подняло акции всей группы.

Капитан благодарил, консервные пайки были сразу удвоены.

Б.С. Мирский — мы всегда предпочитали этот легкий псевдоним его двойному ученому имени — казался моложе других, заразительно хохотал и рассказывал уморительные истории из жизни «Синего журнала» и других петербургских изданий того же типа, о которых теперь никто бы ему и напомнить не решился.

Ехал с нами и приятель Мирского, А.И. Ага, бывший секретарь бывшего министра А.И. Коновалова, почти доцент, но никогда не профессор.

Жена его и двухлетний сын Данилка, пользовавшийся всеобщим успехом, делили с нами и пищу кочегаров, и мертвую морскую зыбь.

Суетился, как всегда, один Василевский, которого

прозвали Сумбур-Паша, без всякой, впрочем, задней мысли, касавшейся его сложного семейного положения.

Положение было действительно сложное, ибо вез он с собой двух жен, — одну бывшую, с которой только развелся, и другую настоящую, на которой только что женился.

Вышел он, однако, из этой путаницы блестяще: одну устроил на корме, другую на носу.

И так, в течение всего пути, и бегал с кормы на нос, и с носа на корму, в боярской шапке и с огромным кипящим чайником в руках, добродушно поставляя крутой кипяток на северный полюс и на южный.

Ехали долго: турецкие мины еще не все были выловлены.

Обгоревшая громадина тоже требовала немало забот и зоркой осмотрительности.

Кроме того, в одно прекрасное утро взбунтовались и негры-кочегары, ошалевшие от красного вина и раскаленных печей.

Скрестили черные руки на черной груди и потребовали капитана Мерантье в машинное отделение.

Василевский вызвался его сопровождать, но одного взгляда стальных глаз было достаточно, чтобы в корне задушить этот самоотверженный порыв.

Переговоры продолжались долго.

Группа ученых и литераторов не на шутку приуныла.

Ремизов взволновался и предлагал написать всех негров по очереди, да еще пастелью.

Большинством голосов пастель была отвергнута.

В ожидании событий кто-то предложил свой корабельный журнал, на страницах которого каждый из присутствующих должен был кратко ответить на один и тот же ребром поставленный вопрос:

— Когда мы вернемся в Россию?..

Корреспонденты с мест немедленно откликнулись. Один писал:

— Через два года, с пересадкой в Крыму.

Последующие прогнозы были еще точнее и категоричнее, но сроки в зависимости от темперамента и ширины кругозора все удлинялись и удлинялись.

Заклочительный аккорд был исполнен безнадежности.

Вместо скоропалительной риторики кто-то, кто был прозорливее других, привел стихи Блока:

И только высоко у царских врат,  
Причастный тайнам плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад.

После полудня негры выдохлись.

Настроение пассажиров быстро поднялось.

Страшная кочегарка показалась хижинкой дяди Тома.

Загудели машины, из покривившихся набок, постра-  
давших от пожара труб вырвались клубы черного дыма,  
и снова закружились неугомонные чайки над старым  
«Дюмон д'Юрвилем».

На шестые сутки — берега Анатолии.

Мирт, и лавр, и розы Кадикия.

Босфор, Буюк-Дере. Дворцы, мечети, высокие кипа-  
рисы.

Колонна Феодосия. Розовые купола Святой Ирины в  
синем византийском небе.

И над всем, над прошлым, над настоящим, сплошной  
довременный хаос, абсурд, бедлам, международный су-  
масшедший дом, который никакой прозой не запечат-  
леть, никаким высоким штилем не выразить.

О, бред проезжих беллетристов,  
Которым сам Токатлиан,  
Хозяин баров, друг артистов,  
Носил и кофий и кальян.

Он фирмиам курил Фареру,  
Сулил бессмертие Лоти.  
И Клод Фарер, теряя меру,  
Сбивал читателей с пути.

А было просто... Что окурок,  
Под сточной брошенный трубой,  
Едва дымился бедный турок,  
Уже раздавленный судьбой.

И турка бедного призывали,  
И он пред судьями предстал.  
И золотым пером в Версале  
Взмахнул и что-то подписал...

Покончив с расой беспокойной  
И заглушив гортанный гул,  
Толпою жадной и нестройной  
Европа ринулась в Стамбул.

Менялы, гиды, шарлатаны,  
Парижских улиц мать и дочь,  
Французской службы капитаны,  
Британцы мрачные как ночь,

Кроаты в лентах, сербы в бантах,  
Какой-то Сир, какой-то Сэр,  
Поляки в адских аксельбантах  
И итальянский берсальер,

Малайцы, негры и ацтеки,  
Ковбой, идущий напролом,  
Темно-оливковые греки,  
Армяне с собственным послом!

И кучка русских с бывшим флагом  
И незатейливым Освагом...  
Таков был пестрый караван,  
Пришедший в лоно мусульман.

В земле ворочались предки,  
А над землей был стон и звон.  
И сорок две контрразведки  
Венчали новый Вавилон.

Консервы, горы шоколада,  
Монбланы безопасных бритв  
И крик ослов... — и вот награда  
За годы сумасшедших битв!

А ночь придет — поют девицы,  
Гудит тимпан, дымит кальян.  
И в километре от столицы  
Хозары режут христиан.

Дрожит в воде, в воде Босфора,  
Резной и четкий минарет.  
И муэдзин поет, что скоро  
Придет, вернется Магомет.

Но, сын растерзанной России,  
Не верю я, Аллах, прости!  
Ни Магомету, ни Мессии,  
Ни Клод Фареру, ни Лоти...

Константинопольское житие было недолгим.

Встретили Койранского, обрадовались, наперебой друг друга расспрашивали, вспоминали:

— Дом Перцова, Чистые Пруды, Большую Молчановку, Москву, бывшее, прошлое, недавнее, стародавнее.

Накупили предметов первой необходимости — розового масла в замысловатой склянке, какую-то чудовищную трубку с длинным чубуком и замечательные сандаловые четки.

Поклонились Ай-Софии, съездили на Принцевы острова, посетили Порай-Хлебовского, бывшего советника русского посольства, который долго рассказывал про Чарыкова, наводившего панику на блистательную Порту.

Как что, так сейчас приказывает запрячь свою знаменитую четверку серых в яблоках и мчится прямо к Абдул-Гамиду, без всяких церемоний и протоколов.

У султана уже и подбородок трясется, и глаза на лоб вылезают, а Чарыков все не успокаивается, — пока не подпишешь, не уйду! А не подпишешь, весь твой Ильдыз-Киоск с броненосца разнесу!..

Ну, конечно, тот на все, что угодно, соглашается; Чарыков, торжествуя, возвращается в посольство.

А через неделю-другую — новый армянский погром и греческая резня...

Но престиж... огромный!

И Порай-Хлебовский только вздыхает и усердно советует ехать дальше — ибо тут, в этом проклятом логовище, устроиться нельзя, невысказано.

...Пересадка кончилась, сандаловыми четками жив не будешь.

Как говорят турки: йок! — и все становится ясно и понятно.

Константинополь — йок; вплавь через Геллеспонт, как лорд Байрон, мы не собираемся; стало быть, прямым рейсом до Марселя на игрушечном пароходике компании Пакэ, а оттуда в Париж, без планов, без программ, но по четвертому классу.

Арль. Тараскон. Лион. Дижон.

Сочинения Альфонса Доде в переводе Журавской?

История французской революции в пяти томах? Черт? Дьявол? Ассоциация идей?

Направо пойдешь, налево пойдешь?

И, одолевая все, сон, усталость, мысли и ощущения, мешанину, путаницу, душевную неприкаянность, — опять та же строка, как ведущая нить, старомодная строчка Апутина:

«Курьерским поездом летя, Бог весть куда...»

\* \* \*

Вышли с дохлыми нашими чемоданами на парижскую вокзальную площадь, подумали, не подумали, и так сразу в самую гущу и кинулись.

Одурели от шума, от движения, от бесконечного мелькания, от прозрачной голубизны воздуха, от всей этой нарядной, праздничной парижской весны, украшавшей наш путь фиалками.

Не ты ли сердце отогреешь  
И, обольтив, не оттолкнешь?  
Ты легким дымом голубеешь,  
И ты живешь и не живешь...

Шли по площадям, по улицам, останавливались, оглядывались, не оглянешься — задавят.

Как правильно говорил Лоло, предусмотрительно опираясь на жену и на палочку:

— Улицу перейти — жизнь пережить!

Долго стояли перед витринами больших магазинов, жадно смотрели на какие-то кожаные портфели, несесеры, портмоне, на шелковые галстуки, на хрустальные флаконы, на розовые окорока у Феликса Потэна, на бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах Картье.

До Люксембурга, до Лувра, до Венеры Милосской еще не дошли.

А пошли насчет паспорта, насчет вида на жительство на улицу Греннель, в посольство, в консульство, к Кандаурову, к Кутушеву, долго им рассказывали о том, что глаза наши видели, они слушали и говорили, что ушам своим не верят.

Так мы по-хорошему и объяснились.

Узнали, что В. А. Маклаков в посольстве бывает редко и вообще держится выжидательно и в стороне.

Зато профессор Сватиков, все еще комиссар, и все еще Временного правительства, приходит ежедневно, и хотя

очень страдает от одышки, но интересуется решительно всем.

Из консульства — к Бурцеву на бульвар Сен-Мишель, где помещалась редакция «Общего дела».

В редакции гам, шум, бестолковщина, кавардак со стихиями.

Главный редактор мил, близорук, беспомощен.

Добрые глаза, козлиная борода, указательный палец желт от курева, рукава на кургузом пиджачке короткие, штаны страшные, а штилеты такие, что наводят панику на окрестности.

Всю свою жизнь прожил на левом берегу, на Монмартре, на Монпарнасе, на улице Муфтар.

Выпил в «Ротонде» немало черного кофе с Лениным и Троцким, которых ненавидит тихо и упорно.

Открыл вопиющее дело Азефа, но говорить об этом не любит, отмахивается, отмалчивается.

Во время войны, в конце 14-го года, вернулся в Россию, говорят, что у него были слезы на глазах.

После Октябрьской революции получил звание наемника Антанты и общественного врага номер первый и в последнюю минуту вырвался в Париж, на Монмартр, на Монпарнас, на улицу Муфтар.

Слез уже не было.

Осталось упрямство, упорство, близорукое долбление в одну точку.

На этих трех китах и держалось «Общее дело», по-французски «La Cause Commune», на раннем эмигрантском жаргоне «Козья коммуна».

Бурцев обласкал, обнадежил, заказал «Впечатления очевидца» и дал сто франков в виде аванса.

Впечатлений набралось немало, строк еще больше, но скоро после этого возникли «Последние новости», и сотрудничество в «Общем деле» ограничилось короткой гастролью.

\* \* \*

Н. А. Тэффи приехала на месяц раньше, чувствовала себя старой парижанкой, и в небольшом номере гостиницы, неподалеку от церкви Мадлен, устроила первый



литературный салон, смотр новоприбывшим, объединение разрозненных.

Встречи, объяснения, цветы, чай, пирожные от Фошона.

— Когда? Откуда? Какими судьбами?

— Из Финляндии? Из Румынии? Шхеры? Днестр? Из Орши? Из Варны? Из Крыма? Из Галлиполи?

Расспросам не было конца, ответам тем более.

Граф Игнатъев, бывший военный атташе, приятно картавил, грассировал, целовал дамам ручки, рассказывал про годы войны, проведенные в Париже, многозначительно намекал на то, что в самом недалеком будущем надо ожидать нового десанта союзников на Черноморском побережье, вероятно, в Крыму, а может быть, близ Кавказа, Мильеран горячий сторонник интервенции, все будет отлично, через месяц-два от большевиков воспоминания не останутся...

Все это было чрезвычайно важно, интересно и казалось настолько бесспорным и неизбежным, что Саломея Андреева, петербургская богиня, которой в течение целого десятилетия посвящались стихи всего столичного Парнаса, не в силах была удержать нахлынувшего потока чувств, надежд и обещаний и так и кинулась нервным прыжком к военному атташе и с неподражаемой грацией и непринужденностью светской женщины расцеловала его в обе щеки.

Восторгу присутствующих не было границ.

Игнатъев сиял, картавил, скалил свои белые зубы, щетинил рыжеватые, безукоризненно подстриженные усы ипил черный, душистый портвейн — за дам, за родину, за хозяйку дома, за все высокое и прекрасное.

Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во все горло Алексей Николаевич Толстой, рассказывавший о том, как он в течение двух часов подряд стоял перед витриной известного магазина Рауля на бульваре Капуцинов и мысленно выбирал себе лакированные туфли...

— Вот получу аванс от «Грядущей России» и куплю себе шесть пар, не менее! Чем я хуже Поля Валери, который переодевается по три раза в день, а туфли чуть ли не каждые полчаса меняет?! Ха-ха-ха!..

И привычным жестом откидывал назад свою знаме-

нитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке.

— А вот и Тихон, что с неба спихан, — неожиданной скороговоркой и, повернувшись в сторону так, чтобы жертва не слышала, под общий, чуть-чуть смущенный и придушенный смех швырнул свою черноземную шутку неуминавшийся Толстой.

В комнату уже входил Тихон Иванович Полнер, почтенный земский деятель и зачинатель первого зарубежного книгоиздательства «Русской Земли», на которое ожидали денег от бывшего посла в Вашингтоне Бахметьева.

То ли застегнутый на все пуговицы старомодный, длиннополый скюртук Тихона Ивановича, то ли аккуратно расчесанная седоватая бородка его и положительная, негромкая речь, — но настроение как-то сразу изменилось, стихло, и положение спас все тот же неиссякаемый, блестящий расточитель щедрот А. А. Койранский.

Выдумал ли он его недавно или тут же на месте и сочинил, но короткий рассказ его не только сразу поднял температуру на много градусов, вызвал всеобщий и искренний восторг, но в известной степени вошел в литературу и остался настоящей зарубкой, пометкой, памяткой для целого поколения.

Приехал, говорит, старый отставной генерал в Париж, стал у Луксорского обелиска на площади Согласия, внимательно поглядел вокруг, на площадь, на уходившую вверх — до самой Этуали — неповторимую перспективу Елисейских полей, вздохнул, развел руками и сказал:

— Все это хорошо... очень даже хорошо... но *Que faire?*<sup>1</sup> Фер-то ке?!

Тут уже сама Тэффи, сразу, верхним чутьем учуявшая тему, сюжет, внутренним зрением разглядевшая драгоценный камушек-самоцвет, бросилась к Койранскому и в предельном восхищении воскликнула:

— Миленький, подарите!..

Александр Арнольдович, как электрический ток, включился немедленно и, трясая всей своей темно-рыжей, четы-

---

<sup>1</sup>Что делать? (фр.) Название известного фельетона Н. А. Тэффи.

рекугольной бородкой, удивительно напоминавшей пресованный листовой табак, ответил со всей горячностью и свойственной ему великой простотой:

— Дорогая, божественная... За честь почту! И генерала берите и сердце в придачу!..

Тэффи от радости захлопала в ладоши — будущий рассказ, который войдет в обиход, в пословицу, в постоянный рефрен эмигрантской жизни, уже намечался и созревал в уме, в душе, в этом темном и непостижимом мире искания и преодоления, который называют творчеством.

— Зачатие произошло на глазах публики! — с уморительной гримасой заявила Екатерина Нерсесовна Дживилегова, жена известного московского профессора и львица большого света... с общественным уклоном.

Ртуть в термометре подымалась.

В.П. Носович, прокурор Сената и блестящий юрист, нашел, что дружеское это чаепитие необходимо увековечить.

— Помилуйте, господа! Ведь это и есть увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта...

— На весь файф-о-клок меня, пожалуй, не хватит, но виновницу торжества, быть может, и удастся изобразить... — неожиданно откликнулся на предложение Носовича изящный, холодный, выхолненный Александр Евгеньевич Яковлев, про которого говорили, что он слишком талантлив, чтобы быть гениальным.

— Надежда Александровна! — обратился он к Тэффи. — Карандаш со мной, слово за вами, согласны?

— Ну еще бы не согласна, — с неподдельным юмором ответила хозяйка дома, — благодаря вам я, кто его знает, может быть, и в Лувр попаду!..

— Рядом с Джокондой красоваться будете! — не удержался восторженный Мустафа Чокаев, представлявший независимый Туркестан на всех файф-о-клоках.

Все принимали самое живое участие в обсуждении предстоящего сеанса, — как надо Тэффи усадить, — с букетом, с книгой в руках? Или, может быть, стоя, у окна?

Но у художника был свой замысел, и спорить с ним никто не решался.

— Буду писать вас в профиль, с лисой на плечах.

А лисью мордочку тоже в профиль, вот так, под самым подбородком! — сдержанно, но властно показывал и распорядился Яковлев, усаживая свою модель в кресло.

— Гениально задумано! — авторитетно поддержал приятеля похожий на кобчика в монокле Сергей Судейкин.

— А вы, господа, занимайтесь своим делом! — сделав свирепое лицо, наставительно заявил Толстой.

И, набросившись на птифуры, добавил, жуя и захлебываясь:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон...

И поза, и цитата были неподражаемы.

Взрыв смеха, черные слезы на глазах Татьяны Павловой, талантливой актрисы, про которую втихомолку остригли, что у нее голос Яворской, плечи Гзовской, а игра Садовской.

«В стороне от веселых подруг», как выразился ее собственный сиятельный муж, сидела на диване, дышавшая какой-то особой прелестью и очарованием, Наталия Крандиевская, только недавно написавшая эти, так поразившие Алданова, и не его одного, целомудренно-пронзительные, обнаженно-правдивые стихи:

Высокомерная молодость,  
Я о тебе не жалею.  
Полное снега и холода  
Сердце беречь для кого?..

Крандиевская перелистывала убористый том «Грядущей России», первого толстого журнала, только что вышедшего в Париже.

Барон Нольде, с обезоруживающей вежливостью, и Сергей Александрович Балавинский, с обезоруживающим восхищением, исполняли роль чичисбеев и вполголоса поддерживали разговор, касавшийся литературного эмигрантского детища.

Журнал редактировали старый революционер, представительный, седобородый Н.В. Чайковский, русский француз В. А. Анри, Алексей Толстой, напечатавший в журнале первые главы своего «Хождения по мукам», и

М. А. Алданов, который в те баснословные годы еще только вынашивал свои будущие романы, а покуда писал о «Проблемах научной философии».

В книге были статьи Нольде, М. В. Вишняка, Дионео, воспоминания П. Д. Боборыкина, «Наши задачи» кн. Евгения Львовича Львова и стихи Л. Н. Вилькиной, посвященные парижскому метро:

...По бело-серым коридорам  
Вдоль черно-желтых Дюбоннэ,  
Покачиваясь в такт рессорам,  
Мы в гулкой мчимся глубине.

По этому поводу Балавинский, сжигая папиросу за папиросой, рассказал, что Зинаида Гиппиус, прочитав эти в конце концов безобидные строчки, пришла в такую ярость, что тут же разразилась по адресу бедной супруги Н. М. Минского весьма недружелюбным экспромтом:

Прочитав сие морсо,  
Не могу и я молчать:  
Где найти мне колесо,  
Чтоб ее колесовать?..

— Пристрастная и злая! — тихо промолвила Наталья Васильевна, утопая в табачном дыму своего кавалера справа.

— А вот и стихи Тэффи, я их очень люблю, хотя они чуть-чуть нарочиты и театральны, как будто написаны под рояль, для эстрады, для мелодекламации.

Но в них есть настоящая острота, то, что французы называют *vin triste*, печальное вино...

— Графинюшка, ради Бога, прочитайте вслух... — собравшись в тысячу морщин, умолял Балавинский.

— Сергей Александрович, если вы меня еще раз назовете графинюшкой, я с вами разговаривать не стану! — с несвойственной ей резкостью осадил старого чичисбея жена Толстого.

Но потом смиростивилась, чудесно улыбнулась и под шум расползавшегося по углам муравейника стала тихо, без подчеркиваний и ударений, читать:

Он ночью приплывет на черных парусах,  
Серебряный корабль с пурпурною каймою.  
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,  
И скажут: «Вот, луна играет на волнах...»

Как черный серафим три парные крыла,  
Он вскинет паруса над звездной тишиною.  
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,  
И скажут: «Вот, она сегодня умерла».

Через тридцать лет с лишним, измученный болезнью, прикованный к постели, Иван Алексеевич Бунин, расспрашивая о том, как было на гве Dagu, хорошо ли пели и кто еще был на похоронах Надежды Александровны, с трогательной нежностью, и поражая своей изумительной памятью, вспомнит и чуть-чуть глухим голосом, прерываемым приступами удушья, по-своему прочтет забытые стихи, впервые услышанные на улице Vignon, когда все, что было, было только предисловием, вступлением, увертюрой, как говорил сенатор Носович.

Но три десятилетия были еще впереди...

Генерал Игнатьев еще не уехал с Наташей Трухановой в Россию, чтоб верой и правдой служить советской власти.

Алексей Николаевич Толстой, уничтожавший Тэффины птифуры, тоже еще был далек от Аннибаловой клятвы над гробом Ленина.

А с прелестных уст Наталии Крандиевской еще не сорвались роковые, находчиво подогнанные под обстоятельства времени и места слова, которые я услышал в Берлине, прощаясь с ней на Augsburger-strasse и в последний раз целуя ее руку:

— Еду сораспинаться с Россией!

...Яковлев уложил карандаши, но показать набросок ни за что не соглашался.

Тэффи облегченно вздохнула и вернулась к гостям.

Было уже поздно. В открытые окна доносилась музыка из соседнего ресторана.

Все почему-то сразу заторопились, шумно благодарили хозяйку, давали друг другу адреса, телефоны, условились о встречах, о свиданиях.

Смотр, объединение, начало содружества, прием, файф о-клок — все удалось на славу.

\* \* \*

Смех был у всякого свой, но хор звучал дружно.

Саша Черный, который с возрастом упразднил петербургского Сашу и стал просто А. Черный, завел себе фокс-стерьера, у которого тоже был псевдоним: назывался он Микки.

Собачку свою Александр Михайлович отлично выдрессировал, и когда намечал очередную жертву для стихотворной сатиры, то сам скромно удалялся под густолиственную сень, а с фокса снимал ошейник и, как говорится, спускал с цепи.

Чутье у этого шустрого Микки было дьявольское, и на любой избранный автором сюжет кидался он радостно и беззаветно.

Но сам автор отходил от сатиры все больше и больше.

Тянуло его к зеленым лугам, к детям, к простым и вечным сияниям еще не постигших, не прозревших, невинно открытых миру сердец и глаз, ко всему, что он так удачно и без вычуров и изысков назвал «Детским островом».

Александр Александрович Яблоновский оставался все тем же, каким его знала читающая Россия.

«Родные картинки», перенесенные за границу, почти не изменились по содержанию.

Тем было сколько угодно.

Голубь, переночевавший в конюшне, не превратился наутро в лошадь.

Подход и трактовка, тонкий и беззлобный юмор и только невзначай заслуженные розги удивительно уживались с тихой, укоризненной улыбкой, за которой следовал добродушный отеческий выговор по адресу пестрой эмигрантской голубятни.

Петр Потемкин, к великому огорчению друзей и почитателей, даже и улыбнуться не успел.

Смерть унесла его рано, слишком рано, и на могилу его мы принесли розовую герань, которую он так любил и так проникновенно воспел, как бы в ответ на вызов, утверждая право на счастье, на подоконники, на герань за ситцевыми занавесками, на все то, что Бобринцев-Пушкин считал мещанским и обреченным, а поэты и Дон Кихоты — обреченным, но человеческим.

Впрочем, и то сказать, не так уж много было цветов герани на эмигрантских подоконниках, и ни уютом, ни избытком, ни обеспеченным пайком не могли похвастаться случайные жильцы шоферских мансард и зашудалых меблирашек.

Но был «Покой и воля» и отдых на крапиве, как говорил Аверченко.

Но все же отдых и передышка.

Бытовую сторону отдыха на крапиве отлично уловил Вл. А. Азов, присяжный фельетонист петербургской «Речи», постоянный сотрудник «Нового Сатирикона», автор «Четырех туров вальса» в «Кривом зеркале» и просто остроумный и даровитый журналист, обладавший каким-то особым, спокойным, джеромовским юмором старой английской школы.

Его русские пословицы в вольном переводе с нижегородского на французский имели немалый и заслуженный успех.

— Малэр арривэ, кордон сильвуплэ! — это могло служить подходящим эпиграфом к любой зарубежной биографии.

— Пришла беда, отворяй ворота...

Михаил Андреич Осоргин юмористом себя не считал, из журналистов перешел в беллетристы, писал повести и романы, писал с увлечением, и читали его тоже с увлечением, и славу он имел быструю и значительную.

«Сивцев Вражек» и «Там, где был счастлив» были большими этапами его большого литературного успеха.

Но тянуло его к юмору инстинктивно и неудержимо, и считался он великим насмешником, а заостренные шутки его были метки и безошибочны.

В «Последних новостях» нередко появлялись его полулирические, полуиронические повествования о том, как надо сесть на землю, разводить огород, сеять русский укроп и нежинские огурцы и что может из всего этого выйти разумного, доброго и вечного, если даже укроп пропадет, а огурцы не примутся.

Все это было легко, мило, воздушно и насмешливо.

Казались тяжеловесными только его философские вставки и примечания, которыми он то и дело приправлял и укроп, и огурчики.



А происходило это оттого, что этот изящный, светловолосый и темноглазый человек отравлен был не только никотином, коего поглощал неимоверное количество, но еще и какой-то удивительной помесью неповиновения, раскольничества, особого мнения и безначалия.

И не только потому, что он мыслил по-своему, а потому, чтобы, не дай Бог, не мыслить так, как мыслят другие.

В этом была раз навсегда усвоенная поза, ставшая второй натурой.

Как-то на балу писателей, заведя одетого с иголки и окруженного дамами Осоргина, А.А. Яблоновский не выдержал и с вечным своим добродушием, но не без доли ядовитости, так ему экспромтом и преподнес:

— Ну какой же вы анархист, Михаил Андреевич? Вы просто-напросто уездный предводитель дворянства, и вам бы с супругой губернатора мазурку танцевать, а не Кропоткина по ночам мусолить!

Осоргин шутку не только проглотил легко, но и оценил ее по достоинству.

Но, что и говорить, главенствующая роль принадлежала, конечно, Тэффи, и по неотъемлемому ее таланту, и по раз навсегда установленной табели о рангах.

Писать она терпеть не могла, за перо бралась с таким видом, словно ее на каторжные работы ссылали, но писала много, усердно, и все, что она написала, было почти всегда блестяще.

Эмигрантский быт был темой неисчерпаемой, и если не все в этом быту подлежало высмеиванию и осмеянию, то смягчающим вину обстоятельством — относилось это и ко всем остальным присяжным юмористам — могло послужить старое и не одной земской давностью освященное двустийшие:

Смеяться, право, не грешно  
Над тем, что кажется смешно.

И, может быть, Тэффи была и права.

И смешным могло ей искренне казаться все без исключения.

Ее «Городок» — это настоящая летопись, по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею.

«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной.

Поэтому жители городка так и говорили:

— Живем худо, как собаки на Сене...

Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.

Остальную часть населения составляли министры и генералы.

Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.

Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали и плодами чужой культуры пользоваться не хотели...

Когда-нибудь из книг Тэффи будет сделана антология, и — со скидкой на время, на эпоху, на географию — антология эта будет верным и веселым спутником, руководством и путеводителем для будущих поколений, которые, когда придет их час, тоже, по всей вероятности, будут бежать в неизвестном направлении, но, во всяком случае, не в гости, а живот спасая.

Ибо велика мудрость Экклезиаста, и не напрасно гласит она, что все в мире повторяется, и возвращается ветер на круги своя.

*Pro domo sua*<sup>1</sup> принято писать кратко.

Правило глупое, но достойное.

Поэтому ничего не скажу про Колпо Сыроежкина, «Дым без Отечества», «Нашу маленькую жизнь» и «Нескучный сад».

Об этом писали другие, именитые и знаменитые.

И Бунин, и Куприн, и Алданов, и Адамович, и Зинаида Гиппиус, и Марина Цветаева, и евразийский князь Святополк-Мирский.

С меня хватит.

Единственно, что в архиве сохранилось, что, вероят-

100-1000

<sup>1</sup>О себе (лат.).

но, мало кому известно и о чем, ввиду отсутствия за рубежом многих советских комплектов, может быть, и стоит упомянуть, это именно о том, что тоже называлось «За рубежом», но в кавычках.

Название это принадлежало советскому еженедельнику, посвященному эмигрантской литературе.

Редактировал еженедельник Максим Горький.

Посвятил он мне следующие строки:

«Д. Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства... Приводим несколько последних произведений поэта контрреволюционного стана».

После чего под заголовком «Поэзия белой эмиграции», — нижним фельетоном, в разворот на две страницы, как выражаются русские метранпажи, — одно за другим следуют шесть длинейших стихотворений, которые — спорить и прекословить не станем — были явно написаны не подозревавшим себя «дворянином», но в коих было столько же безысходной тоски и отчаяния, сколько построчной платы получил за московскую перепечатку белогвардейский бард контрреволюционного стана...

\* \* \*

Не все было весело в русском городке, через который протекала Сена.

Но смешного, чудовищно-нелепого было немало.

Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя Императором.

Царскосельские скачки были перенесены в Сен-Брийак, куда переехали на жительство оставшиеся в живых шуаны, камергеры с ключами и весь двор.

Городок был объявлен столицей, а в гостинице «Мажестик» на Av. Kléber состоялся Зарубежный съезд, устроенный на шальные деньги А. О. Гукасова, мечтавшего на белом коне и лихим галопом вернуться в Россию.

Богатый нефтепромышленник, получивший басно-

словные суммы от сумасшедших англичан за ту самую нефть, которая осталась на Кавказе и которую эти самые англичане после падения большевиков — «большевики кончатся через две недели!» — собирались эксплуатировать, — Гукасов развлекался, как мог.

Издавал орган национальной мысли, который назывался «Возрождение», и устраивал собственную палату депутатов, которая именовалась Зарубежным съездом.

«Возрождение» вначале редактировал бывший редактор «Освобождения», известный экономист и ученый Петр Бегардович Струве, а впоследствии Семенов.

От «Освобождения» до «Возрождения» расстояние большое.

Во всяком случае, куда больше, чем от Штутгарта до Парижа. Но великие люди расстоянием не стесняются, а эволюция государственных идей совершается хотя и медленно, но верно.

Ничего окончательного в этом мире нет, — окончание в следующем номере употребляется только для красоты слога.

Нечего и говорить, что между «Возрождением» и «Последними новостями» сразу установились дружеские и добрососедские отношения, а между Струве и Милюковым немедленно началась интимная «Переписка из двух углов».

На переписку Вячеслава Иванова с Гершензоном подходил этот ежедневный обмен любезностями весьма мало, но литературные традиции были соблюдены.

Так или иначе, а вся эта пища богов заключала в себе немало живительных калорий, благодаря чему духовные интересы эмиграции были обеспечены на многие годы.

Появилась даже своя собственная зарубежная азбука, которая, по имени нового императора Кирилла Владимировича, получила название Кириллицы.

Весь этот русский Амбир подавлял изобретательностью, роскошью, игрой воображения, оригинальностью, новизной, пробуждал умы и веселил души.

Ничего подобного история Европы до сих пор не видала.

Никакой параллели между французской эмиграцией,

бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.

Французы шли в гувернеры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де Ришелье или Ланжерон и де Рибас.

А русские скопом уходили в политику, в философию, а главным образом в литературу.

Были страны, которые чрезвычайно это поощряли и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали еще медалями и орденами.

Так, например, король сербский Александр пригласил к себе во дворец Зинаиду Николаевну Гиппиус и Димитрия Сергеевича Мережковского и, под стройные звуки балалаечного оркестра, собственноручно приколот им орден Св. Саввы первой степени, с мечами и бантом.

И действительно было за что.

У Мережковского было не только большое литературное имя, но еще и особенная, недюжинная, почти патологическая страсть к раболепству и преклонению.

Великие мира сего: короли, халифы, военачальники и диктаторы — ослепляли его, околдовывали, превращали в лепешку.

В конце концов, какое имеет значение, за что именно удостоен был Мережковский королевской милости: за литературу, за пресмыкательство, за «Трилогию» или патологию?

Триумфальное возвращение из Белграда, ленты, ренты, сплетни, стихи, — «шепот, робкое дыханье», «трели соловья»...

А в городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война.

Все пишут, все печатают, все издают.

Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, — валяй, кто хочешь, на Сенькин широкий двор.

Толчея, головокружение, полная свобода печати.

«Наш путь». «Наша правда». «Наш значок». «Стяг». «Флаг». «Знамя». «Знаменосец».

«Вестник хуторян». «Вестник союза русских дворян». «Нация». «Держава». «Русский сокол». «Русский витязь».

«Имперская мысль». «Эриванская летопись». Орган калмыцкой группы Хальмак «Ковыль».

А о количестве «Огоньков» и говорить не приходится.

И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до «Советского патриота» включительно.

И все больше младороссы, младороссы, младороссы.

То есть, попросту говоря, молодые люди, не доросшие до России.

А наряду с этим роман генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени».

Роман Брешко-Брешковского «На белом коне».

Роман Анны Кашиной «Жажда зачатия».

И роман госпожи Бакуниной «Твое тело принадлежит мне...».

Отдых на крапиве продолжается. Музыка играет, штандарт скачет.

\* \* \*

«Иллюстрированная Россия», еженедельник Миронина, дает ежегодный бал с танцами до утра.

Ни пройти, ни протесниться. Толпы несметные.

Туалеты не от Ляминой, а от самих себя, но все же умопомрачительные.

В программе все, что полагается:

Песня индийского гостя из оперы «Садко». Половецкие пляски.

Плевицкая в кокошнике, поет, закрыв глаза:

«Замело тебя снегом, Россия!..»

Зал неистовствует.

Лакей в ливрее несет букет белых роз, перевязанных атласной лентой.

Не хватает только кареты, чтоб выпрячь лошадей и везти любимицу собственными силами.

Через несколько лет за женой генерала Скоблина придет карета из тюрьмы Сэн-Лазар, кокошник будет снят, и удалую жизнь свою любимица, простоволосая и в арестантском халате, кончит в одиночной камере.

Похищение генерала Миллера, председателя Воинского союза, останется государственной тайной, предателей,

на случай внезапного раскаяния, расстреляют, мавр сделал свое дело, мавра — к стенке.

В неведении будущего бал продолжается.

В центре программы — конкурс красавиц, выборы королевы русской колонии.

Вспышки магия, радость родителей и светлая вера в то, что наступит же некогда день и погибнет высокая Троя, и возрожденная Россия соединится с иллюстрированной, и танцы будут длиться всю ночь, до самой зари, до утра.

При особом мнении остаются основатели другого еженедельника, где никаких иллюстраций, никаких обывателей, никаких мещан, одни скифы:

Карсавин, Трубецкой, Святополк-Мирский, Вернадский, одержимый В.Н. Ильин и человек с актерской фамилией Малевский-Малевич.

В подзаголовке никаких точек с запятыми, никаких многоточий, ничего недоговоренного.

«Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии.

Она, шестая часть света, Евразия — узел и начало новой мировой культуры.

Возврата к прошлому нет.

И то, что совершено революцией, — неизгладимо и неустранимо».

Вдохновенные строки Блока обрамляют евразийскую прозу, после чего никаких надежд на продолжительный отдых не остается.

Летит, летит степная кобылица  
И мнет ковыль...

Тираж, однако, небольшой. Жития еженедельнику несколько месяцев. Надгробных речей никаких.

Если не считать непочтительных стихов, посвященных парижским скифам:

Уже у стен священного Геджаса  
Гудит тимпан.  
И все желтее делается раса  
У египтян.

Паломники, бредущие из Мекки,  
Упали ниц.  
Верхом садятся темные узбеки  
На кобылиц.

Плен пирамид покинувшие мумы  
Глядят с тоской.  
И скачет в мыле, в пене и в безумьи  
Князь Трубецкой.

И вот уже, развенчан, но державен,  
К своей звезде  
Стремится Лев Платонович Карсавин  
Весь в бороде...

На следующий день Карсавин звонил в «Последние новости», восхищался, хвалил, благодарил, но упрекнул в поэтической вольности:

— Вы мне прицепили бороду, а я бреюсь безопасной бритвой, и совершенно начисто...

— Хотите опровержение? Тем же шрифтом и на том же месте?..

— Нет, ради Бога, не надо!..

На этом отношения с Евразией благополучно окончились.

Остальное — дело Истории.

Которая, как всегда, вынесет свой беспристрастный приговор.

\* \* \*

Из далекой Советчины доносились придушенные голоса Серапионовых братьев; дошел и читался нарасхват роман Федина «Города и годы»; привлёк внимание молодой Леонов; внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий Дон» Шолохова.

Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин и, где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая...».

Близким и понятным показался Валентин Катаев.

Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом задевала за живое «Конармия» Бабеля.

И только когда много лет спустя появился на парижской эстраде так называемой хор Красной Армии, и, отбивая такт удаляющейся кавалерии с такой изумительной,



ни на одно мгновение не обманывавшей напряженный слух, правдивой и музыкальной точностью, что, казалось, топот лошадиных копыт замирал уже совсем близко, где-то здесь, рядом, за неподвижными колоннами концертного зала, а высокий тенор пронзительно и чисто выводил этот щемивший душу рефрен — «Полюшко, поле»,... — тут даже сумасшедший Бабель стал ближе, и на какой-то короткий миг все чуждое и нарочитое показалось, рассудку вопреки, родным и милым.

Впрочем, от непрошеной тоски быстро вылечил чувствительные сердца Илья Эренбург, от произведений которого исходила непревзойденная ложь и сладкая тошнота.

Да еще исполненный на заказ сумбурный роман Ал. Толстого «Черное золото», где придворный неофит бесстыдно карикатурил своих недавних меценатов, поивших его шампанским в отеле «Мажестик» и широко раскрывавших буржуазную мощь на неумеренно роскошное издание толстовской рукописи «Любовь — книга золотая».

«Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости оттенок благородства!»

Впрочем, все это были только цветочки, ягодки были впереди: «Петр Великий» еще только медленно отслаивался в графских мозговых извилинах, и обожествления Сталина, наряженного в голландский кафтан Петра, не предвидел ни чудесный грузин, ни смущенный Госиздат.

Зато на славу развлекли и повеселили «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, и первое, по праву, место занял всеми завладевший сердцами и умами неизвестный советский гражданин, которого звали Зощенко.

О чудотворном таланте его, который воистину, как нечаянная радость, осветил и озарил все, что творилось и копошилось в темном тридевятом царстве, в тридесятom государстве, на улицах и в переулках, в домах и застенках, на всей этой загнанной в тупичок всероссийской жилплощади, о чудодейственном таланте его еще будут написаны книги и монографии.

В литературный абзац его не вместишь, и, стало быть, покуда будут эти книги написаны, одно только и остается: отвесить утешительно дней низкий земной поклон.

После Зощенко кто мог читать Демьяна Бедного, Ефима Зозулю и прочих казенно-коштных старателей и юмористов.

А ведь, кроме комсомольских увеселителей, были якобы и всамделишные писатели из народа, поэты от сохи, от подпочвы, которых подавала «Молодая гвардия», одергивала за уклон «Литературная газета» и производила в лауреаты Академия наук.

Где они? Кто они? Какое наследие оставили они не то что надменному веку, а хоть одной покладистой пятилетке?

Имя им — легион, произведения их — пыль.

Помнится, невзначай указал мне Адамович на одного из легиона, и тоже от сохи, некоего Мих. Светлова.

Издание «Молодой гвардии», сборник стихов «Ночные встречи».

Не приведи господи встретить такого ночью!..

Но все же, для памяти, записал в записной книжке.

Четыре строчки из стихотворения «На море»:

Там под ветра тяжелый свист  
Ждет меня молодой марксист.  
Окатила его сполна  
Несознательная волна...

Да! Этот не то что от сохи, а от самых земных пластов, от суглинка, от рыхлого чернозема.

Такая мощь и сила в нем,  
Что, прочитав его творенья,  
Не только чуешь чернозем,  
Но даже запах удобренья.

\* \* \*

Редким и, может быть, единственным исключением в импровизированном хаосе зарубежных начинаний являлись «Последние новости».

Возникли они из небытия, но оформление их произошло быстро, и бытие оказалось прочным, крепким и на долгие годы обеспеченным.

Ни тарелочного сбора, ни меценатских щедрот.

Все шло самотеком, издателям на утешение, заграничному отечеству на пользу.

Тираж рос, подписчиков хоть отбавляй, отдел объявлений работал до отказа, и в пятом часу утра уже на всех

парижских вокзалах грузились кипы свежих, вкусно пахнущих типографской краской номеров, с заманчивой бандеролью:

Лион, Марсель, Гренобль, Нью-Йорк, Белград, Вена, София, Истамбул, Англия, Швейцария, Испания, Алжир... полный курс географии, до Гонолулу включительно.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой», и судьба раскидала людей по всему лицу земли.

Отсюда и география.

В директорском кабинете одиноко заседал бывший член Государственной думы, по убеждениям кадет, по образованию агроном, Николай Константинович Волков.

Заседал он двадцать лет без малого и все подсчитывал строчки.

Коммерческую часть держал крепко, при слове «аванс» покрывался легкой испариной, в издательском деле ровным счетом ничего не смыслил, но общественное добро берег как зеницу ока.

На заседаниях правления Волков долго и обстоятельно докладывал, а председательствовал Александр Иванович Коновалов, бывший московский миллионер, член Временного правительства, старый либерал и общественный деятель.

Ал. Ив. скучал, хмыкал, что-то такое жевал, выпячивал нижнюю губу и явно томился.

Был у него широкий размах, привычка к большим делам и, по сравнению с «Товариществом мануфактур Ивана Коновалова с сыном», микрокосм заграничной газеты казался ему чем-то бесконечно малым.

В соседних комнатах на улице Тюрбиго, над кофейней Дюпона, работала контора, принималась подписка, пожертвования в пользу больных, неимущих, инвалидов, а по субботам выдавались гонорары, вычитывались авансы, и заведовавшая буфетом Любовь Дмитриевна, вдова Потемкина, отпускала в кредит сладкие пирожки собственного изделия и кузьмичевский чай в стаканах.

Но самое священнодействие происходило на другом конце огромного, занимавшего целый этаж редакционного помещения.

В четыре часа дня, летом в жару, зимой в холод, с ре-

гулярностью человека, до конца исполняющего свой долг, появлялся П.Н. Милюков.

Неумный, широкоплечий, охраняющий входы Н.В. Борисов, за которым впоследствии так навсегда и установилось звание «папин мамелюк», вытягивался во весь свой рост и в узком коридоре первым встречал Павла Николаевича.

Папаша — так заочно именовали главного редактора — немедленно следовал во внутренние покои и сейчас же принимался за чтение рукописей, которые раньше всех и с немалым остервенением уже зорко просмотрел Ал. Аб. Поляков и для проформы перелистал И.П. Демидов.

Милюков читал долго, упорно и добросовестно. От строки и до строки.

Несмотря на всю свою благожелательность, подход к авторам у него был заранее подозрительный.

Всюду чувствовались крамола, контрабанда, отступление от «генеральной линии».

Надо сказать правду, что подозрительность его имела основания, ибо в смысле политических убеждений, склонностей и симпатий — состав сотрудников «Последних новостей» единого целого далеко собой не являл.

\* \* \*

Свзирая, однако, на разнокалиберность состава и на неодинаковость склонностей и убеждений, жили мы на редкость дружно, тесно, а порою и весело.

Душой газеты и настоящим, неполитическим ее редактором был, разумеется, все тот же А. А. Поляков.

Милюков возглавлял, Поляков правил.

Альбатрос парил в поднебесье, рулевой стоял у руля.

Стоял и наводил панику на окрестности.

Сокращал Минцлова, укрощал многострочного Вакара, доказывал Павлу Павловичу Гронскому, что Милюков статьи его все равно не пропустит, и красным карандашом, краснее которого не было на свете, перечеркивал опасные места, советуя их исправить заранее.

Потом, завидев Полякова-Литовцева, хватался за голову и затыкал уши, ибо наперед знал, что Литовцев не только развернется на два полных подвала, но еще будет

читать всю свою многоверстную статью вслух и после каждого абзаца захлебываться и требовать шумного и немедленного одобрения.

А специальностью Абрамыча было все, что угодно, но во всяком случае, не восхищение и не угождение.

Андрей Седых, которого все любили за веселый нрав и несомненное остроумие, говорил по этому поводу, что в России было три словаря — один Грота, другой Даля и третий Ал. Абр. Полякова.

На что Поляков неизменно отвечал ему одной и той же тирадой, выдернутой на этот случай из какого-то моего давнишнего альбома пародий:

— Эй вы, Седых, чертова кукла, идите-ка сюда и послушайте!

Седых, не подымаясь с места, сейчас же и весьма не-принужденно парировал:

— Лучше быть чертовой куклой, чем очковой змеей.

Прозвище было придумано все тем же своевольным Андреем и заключало в себе весьма прозрачный намек на знаменитые Абрамычевы очки, через стекла которых сверкал и пронзал очередную жертву неумолимый взгляд когда-то голубых глаз.

Поляков терпеливо и угрожающе ждал, пока Седых, под непрерывный стук пишущих машинок, не выговорит весь свой репертуар.

— Красноречивей слов иных очков немые разговоры!.. — продолжал подливать масла в огонь неуминавшийся король репортажа.

Наконец, когда уже все реплики были очевидно исчерпаны, Седых без всякого энтузиазма подходил к столу Саванароллы — еще одно из многих прозвищ Абрамыча — и с невинным видом спрашивал:

— Вы мне, кажется, хотите сказать что-то приятное?

Поляков наклонялся через весь стол и с убийственной отчетностью произносил свою излюбленную фразу:

— Я вам хотел сказать, молодой человек, то, что вам хорошо известно...

— А именно? — продолжая криво улыбаться и уже заранее трясаясь от душившего его смеха, наигранной октавой спрашивал Седых.

Все четыре машинки во мгновение ока останавлива-

лись, и Поляков, комкая отчет о заседании Палаты, только что отстуканный королем репортажа, уже в полном бешенстве выражался вовсю:

— Известно ли вам, молодой человек, что заседания Палаты депутатов происходят в Париже, а не в Феодосии? И что то, что вы переводите с французского, предпочтительно переводить на русский, а не на крымско-татарский?

— А именно? — продолжал уже менее независимо вопрошать уроженец Феодосии Седых.

В ответ на что Саванаролла шумно отодвигал свой расшатанный, с просиженным сиденьем, стул и, тыкая изуродованную красным карандашом рукопись под самый подбородок ошарашенного референта, уже не орал, а гремел:

— А именно... Вы еще смеее спрашивать. А именно то, что, как выразился один из наших сотрудников:

И при Гроде, и при Дале  
Вам бы просто в морду дали  
За подобные слова!

Чтоб заглушить хохот, все четыре машинистки сразу ударяли по всем своим клавишам, и под стук четырех «ундервудов» исторический диалог замирал.

Повторялись эти дружеские перебранки не только ежедневно, но и по нескольку раз в день.

В отношении работы Поляков был нетерпим и спуска не давал никому.

Попадало Швырову за перевранное сообщение из Лондона; попадало Шальневу за такое неслыханное преступление, как то, что беговая лошадь взяла первый приз на скачках, когда нужно было сказать на бегах; гром и молнии обрушивались на голову бедного Сумского, который позволил себе информационную заметку о присуждении Нобелевской премии неожиданно закончить латинским изречением — *Caveant consules!* — явно намекая на то, что он, Сумский, с мнением жюри не согласен.

— А кто вас спрашивает, согласны вы или нет? И вообще куда вы лезете и при чем тут латынь?

Вслед за чем следовало несколько избранных выра-

жений, которых, как правильно говорил Седых, нельзя было найти ни у Грота, ни у Даля.

Но в особенный раж приводили его пишущие дамы, как называл их Чехов, приносившие «небольшой рассказ».

Борисов, дежуривший у телефона, приходил и спрашивал:

— Звонила госпожа Беляева, просит сказать, когда будет напечатан ее рассказ «Любовь до гроба».

— Пошлите ее...

Борисов, однако, продолжал настаивать:

— Но что же ей все-таки сказать?

— Скажите ей, пусть повесится!

\* \* \*

— Мишка, крути назад!

1 марта 1931 года.

Никакой заслуги в том, что дата эта приводится со столь разительной точностью, нет.

Ибо, несмотря на бурную деятельность немецких гауляйтеров, очищавших и по приказу повешенного впоследствии Розенберга вывозивших в Германию все, что имело хоть какое-нибудь отношение к политической или бытовой истории русской эмиграции, в архиве автора, не тронутым предшественниками канцлера Аденауэра, случайно уцелело и ниже приводимое посвящение П.Н. Милюкову по случаю десятилетия его редакторской деятельности в «Последних новостях».

Чествование, или банкет, скорее, семейный праздник в слегка расширенном по такому случаю кругу сотрудников и ближайших единомышленников П.Н., происходил в ресторане Félix Potina, помещавшемся на первом этаже (обычно ресторан предназначался только для деловых завтраков и вечером был закрыт), как раз над гастрономическим магазином того же, славившегося своим бакалейным товаром парижского épicerie.

Поэтому все участники этого эмигрантского торжества и приглашенные, а было их около ста человек, собравшись к 8 часам вечера, после закрытия магазина, должны были, чтобы попасть на банкет, пройти чрез длинные анфилады внушительных холодильников, прилавков, стоек,

полок, столов, уставленных розовой ветчиной, страсбургскими паштетами, миланскими колбасами, всякими остропахнущими добротными сырами, копченьями, соленьями, бочками маслин, сельдей и прочей грешной и аппетитной снеди, вызывавшей, как у павловских собак, немедленные условные рефлексы.

Все это было настолько неожиданно и... оригинально, что покойный Г.М. Арнольди, «председатель русско-демократического объединения», обладавший вкусом и злым языком, не выдержал и так и буркнул одному из главных растяп и устроителей:

— Чехова хоронить привезли в вагоне от устриц, а чествовать Милукова будут в бакалейной лавке...

Несмотря, впрочем, на эту действительно неосмотрительную нелепость — распорядителем был один из бывших министров Временного правительства, — сам юбиляр, как и следовало ожидать, не обратил на холодильники ни малейшего внимания и с обычной своей несколько смущенной, столь знакомой всем улыбкой торжественно проследовал меж рокфоров и лимбургских сыров, прямой и слегка розовый, ведя под руку незабываемую Анну Сергеевну, седую, вечную курсистку, а на склоне лет председательницу общества университетских женщин.

Местничества и табели о рангах в этом своеобразном мире почти и не существовало, но все же само собой, а вышло как-то так, что главный штаб фатально очутился поблизости к своему редактору, а остальные уселись как попало.

Сразу стало шумно, непонятно, уютно и весело.

Заговорили все сразу, прямо через столы и по диагонали, сбоку и наискосок, так что обносившие блюда французские лакеи только растерянно улыбались и смущенно переглядывались с непроницаемыми метрдотелями.

Речи начались рано и кончились поздно.

Вспоминали прошлое, пили за будущее, «подымали свой бокал», кто-то, конечно, расчувствовался и так и сказал, что слезы мешают ему говорить, после каждой речи следовали бурные аплодисменты и троекратные лобызания юбиляра, который, как и все в жизни, и это перенес стоически.

Во всем этом было много теплоты, немало искренно-



сти, но немало и умолчаний и опасных уклончиков от генеральной милюковской линии, как ядовито пояснял Мих. Андр. Осоргин.

— Ну, а теперь, после ужина, горчица, и, стало быть, очередь за вами, — ласково, но не без редакторской повелительности обратился к автору настоящих воспоминаний ставший под конец совсем пунцовым Павел Николаевич.

Приветствие было в стихах, и, конечно, не только заранее написано, но по просьбе А. И. Коновалова отпечатано на правах рукописи в количестве 60 экземпляров под нейтральным заглавием «Всем сестрам по серьгам» и с пометкой даты: 1 марта 1921 — 1 марта 1931.

На расстоянии лет, десятилетий даже, все так переменялось, поблекло, безвозвратно ушло, навсегда умолкли когда-то бодрые, молодые голоса, а от многочисленных и шумных участников банкета, — или, как говорил все тот же Арнольди, «Пир» Платона у Потэна, — осталась в живых только малая горсть, и то рассеянная по всему лицу нерусской земли.

Но если, рассказывая о том, что было, не следует увлекаться ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод, то, может быть, тем более неуместно поддаваться гамлетовским сомнениям и задавать самому себе все равно нерешенный и неразрешимый вопрос: стоит ли ворошить прошлое?..

После предисловий и реверансов и, разумеется, с некоторыми неизбежными пропусками и сокращениями — ведь у каждой эпохи есть своя акустика, — вот это открытое земской давностью юбилейное посвящение, последние экземпляры которого исчезли, как и весь Пражский архив, в котором они находились.

Горит восток зарею новой...  
Уже на Пляс Палэ-Бурбон  
Седой, решительный, пунцовый,  
Свои стопы направил он.

Вокруг — сотрудников шпалеры.  
Ползет молва из-за кулис.  
В кустах рассыпались эсеры.  
Гудят грузины. Брызжет Рысс.

Сквозь огонь окопов прет Изгоев.  
На левом фланге — сам Чернов.  
На правом в качестве героев  
Застыли Марков и Краснов.

Отрядов пестрых Мельгунова  
«Нависли хладные штыки».  
Вдали мелькают вежи Львова.  
Заходят в тыл меньшевики.

Тогда не свыше вдохновенный,  
На то он слишком атеист,  
А точный, ясный, неизменный.  
И, как всегда, позитивист,

Одной и той же предан думе,  
И, не витая в небесах,  
Все в том же сереньком костюме,  
Давно протертом на локтях,

«Идет. Ему коня подводят...»  
Но таково его нутро —  
Он лошадь роскошью находит  
И опускается в метро.

И, путь вторым проделав классом,  
Слегка смущенный, весь в пыли,  
К верхам, к низам, к эрдекам, к массам  
Выходит вновь из-под земли.

В его руках — передовая.  
На пальцах — кляксы от пера.  
«И се, равнину оглашая,  
Далече грянуло ура.

И он промчался пред полками»,  
Простой, решительный, седой.  
Сверкая круглыми очками...  
«За ним вослед неслись толпой»

Гнезда папаши Милюкова  
Достопочтенные птенцы,  
Его редакторского слова,  
Как выражается Кусова,  
Издревле верные жрецы:

Демидов, ласковый и смуглый,  
И Волков, твердый, как булат.

И Коновалов, с виду крутлый,  
А по характеру — квадрат.

Маститый Неманов-Женевский,  
Борисов, папин мамелюк,  
Научный двигатель Делевский,  
И просто двигатель — Зелюк.

И все проделавший этапы  
Столь многочисленных карьер,  
И посвященный буллой папы  
В чин кардинала Кулишер.

И хмурый Марков, вождь казацкий,  
Дитя землячеств и станиц.  
И, наконец, профессор Шацкий,  
«Одно из славных русских лиц»..

И, с анархического фланга,  
Немного буйный Осоргин.  
И капитан второго ранга  
Отшвартовавшийся Лукин.

Князья — Бярятинский, Волконский,  
Князь Оболенский, Павел Гронский,  
И Зуров, Бунинский тиун.  
Последний римлянин Лозинский,  
Всегда обиженный Ладинский,  
И Сумский, он же и Каплун.

И Адамович ядовитый,  
Чей яд опаснее боа,  
И сей, действительно маститый  
И знаменитый Бенуа.

И рядом маленький Унковский,  
И Дионео, он же Шкловский, —  
Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон.  
И Шальнев, харьковский иль тульский,  
И проницательный Мочульский,  
И тьма министров и персон.

И, с виду дож венецианский,  
Не граф, но все-таки Сперанский,  
И Мад, и вдумчивый Цетлин,  
И Абадиев, горный сын,  
Наш богом данный осетин.

И Оцуп, выдумавший «Числа».  
И Мейснер, спирт и скипидар.  
И на строку глядевший кисло  
Братоубийственный Вакар.

И, по обычаю Прокруста, —  
Рукой Абрамыча-отца  
Усекновенная Августа  
Без предисловья и конца.

И он, осолнечен, олунен,  
Пред ликом чьим лишь ниц падешь,  
О ком сказал директор: — Бунин  
Уж очень дорог, но хорош!

И дважды крупный Калипевич,  
Как таковой, и как Словцов.  
И Мирский, он же и Гецевич,  
Из оперившихся птенцов.

И Кузнецова — дочь курганов,  
И сам блистательный Алданов,  
И Вера Муромцева, и —  
Усердный Зноско, чьи статьи  
Почище всяческих романов.

И Азов, старый сибарит.  
И Поляков из объявлений.  
И наш Ступницкий, наш Арсений,  
Папашин новый фаворит.

И указательный, как палец,  
Мякотин, местный иерей.  
И Жаботинский, друг-скиталец  
И друг «Последних новостей».

И Бенедиктов благородный,  
И Метцлей, выводок дородный,  
Зажатый Волковым в кулак.  
И счастья баловень безродный  
Андрей Моисеевич Цвибак.

И он, чей череп пребывает  
В жестоковыйном декольте,  
Кто культам всем предпочитает  
Российский культ maternité.  
Кто сам и ось, и винт, и смазчик,  
Кто рвет, и мечет, и клянет,

И прячет рукописи в ящик  
И в тот же ящик и плюет.  
Чей нрав, крутой и беспашашный,  
Присмлет даже Милуков,  
Кто Поляков, но самый страшный,  
И самый главный Поляков...

...И с ними в бешеном галопе  
Под черной сотни стон и крик  
Промчался бурей по Европе  
Сей поразительный старик.

Вокруг чернил бурлили реки,  
Был пуст и мрачен горизонт.  
Но плотным строем шли эрдеки  
И вширь выравнивали фронт

Ротационные машины  
Гудели грозно... И во мрак  
Уходит Струве сквозь теснины,  
Сдается пламенный Вишняк.

По швам, по золоту лампасов,  
Треплет светлейший Горчаков.  
Ногою дрыгает Гукасов,  
Рукою машет Маклаков.

Слюну в засохшие чернила  
Семенов в судорогах льет.  
Взбесясь, киргизская кобыла  
В обрыв Карсавина несет.  
И Мережковский Атлантиду  
И рвет и мечет по частям,  
И посылает Зинаиду...  
На мировую к «Новостям».

...Но годы мчатся. Наступает  
Тот день, когда средь мирных стен  
«Как пахарь битва отдыхает»  
И смелых чествует Putin.

И от работы ежедневной  
Освободясь на миг один,  
С женою, с Анною Сергеевой,  
Сверкая холодом седин,

Слегка взволнованный, смущенный,  
Друзей вниманием польщенный.  
Старик пирует...

\* \* \*

Лобызания. Аплодисменты. Весь ритуал. Все, как полагается. Холодильники остались на месте. Банкет кончился.

\* \* \*

А через несколько дней пришла открытка из Грас-са, высочайший рескрипт за подписью Бунина:

— Придворный льстец,  
Но молодец!

\* \* \*

Автор к автору летит,  
Автор автору кричит:  
Как бы нам с тобой дознаться,  
Как бы нам с тобой издаться?

Отвечает им Зелюк:  
Всем, писаки, вам каюк!  
Отвечает им Гукасов:  
Не терплю вас, лоботрясов!

Отвечает Имка: Мы Издаем одни псалмы!

Шутливая пародия эта, написанная не присяжным юмористом, а самим Ив. Ал. Буниным, метко отражала положение книжного дела в эмиграции.

Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, типографы печатали календари.

И вдруг — среди бела дня — сцена заклинания духов.

Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в Петербурге издавал первый «Сатирикон».

Дух тщательно выбрит, тонзура, как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.

Время — деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни придаточных предложений.

— Решил возобновить «Сатирикон», хотите быть редактором?

— Идея гениальная, а редактором будете вы сами.

— Почему же не вы?

— Потому что дорожу отношениями и не хочу их портить.

Корнфельд опешил:

— Помилуйте, какой же я редактор? В издательском деле, в книжном, в художественной части, в оформлении я, можно сказать, собаку съел. Но взять на себя редактирование, нет, не чувствую себя в силах...

— Скромность подобна плющу, который опутывает ветки молодости... А так как вы уже не молоды, то скромность ваша ни к селу ни к городу. Кроме того, вспомните, что сказал наш общий друг Ленин: «И любая кухарка может управлять государством».

А редактировать журнал тем более!

— Спасибо за кухарку! — обиженно протянул в нос прелат с бабочкой, но после третьей рюмки Мартелля — три звездочки, *modus vivendi*, или, как переводили бурсаки из Квитко-Основьяненко, мода на жизнь, была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками — его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне.

Состав сотрудников блистал всеми цветами радуги.

Чтоб не портить отношений, были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты, которые за границей сами произвели себя в профессора.

Из старых сатириков оказались налицо всего трое — Влад. Азов, Валентин Горянский и Саша Черный.

Остальные тоже сами произвели себя в юмористы.

Художники и рисовальщики откликнулись с величайшей живостью.

А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, Добужинский, Стеллецкий, Шухаев, Ал. Яковлев, Терешкович, Пикельный, Серебряков и главный застрельщик, талантливый, блестящий Икс, который свои литературные произведения подписывал именем Тимирязева, а под рисунками и карикатурами ставил другой псевдоним — Шарый.

Настоящая фамилия его была куда звучнее, и слава

была прочной, а наличие псевдонимов объяснялось иными соображениями...

Была весна. Апрель. На больших бульварах одурявший запах золотых мимоз, привезенных из Ниццы, парижских фиалок, розовых гвоздик.

Первая страница первого номера посвящена безвременно ушедшим Петру Потемкину и Аркадию Аверченко.

Разве мог он знать и чаять,  
Что за молодостью дерзкой  
Грянет страшная гроза —  
Годы темного разгула,  
Годы горького скитанья,  
И что все засыплет пепел —  
И улыбку и глаза.

Стихи были посвящены покойному Аверченко. Написал их Саша Черный. А через короткое время хоронили его самого.

\* \* \*

На долю «Сатирикона», третьего по счету, выпал большой и заслуженный успех.

Так выражались не только рецензенты, но и вся именитая и знаменитая литературная табель о рангах и просто обыкновенные смертные, платившие три франка золотом за отпечатанный на отличной бумаге номер.

Рисунки Бенуа, Шухаева, Добужинского, старый Петербург, стихи Агнивцева — «Подайте Троицкому мосту, подайте Зимнему дворцу...» — русская ностальгия неизбежно врывалась в веселый, не совсем, впрочем, беззаветный смех.

Графическая сатира таинственного Шарого была и просто замечательна.

Его портреты вождей, матроса Дыбенко, Троянский конь, Яблочко, школа дипломатии, эмигрантский вариант дяди Вани, Чарли Чаплина у подножия Сфинкса, с пояснением — «Великие Немые» — все это, конечно, войдет в маленькую историю, в большую хрестоматию подлинного не смеха, а юмора.

Много остроты и верного чутья было в неожиданных по теме и трактовке рисунках Гросса и Пикельного.



Много прозы, как всегда занятой, но уже дышавшей раздражением и усталостью, аккуратно поставлял из своего итальянского убежища А.В. Амфитеатров.

Отлично писал в манере Гофмана Валентин Горянский.

Как всегда, мудрил и мудрствовал А.М. Ремизов.

И упорно подражал самому себе Вл. Азов.

Стихов была бездна, все они были, вероятно, совершенно гениальны, так как на следующий день их уже никто не помнил.

Пытался грешить пером Никита Балиев.

Так называемые юморески, весьма, впрочем, милые, давал Н.Н. Евреинов.

Грешил стихами и прозой и я сам, подписывая прозу неизвестно почему К. Страшноватенко.

Очевидно, удачны, потому что запомнились, были анонимные пояснения под некоторыми карикатурами и рисунками.

Под анонимом следует разуместь плод коллективного творчества. Помню чудесный фотомонтаж Шарого, изображавший С. В. Рахманинова в ореоле славы, и подпись к нему:

Руками громы извлекаю,

Ногой педали нажимаю.

Я — Рах! Я — Мал Я — Ни! Я — Нов!

На другом рисунке похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры, и одна другую спрашивает:

— Как вы думаете, попадет он в царствие небесное?

— Не думаю... для этого он слишком застенчив.

Или вот еще замечательная карикатура того же Шарого:

«К уразумению смысла русской эмиграции». Сидит в кресле Илья Ильич Обломов. На коленях у него уцелевший экземпляр «Столицы и усадьбы», а в руках похожая на свастику большая буква Ять.

По лицу текут слезы. А пояснение такое:

О славном прошлом въздыхает

И Ять слезами обливает...

Или еще. Рисунок Шварца — современная Клеопатра. Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись:

«Какая тоска... Ни Цезаря, ни Антония — одни художники!»

Всего, конечно, не вспомнишь, а и вспомнишь — не перескажешь.

Но бился в этом третьем «Сатириконе» живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то около года просуществовал и потом взял и помер.

Друзья говорили — денег не хватило, враги говорили — юмор был, а юмористов как кот наплакал.

Плакал он, очевидно, недолго, и сдается мне, что на этот раз враги были правы.

\* \* \*

Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречен на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, — кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали, — несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.

«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве и не в Елецком уезде Орловской губернии.

Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в

отдельном купе на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.

Все вещи Алданова, начиная от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками», — блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, — задуманы и созданы в эмиграции, за границей, за рубежом.

Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева — «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский» — все это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.

Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.

Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.

То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.

А об историках, философах и ученых и говорить не приходится.

Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун — вся эта Большая, а не Малая медведица расточала свой звездный блеск тоже не на русские, а на иностранные горизонты.

И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарева, не убоившихся легкокрылого афоризма, что, мол, на подосвах сапог нельзя унести с собой родину...

Оказалось, что можно и что история повторяется.

И что даже их советские превосходительства, полпреды и торгпреды, притаившиеся в глубине лож, чтоб тайком взглянуть и услышать живого Шалапина на сцене Парижской оперы, и те не могли сдержатъ контрреволюционных восторгов и роняли невзначай неосторожное слово:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...

Да и как могло быть иначе, когда шалаяпинская легенда творилась на глазах публики, на глазах всего мира, и голос его звучал в сердцах и увековечивался на дисках, а аплодировал ему и Старый Свет, и Новый Свет.

А он как одержимый носился по всему земному шару, с материка на материк, с континента на континент, пересекал моря и океаны, из Сан-Франциско в Токио, из Шанхая в Массачусетс, и, утомленный, упоенный, счастливый, возвращался «домой», в Париж, в собственный многоэтажный дом на Avenue d'Eylau, где ждали его многочисленные дети и неотложные дела — знаменитые завтраки с друзьями.

\* \* \*

В горнице Бориса Годунова, прямо против входных дверей, сразу бросалась в глаза «Широкая Масленица» Кустодиева, та самая, с Шалаяпиным в шубе, в бобровой шапке, над Москвой, над метелицей, над качелями и каруселями.

А в открытое окно — как на ладони, Эйфелева башня, вся в тонких стропилах, перехватах, антеннах и кружевах.

Первым делом — портвейн, черный-черный, густой и, как говорит сам Федор Иванович, неслыханного аромата.

Потом разговор о всякой всячине, разговор так, вообще.

Разговор в частности придет в свое время.

— Хотите, дорогой, излюбленный ваш диск послушать?

— Ну, еще бы! Сколько раз подряд готов слушать...

Хозяину и самому диск по душе.

Грамофон, конечно, первый сорт, американской марки, последнее слово техники.

Кресла мягкие, глубокие, портвейн действительно неслыханного аромата, а из волшебного ящика волшебный голос, и какая четкость, и какие слова!

Жили двенадцать разбойничков,

Жил Кудеяр-атаман.

Много разбойнички пролили

Крови честных христиан.

Шалаяпин самому себе вполголоса подпевает, а хор Афонского, словно литургию служит, на церковный лад,

торжественно и настойчиво, на низких регистрах подхватывает:

— Господу Богу помолимся!..

Все неслыханно, все неправдоподобно: и черный портвейн, и Кудеяр-атаман, и русское пение, и византийский рефрен, и степной богатырь в европейских манжетах, и антенны Эйфелевой башни, и «Широкая Масленица» Кустодиева.

Потом все станет пьянее и понятнее.

За огромным длинным столом в столовой — моложавая, дородная, нарядная Мария Валентиновна, сыновья Борис и Федор, и дочери, одна другой краше, Стэлла, Лидия, Марфа, Марианна и последняя, отцовская любимица, Дассия.

На столе графины, графины, графины.

Зубровка, перцовка, рябиновая, сливовица, польская запеканка и настоящая русская смирновка с белой головкой, с двуглавыми орлами на зеленой наклейке.

И все это не столько для питья, сколько для глаза, для радости чревоугодного созерцания.

Завтрак длится долго. Весело, но чинно.

Федор Иванович оживлен, шутит, дразнит поочередно то одного, то другого, и только маленькой Дассии с трогательной белокурой косичкой, перевязанной розовой ленточкой, то и дело посылает воздушные поцелуи.

Дассия краснеет, а папаша не унимается.

Для апофеоза — гурьевская каша, пылающая синим ромовым огнем, подает сам повар, весь в серых штанах в клетку, в фартуках, в колпаках, глаза лукавые, почтительная улыбка во весь рот.

Коньяк и кофе в царской горнице, разговор вдвоем, разговор в частности.

— Со сцены, дорогой мой, надо уйти вовремя. В расцвете сил, и, как поется в старинном романсе, глядя на луч пурпурного заката.

А не то, что когда солнце уже зашло и в зале начинают сморкаться и покашливать.

Так вот, есть у меня давнишняя, на совесть продуманная, под самым сердцем выношенная идея...

Хочу поставить «Алеко» Рахманинова!

Это его первая опера, написанная по классу композиции при окончании Московской консерватории.

Оперу эту никогда нигде не ставили, и ее почти никто не знает. Свежесть и сила в ней необычайные.

— Задумал я ее поставить для последнего своего прощального спектакля, и спеть и сыграть самого Алеко, загримировавшись под Пушкина, потому что Алеко это сам Пушкин, влюбленный в Земфиру! — и так далее, и так далее, вы сами небось все уже давно поняли и сообразили.

Федор Иванович увлекся и, не давая опомниться, продолжал:

— И нужна мне, милый друг, ваша помощь... Да, да, да! Сейчас вы окончательно все поймете. Необходимо мне, чтобы вы написали либретто!.. то есть приспособили пушкинский текст...

И, видя на моем лице ужас и изумление, вскочил с места, достал из ящика заветную партитуру, отпечатанную в Москве у Гуткейля, потом уселся рядышком и начал, словно в лихорадке, перелистывать страницу за страницей, восклицать, шептать, объяснять, и остановить его не было уже никакой возможности.

Резоны, просьбы, возражения Шаляпин парировал одним словом:

— Умоляю!..

Вид умоляющего Шаляпина, может быть, и был достоин кисти Кустодиева, но я держался твердо и клятвенно уверял распалившегося и вошедшего в раж хозяина, что я не неуважай-корыто, что к Пушкину, как и все грамотные люди, питаю благоговение, и калечить и приспособлять пушкинский текст ни за что в мире не соглашусь!

Дружеская беседа, как говорили в России, затянулась далеко за полночь, коньяку и крепкого кофе было выпито немало, накурились мы тоже вдоволь, и, чтобы хоть как-нибудь выйти из нелепого и безнадежного тупика, в который загнал меня, раба Божьего, не привыкший к отказам царь Борис, сказал, что соображу, размыслю, подумаю и через несколько дней зайду, чтоб окончательно поговорить.

Троекратное лобызание, еще одна, «последняя, прощальная» рюмка коньяку, бурное рукопожатие с вывихом суставов и очаровательная, совершенно очаровательная,

обезоруживающая улыбка, о которой особенно грустно было вспоминать несколько месяцев спустя.

После непродолжительной, но тяжелой болезни Шаляпина не стало.

Среди многотысячной толпы — все движение на площади было остановлено — перед зданием Большой Оперы, стоя на ступеньках, лицом к катафалку, утопавшему в лаврах и розах, еще раз, в последний раз, пел все тот же хор Афонского, и французы, которые никакой родины не покидали, плакали так, как будто они были настоящими русскими, у которых уже не было ни родины, ни молодости, а только одни воспоминания о том, что было и невозвратно прошло.

\* \* \*

Хронику одного поколения можно было бы продолжать и продолжать.

Ведь были еще страшные годы 1939—1945.

И вслед за ними — сумасшедшее послесловие, бредовой эпилог, которому и поныне конца не видно.

Но. соблазну продолжения есть великий противовес.

— Не все сказать. Не договорить. Вовремя опустить занавес.

И только под занавес, «глядя на луч пурпурного заката», дописать, не уступив соблазну, заключительные строки к роману Матильды Серао, роману нашей жизни.

Бури. Дерзання. Тревоги.

Смысла искать — не найти.

Чувство железной дороги...

Поезд на третьем пути!

(1954)

# Современники о Дон-Аминадо

И. А. Бунин

## ДОН-АМИНАДО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ

Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше, — известная художественная величина в современной русской литературе?

Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предreshает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.

И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.

Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту — художественному, а не только газетному, злободневному.

(Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь». — Изд. Поволцкий и К°. Париж, 1927 г.)

Георгий Адамович

## НЕСКУЧНЫЙ САД

В юности Дон-Аминадо сделал непоправимую ошибку: неосмотрительно выбрал себе псевдоним... Трудно взвесить и определить, в какой мере повредило и продол-



жает вредить ему это имя, звучащее на литературный слух приблизительно так же, как на слух театральный звучит, скажем, Востоков-Эльский или Тамарин-Волжский. Но, несомненно, вредило и вредит. Помимо досадной внешней связи с эпохой, которой автор чужд, и со средой, которую он перерос, есть в избранном Дон-Аминадо литературном имени еще одна черта, особенно ему не идущая: обещание насмешить, забежавшее на обложку какое-то подмигивание читателю, компромисс с райком. Теперь менять подпись поздно, но, должно быть, и теперь многие еще поддаются ее воздействию, по лени или близорукости относясь к Дон-Аминадо так, как будто это был, действительно, какой-то рядовой «Дон-Аминадо», поверхностный балагур, сентиментальный шутник, присяжный воспеватель общих мест, а не писатель своеобразнейшего дарования, острый, терпкий, горький, умеющий и в повседневной работе остаться собой.

Лет семь-восемь тому назад Бунин в «Современных записках» в лаконичной рецензии на одну из книг Дон-Аминадо, — рецензии, чуть-чуть похожей на высочайший рескрипт, выдал ему удостоверение на звание подлинного «литературных дел мастера». Очевидно, Бунин чувствовал потребность уничтожить всякие сомнения насчет этого. А что сомнения существуют, он знал. Принятая на себя обязанность каждый день улыбаться, усмехаться, с придачей этой улыбке или усмешке заразной силы, **необходимость** вызывать отклик не столько глубокий, сколько широкий, постоянное обращение к толпе, полное противоречие, одним словом, пушкинскому завету «ты, царь, живи один», — все это не могло не создать вокруг Дон-Аминадо атмосферу полупризнания, смешанного с полусожалением. Да, конечно, как бы говорит «толпа», очень талантливо, удивительно забавно, вообще замечательно, но... Тут речь обрывается, будто «но» всем понятно само собой. Разумеется, действует не только псевдоним: псевдоним лишь усиливает первое рассеянное впечатление, укрепляет сознание в его правильности. Люди любят, когда им немножко льстят, когда перед ними с иронической дерзостью третируют что-либо высокое или даже священное, когда им внушают, что в них-то, в Иванах Ивановичах, может быть, и заключена «соль земли»,

люди любят, когда здравый смысл объявляет войну всяческой мудрости, — любят, но а priori<sup>1</sup> не вполне доверяют тем, кто при этом вступает с ними в слишком тесный союз. Толпа склоняется перед своими обличителями, перед Байронами, замкнувшимися в одиночестве... и, конечно, она права. Менее всего я склонен был бы пускаться тут в какую-либо «переоценку ценностей»: нет, конечно, навеки веков литература создана и создается именно Байронами, во всех их разновидностях. Но, во-первых, нельзя полагаться ни на условные внешние приемы, ни на словесную оболочку — «по платью встречают, по уму провожают»: в литературе это — правило, из которого не следовало бы допускать исключения.

Да, газетная работа, спешка, порой одна только техника вместо творчества, иногда следы усталости, неизбежные перебои. Все это так. Я мог бы и, пожалуй, должен был бы все же остановиться на исключительном блеске этой работы в целом, особенно если взглянуть на нее с ограниченно-писательской точки зрения, на «metier»<sup>2</sup>, которое никогда Дон-Аминадо не изменяет, на качество его стиха, например, который, ни на какие высоты и глубины вдохновения не претендуя, в самой ткани своей, однако, гораздо органичнее и живее, именно как стих, чем добрая половина наших теперешних рифмованных размышлений о бессмертии души и судьбе человека, не говоря уже об унылых и беспомощных виршах любого из прямых собратьев Дон-Аминадо по профессии... Но сегодня займусь только что вышедшей книжкой «Нескучный сад», куда включены знакомые нам прозаические и стихотворные мелочи, но включены с отбором, и где поэтому «лицо автора» обнаруживается с особой отчетливостью.

Первое естественное желание — перепечатать десять, двадцать афоризмов из этой книги. Есть в них меткость, о которой не расскажешь... Но эти короткие записи должны быть памятливы нашим читателям, поэтому — во избежание повторений — от цитат приходится воздержаться. Я умышленно употребляю слово «афоризм» и мыслен-

<sup>1</sup>Заранее, заведомо, явно (лат.).

<sup>2</sup>Ремесло (фр.).

но подчеркиваю его. Наша литература, в противоположность французской, до крайности бедна афористическим творчеством и почти ничем в этой области похвастаться не может. Кажется, Брюсов высказал мнение, что самый язык наш противится этой форме, — что отчасти подтверждается катастрофическими неудачами в попытках перевести по-русски, с соответствующей точностью и силой, Ларошфуко или Лабрюйера. В Дон-Аминадо скрыт настоящий афорист, который способен был бы поколебать утверждение Брюсова. Говорю: «скрыт», потому что лишь изредка он дает себе волю, большей же частью добросовестно играет раз навсегда принятую роль. Что такое афоризм? Ни в коем случае не просто смелая или глубокая мысль, удачно и, так сказать, чеканно выраженная. В настоящем афоризме всегда таится каламбур, который и придает выражению неожиданную остроту. Порой каламбур этот находится в зачаточном состоянии, обнаруживается лишь в сближении двух однородных понятий, — как у Ларошфуко; порой выносит на себе самую мысль, которая только оттого и кажется необычайно проницательной, что облечена в необычную форму, — как, например, в знаменитом паскалевском изречении «*Le coeur a raison que la raison ne connaît pas*»<sup>1</sup>. Замените во втором случае *raison* каким-либо другим словом того же смысла — бессмертное изречение превратится в довольно заурядную сентенцию. Дон-Аминадо неизменно переносит главную тяжесть своих афоризмов на каламбур. Игра слов у него «выпирает» из текста, перевешивает, вызывая смех: этого-то ему и нужно. Но природу афористического творчества он чувствует безошибочно, и если бы не маска юмориста, он мог бы дать своему дару развернуться и сохранить чувство меры. Кстати, у него французский склад ума, несмотря на вздохи о России, — суховатый и сдержанный в грусти, ясный даже в лиризме. Острословие ему глубоко свойственно. Когда Дон-Аминадо говорит, например: «Ничто так не мешает видеть, как точка зрения» или «Чтобы доверие было прочным, обман должен быть длительным» — это почти классический обра-

<sup>1</sup>У сердца свои доводы, которые не признает рассудок (фр.).

зец афоризма. Но большей частью его тянет к явной шутке, и тогда получаются такие изречения: «Выходя из себя, не забудьте вернуться», забавнейшие, но слишком шаржированные, чтобы казаться правдивыми. Чуть ли не в каждой фразе «Нового Козьмы Пруtkова» можно найти эту удивительную способность использовать структуру речи для того, чтобы высечь из нее мысль, и как ни толкает на крайности профессиональная обязанность общественного увеселителя, все же натура художника берет свое. Напрасно — замечу мимоходом — Дон-Аминадо скромничает и притворяется учеником Козьмы Пруtkова. Тот не писал так. У Козьмы Пруtkова было не только меньше словесной находчивости, но и самый юмор был площе, грубее, без щемяще-печального отзвука той «суе-ты сует», которая одна только и облагораживает смех... Вероятно, кому-нибудь покажется, что я сейчас нарушаю установленные каноны и даже наново некий ущерб нашей национальной литературной сокровищнице, не вполне почтительно, не совсем восторженно отзываясь о Пруtkове. Единственное, что могу возразить: перечтите «славного Козьму», от которого у вас в памяти осталось, может быть, несколько самых известных словечек и строчек, перечтите внимательно, проверьте давние впечатления. Едва ли вы тогда будете упорствовать в своем безоговорочном пиетете.

Какой, в самом деле, Дон-Аминадо — Козьма Пруtkов? Какой это «увеселитель»? Нет сейчас в нашей литературе писателя более, чем он, безнадежного и в этой своей безнадежности более трезвого, — что особенно разитель-но. Каламбуры, шутки, «цветы юмора», так сказать... Но благодаря этим, будто бы невинным, «цветочкам», Дон-Аминадо удастся сказать то, что никогда писатель «серьезный» сказать не мог бы, потому что серьезных, т.е. прямых, слов такого смысла никто не в состоянии был бы вынести. Человек есть «общественное животное» и по своей природе требует известной доли общественного оптимизма (про себя, молча, иногда знает и понимает что уютно, но «общественно» ищет благопристойности классических «огоньков», являющихся, в сущности, одной из русских форм британских разговоров о погоде). Дон-Аминадо прикидывается весельчаком и под шумок протаскивает та-

кую тоску, такое сердечное опустошение, такое отчаянье, что нетронутым в мире не остается почти ничего. Он как будто приглашает не верить ему, — ну что вы, помилуйте, это же все пишется от третьего лица, от имени простака, пустившегося философствовать, разве нормальный, корректный человек станет такое утверждать! — но настойчивость, с которой он за своего героя прячется, наводит на мысль, что, по существу дела, он с ним заодно и пользуется им для того только, чтобы быть собой. Выдает и тон, — личный, а не заимствованный: в трезво-грустные свои записи Дон-Аминадо как-то особенно полно укладывается, гораздо полнее и безболезненнее, чем, например, в прочувствованные и будто бы взволнованные строчки о России, то там, то здесь разбросанные по его книге...

Если бы подвести итоги «Нескучному саду», получилось бы нечто вроде модернизированного пореволюционного Екклезиаста, от какой-то внутренней стыдливости предпочитающего ужимки и усмешки прямоте.

Остается «нетронутым», пожалуй, только человек, в самых редких своих, самых глубоких чувствах... Притом человек одинокий. Даже дружба — под подозрением. «Не преувеличивай значение дружбы — это уменьшает число друзей». «Волосы как друзья: седеют и редеют». «Есть два способа пройти мимо ближнего своего: либо находясь вдалеке от него, либо живя с ним бок о бок». «На свете много хороших людей, но все они страшно заняты». Однако тут-то «ощущение осадка есть признак души», «только находясь в большой толпе, и понимаешь, что такое безлюдье», «только несказанные слова запоминаются», «если человек слышит голос совести, то у него вопросы решаются большинством одного голоса», и так далее. В человеке — если он не поддался общей порче — автор «Нескучного сада» что-то еще согласен пощадить. Но все, что составляет внешнюю повседневную жизнь, вызывает у него только горечь и скуку, без всяких надежд, без проблеска огоньков.

Два слова, однако, именно в порядке «огоньков» и в качестве заключительного примечания. Мир и жизнь не обидчивы и с оскорблениями не считаются, особенно если эти оскорбления наносятся в такой уклончивой форме... Цену себе они знают, кажется, лучше кого бы то ни

было и дают больше всего творческих сил именно людям, которые готовы сойти с ума от беспричинной тоски и «томления духа». В этом — противоречие, в этом же, может быть, и путь примирения. Наш общий огромный «Нескучный», «нескучный» сад действительно не так скучен, как это иногда кажется, и раз Дон-Аминадо не потерял способности смеяться, он должен с этим в конце концов согласиться.

**Леонид Зуров**

## **ДОН-АМИНАДО**

Аминад Петрович не переносил надгробных слов. Они его возмущали. Об этом он говорил не раз. Не любил он и торжественных заседаний. Хорошо знал цену человеческому красноречию. На юбилее Ходасевича, после всех выступлений, прочитал написанные им тут же за столиком, экспромтом, колючие стихи.

Веселый русский Париж тридцатого года. Множество молодых поэтов, два литературных союза, горячие обсуждения, споры, фельетоны Адамовича и Ходасевича о литературных новинках. Казалось, зарубежные силы неисчерпаемы. В том году Иван Алексеевич Бунин и познакомил меня с Аминадом Петровичем. Елисейские поля играли всеми огнями, легкое зарево стояло в небе. Ветер волновал пламя под Триумфальной аркой. Была зима. Встретились мы в тот вечер на углу площади Терн, где были выставлены океанские устрицы в плетеных корзинах и морские ежи. Аминад Петрович пригласил нас в русский ресторан, недалеко от рю Дарю.

А был Дон-Аминадо тогда молодой, полный решительной, веселой и бодрой уверенности. Небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбиравшими воздух, с горячими, все замечающими глазами. Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна.

Таким я его увидел в том веселом когда-то для русской эмиграции вечером и жадном Париже, где мы все отлично себя чувствовали. Встречи художников на Монпарнасе, вечера в зале Лас Каз, толстый литературный журнал, две независимые ежедневные газеты, много издательств. Центр зарубежной эмиграции. Шаляпин, Рахманинов, Глазунов, Коровин, Сомов, Бенуа, Малявин, Григорьев, Яковлев, Билибин, Шухаев, Ларионов с Гончаровой, Куприн, Зайцев, Ремизов, Шмелев, Алданов и Мережковские. Множество всевозможных союзов, землячеств и объединений. Эмигранты из Москвы, Петрограда, Киева, Харькова и Одессы. Живая история старой жизни, революции, гражданской войны и всех эвакуаций. Рестораны, перекочевавшие из Константинополя, цыгане, которые когда-то певали у Яра и в Новой Деревне. Все бодрые, полны надежд и возбуждения. Зима. Литературный сезон.

Столик Аминадом Петровичем был уже заказан. Его с нетерпением ожидали и, когда он вместе с почетным академиком Буниным, по-юношески художавым, и Верой Николаевной, возбужденный, полный энергии, со свободой и уверенностью вошел в зал, где играл оркестр и пахло горячими пирожками и кулебякой, — то по широкой улыбке хозяина, по лицам музыкантов, прислуживающих дам и посетителей я увидел, что он здесь не только желанный гость, но его, Дон-Аминадо, знают и любят.

Мы заняли отведенный нам столик, и на него сразу же было обращено все внимание, и даже балалаечники, среди которых были поклонники Аминада Петровича, как нам сказал кто-то, начали играть особенно хорошо, а он, оживленный, за всем и за всеми весело наблюдающий, был и среди Буниных свой, и с Иваном Алексеевичем, которого и старые литераторы втайне побаивались, чувствовал себя необыкновенно легко. Он знал, как к нему относится не любивший вежливых и уклончивых, ничего не значащих бесед Иван Алексеевич. Он любил бунинскую беспощадную зоркость и острое поэтическое чувство жизни. Он все прощал Бунину и в его присутствии был на редкость остроумен, а Веру Николаевну называл Верочкой. И Иван Алексеевич, который редко долго по-

звоял говорить за столом собеседнику, наслаждался меткостью и острословием Аминада Петровича.

Так же, как и Иван Алексеевич, он страстно пережил революцию. Он все видел и чувствовал с редкой ясностью, а людей и жизнь знал как никто. Человеком он был горячим и зорким. Сильные привязанности и сильные отталкивания. В жизни был талантливее своих фельетонов. Остроумие, как и жизненная энергия, казались в нем неистощимыми. Нетерпеливый и в то же время внутренне выдержанный, он как бы обладал гипнотической силой, заставлял слушать себя.

Он все видел — жизнь Москвы, Киева, эвакуации. Он встречал людей всех званий и сословий. Был своим среди художников и артистов, у него была всеэмигрантская известность, исключительная популярность. В Париже все знали Дон-Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские парижане, у него были верные поклонники — в Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете, но в числе его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть. Повторяли его крылатые словечки. И многие, я знаю, начинали газету читать со злободневных стихов Дон-Аминадо.

Веселый и оживленный Париж тридцатых годов. Иллюстрированные журналы, «Новый Сатирикон», множество русских ресторанов, шашлыки по-карски, оркестры, джигиты, хоры. Несметное количество художников и поэтов. И большой ежегодный писательский бал в сияющей всеми огнями Лютеции, где танцевал в двух залах и веселился русский Париж и где все блистало хрусталем и белизной — играло два оркестра и необыкновенно бойко торговали шампанским и тортами молодые поэтессы и покровительницы русской литературы. На писательском балу в Лютеции энергия Аминада Петровича была особенно сосредоточена. Он ведал артистической программой, был окружен помощниками и распорядителями, выпускал известных всей России певцов и артисток, представлял их с эстрады толпившейся в зале разгоряченной



танцами публике, и казалось неиссякаемым его остроумие.

Залы Лютеции сияют огнями. Я помню, как Аминад Петрович встречал цыганский, прибывший из дорогого ресторана хор и целовался со старыми цыганками; когда веселый и говорливый табор старух, гитаристов и молодых цыганок в цветных платьях с монистами вступил вместе с ним в широко освещенный и блещущий зал; я помню, как он встречал прибывших из Оперы закутанных в пубки и платки молоденьких балерин со свежими от зимнего холода лицами, а потом, после нетерпеливых кликов из горячего зала — Дон-Аминадо! Дон-Аминадо! Просим, просим! Стихи! — выступал и сам, бледный, с темными горячими глазами, принимая все вызовы и с вскинутой головой, переходя в веселое наступление.

Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему — да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно — внутри у него была сталь, — он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. Он любил подлинное творчество и был строгим судьей. В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте требовательным и строгим. В жизни был целомудренным и мужественным. Меня поражало его внутреннее чутье, а главное — сила воли и чувство собственного достоинства, а человек он был властный и не любил расхлябанности, болтливости, недомолвок и полуслов. Без него не обходились заседания по устройству больших вечеров и в дамских комитетах, куда его всегда приглашали, хозяйственницы его не только слушали, но и побаивались.

На людях энергичен и весел, но, оставшись один — серьезен. Он умел бороться в изгнании за жизнь, и в этом головокружительном, многоплеменном и грязном Париже главным для него была семья, а дома у него, благодаря стараниям и любви Надежды Михайловны, все было безукоризненно — и чистота такая, что ей мог позавидовать капитан любого военного корабля. На стенах висели картины, подаренные художниками, и фотографии с дарственными надписями Бунина, Шалапина, Милюкова, Балиева, балерины Аржантины, Саши Черного, Куприна.

Семья для Аминада Петровича была святилищем. Для нее он работал не щадя сил. По-ветхозаветному семья была для него святая святых — он любил ее, оберегал ее от бурь житейских, а в воспитание дочери вложил всю свою душу и, отказывая себе и Надежде Михайловне во многом, все сделал для того, чтобы у Леночки было радостное и счастливое детство.

Во время войны и оккупации русский Париж был расколот, разбит. От страшных ударов и потерь литературная жизнь никогда не поправилась. «Современные записки» не вернулись из Нью-Йорка в Париж. Уже не было старых газет, издательств. Жизнь уцелевших литераторов изменилась — ничего не осталось от довоенных времен. В большой бедности умер Ив. Ал. Бунин.

После войны Аминаду Петровичу пришлось работать в учреждениях, не имеющих ничего общего с литературой и журналистикой. Мы с Верой Николаевной Буниной радовались, когда он приходил. Аминад Петрович чувствовал и понимал все с первого взгляда. В те времена он уже не писал стихов, но в свободное время работал над книгой воспоминаний. Она была издана, но, несмотря на то, что в книге все страницы перенумерованы, в ней нет той, на которой было сказано о конце Ивана Алексеевича. И мне хочется рассказать, почему эта страница не попала в книгу.

Однажды днем Аминад Петрович заглянул к нам и, поговорив с Верой Николаевной, у которой были гости, увел меня в мою комнату.

— Леня, — достав из внутреннего кармана пиджака сложенный веером лист и передавая его мне, сказал он, — это страница из моей рукописи. Я долго думал, печатать ее или нет, но, не зная, как отнесется к написанному Вера Николаевна, не заденет ли что ее, решил страницу эту отдать вам. Возьмите ее, прочтите, если хотите — сохраните, а в общем, делайте с ней, что хотите.

И вот теперь я решил познакомить читателей с этой неопубликованной страницей, но так как она не имеет начала, то я должен пояснить, что Иван Алексеевич гово-

рил Аминаду Петровичу о встреченной им перед болезнью женщине, которая чрезвычайно яростно и зло крикнула ему, что если Бунина в эмиграции мало читали, то после выхода «Темных Аллей» никто никогда его больше не будет читать.

— Ничего не поделаешь, Иван Алексеевич, такая уж у Вас судьба, — Бунина знают все, а читают Вас только в 16-ом аррондисмане...

— Хотел было я ее удавить тут же на месте, но потом опомнился, — ведь по существу змея была права...

Иван Алексеевич улыбнулся и замолчал.

...Припадок астмы усилился, беседа оборвалась сама собой.

Через несколько месяцев Бунина хоронили.

За церковной оградой на рю Дарю, как то всегда бывает при подобных обстоятельствах, говорили о постороннем, второстепенном, ненужном.

Потом опомнились, и кто-то со вздохом уронил настоящее слово:

— Великая гора был Царь Иван!

А когда из церкви вышла Вера Николаевна, прямая, белая, неживая, то вслух не сказали, но про себя подумали:

— Прожить бок о бок долгую жизнь с таким необыкновенным человеком, каким был Бунин, может быть и великое счастье, но что великий был этот подвиг — несомненно.

Потом сели в автокары и помчались. Возвратились из Сент-Женевьев.

Была человеческая потребность прочесть про себя и сейчас вслух стихи, написанные им почти полвека назад:

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель  
Бегут кресты — раскинутые руки.  
Я слушаю задумчивую ель —  
Певучий звон... Все только мысль и звуки.

То, что лежит в могиле, разве Ты?  
Разлуками, печалью был отмечен  
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты  
Хранят лишь прах. Теперь ты — мысль, Ты вечен».

## Андрей Седых

### САТИРИК В НЕМ БЫЛ СИЛЬНЕЕ ЮМОРИСТА

Трудно быть юмористом в эмиграции. И не потому, что не над чем посмеяться и нечего высмеивать — эмигрантская жизнь содержит немало сторон, фантастических по своей нелепости и карикатурности. Мы пробуем смеяться, но смех быстро обрывается, а улыбка становится горькой. Так уж повелось, что смех наш всегда «сквозь слезы». Должно быть, такова натура — просто смеяться мы не умеем, сейчас же кто-нибудь напомнит: над кем смеемся, над собой смеемся... Знал трех больших юмористов — Дон-Аминадо, Сашу Черного и Н.А. Тэффи. Все они принадлежали к тому поколению русских писателей, которое продолжало классическую традицию русского юмора, пропитанную гуманностью и жалостью к человеку.

Быть может, это не вполне применимо только к Дон-Аминадо. В нем сатирик всегда был сильнее юмориста. Он не только смеялся, но и высмеивал, и высмеивал подчас жестоко.

Темы свои он черпал из «нашей маленькой жизни». Никто так не умел изображать почтенных общественных деятелей, устраивающих свои собственные юбилеи, бестолковые собрания с прениями сторон и благотворительные вечера с домашним буфетом и танцами до последнего метро, как Дон-Аминадо. Некоторые его вещи написаны с блеском непревзойденным. Как забыть рассказ гарсона парижского кафе, который жалуется на своих русских клиентов? Приходят они всегда толпой и первым делом начинают сдвигать все столики вместе, словно для банкета. Французы заранее знают, что хотят выпить, и заказывают сразу. Не то русские. Сначала они требуют чай для всех, потом кричат, что передумали. Один хочет сэндвич с ветчиной, другой пиво, третий чай, четвертый кофе... И гарсон никак не может разобраться в тайниках славянской души.

И в жизни Дон-Аминадо всегда был остроумным и блестящим. Знал я его очень хорошо, знакомство наше и

дружба начались в те далекие годы, когда Дон-Аминадо и Алексей Толстой, еще именовавший себя графом, начали издавать в Париже детский журнал «Зеленая палочка». А потом произошло такое событие. Пришел я в зал Гаво на вечер Дон-Аминадо и на сцене увидел прелестную девушку в белом атласном платье, которая играла в его скетче. Был я тогда непростительно молод и еще не научился проходить равнодушно мимо молодых актрис.

Дон-Аминадо подвел меня к ней и представил:

— Познакомьтесь, это Андрей Седых, а это — Женечка Липовская. — И тут же, обращаясь ко мне, вылил ушат холодной воды: — Только я вас предупреждаю, дорогой, из вашей попытки начать с нею роман ничего не выйдет.

Позже, когда Женечка Липовская стала моей женой, я буквально годами отравлял ему жизнь и при встрече всегда говорил:

— Ну, какой же вы плохой психолог, Аминад. Ни один мой роман в жизни не был таким продолжительным и удачным, как роман с вашей Женечкой Липовской!

Он смотрел на меня внимательно, словно изучая, и вздыхал:

— Да, дорогой... Вы совершенный Андрюша Ющинский.

В редакцию «Последних новостей» он приходил два или три раза в неделю, сдавал свои стихи или фельетон А. А. Полякову — единственному, кажется, человеку, с мнением которого серьезно считался, а затем мы сходили вниз, пить горьковатый кофе у Дюпона. Иногда присоединялся к нам М. А. Алданов. Он любил послушать веселый разговор, но сам никогда не острил и в суждениях о людях всегда соблюдал крайнюю осторожность, — мы неспроста считали Алданова последним джентльменом русской эмиграции.

В эти годы Дон-Аминадо создал тип эмигрантского денационализировавшегося мальчика — Колю Сыроежкина, и мы наслаждались этим Колей, который постепенно стал для нас как бы живым существом.

Коля любил задавать вопросы, на которые редко получал ответы:

— Куда идет папа, когда он выходит из себя?

Или:

— Почему, когда приходят гости, мама все время пудрится и извиняется? И почему, когда гости уходят, мама говорит — слава Богу?

— Что такое нервы и как их взвинчивают?

— За что тетя Катя держится, когда она ходит по скользкой дорожке?

— И как могут все большевики висеть на одном волоске?

Славился Дон-Аминадо и своими афоризмами, которые читатели запоминали и с наслаждением повторяли:

— Волосы, как друзья, — писал он. — Седеют и редеют.

Или:

— Ничто так не старит женщину, как ее возраст.

— В нормальной женской биографии — до тридцати лет хронология, после тридцати лет мифология.

— Приспособьте декольте к вашим карт-д-идантите!

— Богатые люди украшают свой стол цветами, а бедные — родственниками.

— Бросая утопающему якорь спасения, не старайтесь попасть ему непременно в голову.

Множество острых его слов никогда не было напечатано — в особенности после Второй мировой войны, когда вообще нигде он не печатался и еженедельный свой фельетон заменял письмами друзьям в Америку. «...О том, что было пережито всеми нами, — писал он в августе 1945 года, — оставшимися по ту сторону добра и зла, можно написать 86 томов Брокгауза и Ефрона, но никто их читать не станет. Поразило меня только одно: равнодушие. При встрече разговор такой: «А что, ваша мебель в порядке? — А потом прибавляет: — А у меня, вы вероятно слышали, жена депортирована...» При этом неизбежное торопливое полувсхлипывание, и через две минуты можно смело перейти на армянский анекдот и дороговизну жизни.

Вообще говоря, все хотят забыть о сожженных, как 30 лет назад хотели поскорее отбиться от польских беженцев, когда у Яра пели цыгане и Качалов декламировал Пера Гюнта... Не думайте, что я преувеличиваю, по суще-

ству это именно так. Ибо для тех, кто уцелел, Бухенвальд и Аушвиц — это то же самое, что наводнение в Китае».

Позже, в другом письме:

«Вот и сейчас — аккордеон по радио изображает национальное творчество «Парлэ муа д'Амур», а кило мяса стоит около трех долларов, хлеб и свиньи не едят, угля ни-ни, а за фунт белой муки можно иметь Полу Негри в молодости! Не удивлюсь, если зимой будут петь Бублички и Кирпичики в переводе на галльский язык».

Отзыв Дон-Аминадо о журналисте, который сотрудничал во время оккупации с врагом:

— Мерзавец. Цитирую по памяти, как любит выражаться осторожный Алданов.

О недобросовестном издателе:

— Это не книгопродавец. Это книгохристопродавец.

Или о Чеховском издательстве:

— Могила Неизвестного Писателя.

Сколько таких блестящих остроумия разбросано в письмах, которые хранились у ныне покойного А. А. Полякова или в моем архиве!.. Жил он под Парижем, в городке Иер и иногда называл себя «иеромонах». И в одном из последних писем, уже тяжело больной, писал: «За автобусами не бегайте. Не проверяйте свой возраст на автобусах».

Дон-Аминадо был сатириком, достойным наследником Козьмы Пруткова, а по-настоящему он хотел быть только поэтом, писать об уездной сирени и соловьях, о золотых локонах Тани, в легкой, зимней пороше. Было у Дон-Аминадо немало шуточных стихов, сближавших его с Агницевым:

Джоссиана любила поэта,  
Поэт воспевал любовь, —  
Негра — вам странно это?  
За его негритянскую кровь.  
Но страсть и певучая лира  
Без денег — ни то ни се.  
И она любила банкира,  
Который платил за все.

И когда, свою душу печалю,  
Приходил поэт, для него  
Открывала она крышку рояля

И играла Шопена... всего!  
Когда же, страдавший одышкой,  
Попадал банкир в ее плен,  
Она хлопала рояльной крышкой.  
Ибо зачем банкиру Шопен?

И так как вполне совершенна  
Только смена концов и начал,  
То поэт устал от Шопена,  
А банкир от поэта устал.  
Поэтому вовсе не странно,  
А естественно было вполне,  
Что осталась одна Джоссиана  
С негром наедине.

Он чернее был крышки рояльной.  
Но, любовью своей осиян,  
Лишь сказал Джоссиане печально:  
Лэди Джо, лэди Си, лэди Анн!  
И Шопена в тонах минорных  
Она сыграла не так, как всем,  
А на одних только клавишах черных,  
Не касаясь белых совсем.

И это тем более ценно,  
Что каждый должен признать,  
Как трудно в честь негров Шопена  
На одних диезах играть...

В последний мой приезд в Париж мы встретились в ресторане за завтраком.

Он был уже болен, мрачно настроен и все говорил об ушедших, о смерти Бунина:

— Процессия за его гробом напоминала исход евреев из Египта...

Чтобы развлечь Дон-Аминадо, я начал рассказывать ему о Нью-Йорке, о жизни русских американцев. Он слушал, иронически улыбаясь, — об Америке сохранил плохие воспоминания, — и вдруг сказал мне лозунг, пестревший в это время на стенах Парижа:

— American, go home!

Больше я его не видел.



## Александр Бахрах

### «ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ»

Когда я пытаюсь восстановить в памяти облик наиболее популярного из юмористов зарубежья, Дон-Аминадо, то перед моими глазами невольно воскресает одна сценка. Как-то я зашел к нему в неурочный час по какому-то «спешному» делу (какие дела не кажутся «спешными»!). Он сидел перед своим письменным столом с самопишущим пером в руке, а перед ним лежал ворох черновиков, частично скомканных. Голова его была обмотана мокрым полотенцем. Не переставая чертыхаться, он глотал какие-то аспирины. «Уже начинает темнеть и вот-вот надо мчаться в редакцию сдавать очередной фельетон, а в голову не лезут ни мысли, ни рифмы... И так каждый день... Вы небось думаете, что смешить читателей моими побасенками — дело ерундовое: насобачился, мол, и все само собой по щучьему велению выливается на бумагу, хоть посылай сразу в набор...»

Нет, я отнюдь так не думал. Скорее я недоумевал, что есть еще кто-то, кто способен чуть ли не ежедневно сочинять фельетоны, вызывающие смех. Пускай одни были более острыми, другие менее удачными, но все они были на литературном уровне, и автору никогда краснеть за них не приходилось.

Да что я... В оценках достоинства Аминадовой музыки я был не одинок. Вот, к примеру, Горький, писавший где-то: «Дон-Аминадо — один из наиболее даровитых, уцелевших, в эмиграции поэтов». А Бунин, несмотря на свою не любовь к писанию рецензий, в «Современных записках» напечатал своего рода «рескрипт», в котором говорил, что «Аминадо — один из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение».

Впрочем, эти похвалы могли быть психологически объяснимы. Более неожиданным и, может быть, для самого Аминадо более ценным был отзыв Марины Цветаевой, посмертно опубликованный в «Новом мире». Цветаева, да-

лекая от всякой злободневности, не только неумеренно высоко ставила стихи Аминадо, которые парижские литературные круги все же считали «стишками», но писала о том, что он «поэт Божьей милостью», и заклинала его сменить писание газетных фельетонов на подлинную лирику.

Цветаева, как это ей было свойственно, отказывалась учитывать, что ежедневные фельетоны подкармливают их автора, тогда как «святое ремесло» (формула Каролины Павловой ей очень пришлась по вкусу) в условиях, в которых жил Аминадо, может быть, сулило ему лавры, но едва ли позволило бы с успехом ходить на базар. А надо признать, что Аминадо, будучи ревностным семьянином, не был равнодушен и к так называемым «благам жизни». Он любил вкусно пообедать, понимал в еде толк, не без изыска обставил свою квартиру и домик, приобретенный им в окрестностях Парижа.

Был он человеком весьма изворотливым. Поэзия — поэзией, а наряду с ней распространение нумерованных экземпляров своих книг «толстосумам», устройство творческих вечеров, к участию в которых ему всегда удавалось привлечь русские или французские «звезды» сцены или экрана. А попутно какие-то дела и работа в туристских бюро.

Но, как бы то ни было, надо признать, что фельетоны Аминадо были украшением газеты, в которой он в течение долгих лет сотрудничал, радостью ее читателей, уставших от разжевывания политической «мудрости». Его юмористические или, пожалуй, точнее — сатирические фельетоны били «не в бровь, а в глаз», но при этом были всегда тактичны. Он способен был уколоть, но не мог ранить, и никогда не переходил известных границ. Он чаще улыбался, чем смеялся, и уж никогда не «гоготал».

Сквозь его юмор зачастую просвечивала горечь; вероятно, потому, что он в глубине души создавал, что его популярность в читательской среде и расточаемые ему похвалы, какими бы именами они ни были подписаны, никогда не позволят ему подняться в литературной табели о рангах. При разговорах с ним мне постоянно казалось, что, несмотря на все его успехи, он ощущал некий ком-

плекс неполноценности и, может быть, сознавал, что пошел по ложному пути.

Он хотел объять необъятное, а ведь еще Козьма Прутков изрек, что это непосильно. Надо было сделать выбор, а на это он не мог решиться и потому под конец жизни предпочел умолкнуть.

Может быть, из-за этого он и был пессимистом и все видел в черном свете, хотя, казалось бы, его амплуа требовало, чтобы он обзавелся «розовыми очками».

В его лирике, той, которую он иногда писал не для газеты, а как бы для себя, неизменно звучала какая-то тоска о прошлом, которое он отнюдь не идеализировал. Зачастую это были воспоминания о юных годах, о родной его Одессе, о привольной московской жизни:

«Забыть ли счастливейших дней ореол,  
Когда мы спрятали в угаре,  
Единственный в мире латинский глагол —  
Amare, Amare, Amare...

Приходит волна и уходит волна.  
А сердце все медленней бьется.  
И чувствует, и знает, что эта весна  
Уже никогда не вернется,

Что ветер, который пришел из пустынь,  
Сердца приучая к смиренью,  
Не только развеял сирень и латынь.  
Но молодость вместе с сиренью».

Или еще. Хотел ли он того или нет, но вещие слова Екклезиаста наложили печать на его мироощущение:

«Возвращается ветер на круги своя.  
Не шумят возмущенные воды.  
Повторяется все, дорогая моя,  
Повинуясь законам природы.  
Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.

Гибнет плод, красотой отягченный.  
И любимой поэт посвящает сонет,  
Уже трижды другим посвященный...»

Впрочем, в придачу к круговороту событий, которым он был невольным свидетелем, проза жизни подсказала ему часто цитировавшийся афоризм: «ничего нет скучнее, чем жить в интересное время», и едкое четверостишие, озаглавленное им «Послесловие»: «Жили. Были. Ели. Пили. / Воду в ступе толкли. / Вкруг да около ходили, / Мимо главного прошли».

«Мимо главного прошли...». Эти три слова как бы отражали отношения Аминадо к современной ему истории, да и к собственной биографии. Оттого, может быть, на каких-то воображаемых весах будущего больше внимания, чем его поэтическим сборничкам с заманчивыми заглавиями, будет уделено его книге воспоминаний «Поезд на третьем пути». Ведь Аминадо принадлежал к тому поколению, которое еще каким-то краешком застало еще непоколеблемый девятнадцатый век, провалившийся в тартарары с войной 14-го года.

В качестве корреспондента — можно ли поверить? — он успел съездить в Астапово и присутствовал на погребении Льва Толстого, знал жизнь русской провинции, Одессы и Киева, писал скетчи для пресловутой балиевской «Летучей мыши», посещал московские трактиры, из которых еще не успел выветриться дух Островского, в то время как где-то, почти рядом, слышались уже надрывные и навязчивые звуки танго, впервые перешедшие русские — еще почти неохранные — границы.

Личный подход к описываемому, как и некоторая небрежность и отсутствие строгого плана и хронологической последовательности придает аминадовской летописи особую специфическую ценность... Становится тогда понятным, что то, что наступило после Второй мировой войны, наполнило его чувством глубокого разочарования, и его угнетало сознание, что его пессимизм был в какой-то мере оправдан. Может быть, именно поэтому он и не закончил писание своих воспоминаний и прервал почти на полпути, вместо точки поставив точку с запятой и подчеркивая, что «соблазну продолжения есть великий противовес: не все сказать, не договорить, вовремя опустить занавес». И тут же, словно «глядя на луч пурпурного заката», он приписал:

«Буря. Дерзання. Тревоги.  
Смысла искать — не найти.  
Чувство железной дороги...  
Поезд на третьем пути!».

И несомненно прав был этот «чуть-неврастеник», когда утверждал, что познать человеческую душу можно только с опозданием:

«Чужой печали верьте, верьте!  
Непрочно пламя в хрупком теле,  
Ведь только после нашей смерти  
Нас любят так, как мы хотели».

Его самого, однако, любили при жизни, но, может быть, любили в нем не то, что надлежало любить, и наверное не так, как он того хотел.

## Зинаида Шаховская

### ДОН-АМИНАДО

С Дон-Аминадо познакомилась я в юности в Брюсселе, когда он приезжал туда на свои вечера. Он был удивительно талантлив, умен и остер. Десятилетия прошли — и, не в пример другим юмористам эмиграции, Аминадо никак не устарел. Думается, потому, что, даже когда он писал об эмиграции, Дон-Аминадо как-то естественно выходил из узкой эпохи и за эмигрантским фольклором различал нечто более обширное.

Разве не современно: «Чем дольше живу на свете, тем все более убеждаюсь, что и люди и государства живут не по средствам», или по поводу бельгийцев: «Присягают королю, голосуют за социалистов, верят в текущий счет». Или молодежи:

Пусть! а все же верю истово  
С каждым годом все сильней,  
Что из хриплого, басистого  
Поколенья новых дней,

Проблуждав тропой опасною,  
Выйдут мальчики на ять,  
Выйдут с целью очень ясною —  
Нам по шапке с вами дать.

И еще:

Знаю, кесарево кесарю...  
Но позвольте доложить,  
Что теперь любому слесарю  
Легче кесаря прожить.

И, наконец, заключение книги «В те баснословные года»:

В смысле дали мировой  
Власть идей непобедима.  
— От Дахау до Нарыма  
Пересадки никакой.

К тому же он хорошо знал и французский мир, хорошо в него включился, был дружен с французскими юмористами, Пьером Даком и другими.

Как и Тэффи, Аминад Петрович совсем не легкомысленно смотрел на жизнь, он знал ее трагичность, ее сложность, был человек беспокойный, переживал события очень тяжело.

«Старайтесь улыбаться». Смейтесь,  
Благо есть над чем.

Над нашей неуютной жизнью Дон-Аминадо учил улыбаться и нас.

После первых встреч в двадцатых годах мы долго не виделись, разве раз или два на балах в «Лютеции», устраиваемых в пользу писателей, на которых бывали и молодые и старые, и всегда много народа, и как бы забыли друг о друге. Но вот в первую годовщину смерти Бунина Вера Николаевна позвала нескольких друзей к себе и попросила каждого рассказать о своем муже. Сказала и я несколько слов. Наклонившись к Вере Николаевне, Аминад Петрович, не узнав меня, спросил ее, кто я такая. Так мы снова познакомились. В это время мы с мужем только что вернулись из Марокко после «освобождения» этой стра-

ны от французских «колониалистов». Процесс этого освобождения (кстати сказать, едва меня не прикончившего, так как первая бомба освобождающихся была подброшена почему-то в тот самый вагон, в котором я возвращалась, после лекции и выступления там по радио, из Рабата) стоил нам лично, и уже в третий раз в нашей жизни, нашего состояния. Аминад Петрович, тогда уже успешно занимающийся делами, с юмором ничего общего не имеющими, был чрезвычайно озабочен нашим положением — даже более, чем я сама, довольно легкомысленно относящаяся к превратностям судьбы. Мы часто встречались в кафе, где он давал мне советы и болел душой. Оптимизм мой оправдался. Все понемногу — не без труда — наладилось, и в 1956 году мой муж был назначен первым секретарем бельгийского посольства в Москву. Радости Аминада Петровича не было конца.

Когда мы вернулись, он настоятельно просил нас к нему приехать обо всем рассказать и собрал много гостей — графа Платона Зубова с женой и других, живо интересующихся тем, что мы увидели и себе уяснили.

Как жадно слушал он рассказы наши «о всем, о всем!». Да и стар совсем не казался, все так же жив был его язык и его ум, так же молоды были его реакции на все, что происходило, и так же умел он «стараться улыбаться».

Еще в 1951 году подарил он мне свою книгу (нумерованную) «В те баснословные года», написав на ней:

«Я знал ее еще тогда  
В те баснословные года»...  
И образ Зины Шаховской  
Я в суете сберег мирской.

Не в пример Тэффи, которая очень ценила свои стихи (значительно уступающие ее прозе), лирические стихотворения Дон-Аминадо просто хороши, хотя сам поэт как будто бы и не придавал им очень много значения. Не знаю, много ли он над ними работал, но ни работы не было видно, ни надуманности, как будто все само собою наполнилось прелестью и легкостью:

Апрельский холод. Серость. Облака  
И ком земли, из-под копыт летящий.

И этот темный глаз коренника,  
Испуганный, и влажный, и косящий.

О помню, помню!.. Рывкнул паровоз.  
Запахло мятой, копотью и дымом.  
Тем запахом, волнующим до слез,  
Единственным, родным, неповторимым.

Той свежестью набухшего зерна  
И пыльною, уездною сиренью,  
Которой пахнет русская весна,  
Прирученная к позднему цветенью.

Стихов Дон-Аминадо как будто публично никогда не читал, кроме сатирических, о них не говорил, но вот такая чуткая к поэтическому дару Марина Цветаева признала не только в его лирике, но и в его шутках, и в нем самом — подлинного поэта.

Уже после смерти Аминада Петровича я встретила у В.Н. Буниной добрую и милую Надежду (Аминадо) Шполянскую и через несколько дней получила так тронувшее меня письмо:

«Он Вас очень любил и ценил — всегда об этом говорил, и я хочу, чтобы Вы это знали» — со вложенной в него фотокопией письма Марины Цветаевой к Дон-Аминадо.

С ее разрешения я привожу здесь это письмо, нигде еще никогда целиком не напечатанное.

Уступаю М. Ц. со смирением, как и она, зная шкалу ценностей, последнее слово о Дон-Аминадо.

Vanves, 31 мая 1938 г.

Милый Дон-Аминадо.

Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы от этого высказывания удерживаюсь — а quoi bon?<sup>1</sup> — но, в конце концов, несправедливо и неразумно говорить это всем, кроме Вас, который, единственный, к этому отнесется вполне серьезно и, что важнее, — не станет спорить. (Остальные же (дураки) Вам верят на слово — веселее.)

---

<sup>1</sup> Для чего? (фр.).



Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе.

Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат.

Но помимо акробатизма, т. е. непрерывной и неизменной удачи, у Вас просто — поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли, но и пренебрежка которой Вы — больший поэт, чем те, которые на нее (в себе) молятся. Ваши некоторые шутливые стихи — совсем на краю настоящих, ну — одну строку переменить: раз не пошутите! — но Вы этого не хотите, и, ей-богу, в этом нехотении, небрежении, в этом расшвыривании дара на дрянь (дядей и дам) — больше *grandezzbil*, чем во всех их хотениях, тщених и «служениях».

Вы — своим даром — роскошничаете.

Конечно, вопрос: могли бы Вы, если бы Вы захотели, этим настоящим поэтом — стать? На деле — стать?

(Забудем читателя, который глух и который и сейчас не видит, что Вы настоящий поэт, и который — заранее — заведомо — уже от вида Вашего имени — *beatement et be-tement*<sup>1</sup> — смеется — и смеяться будет — или читать не будет.)

Быт и шутка, Вас якобы губящие, — не спасают ли они Вас, обещая больше, чем Вы (в чистой лирике) могли бы сдержать?

То есть на фоне не газеты, без темы дам и драм, которую Вы повсеместно и неизменно перерастаете и которая Вам посему бесконечно-выгодна, потому что Вы ее бесконечно — выше — на фоне простого белого листа, вне трамплина (и физического соседства) пошлости, политики и преступлений — были бы Вы тем поэтом, которого я предчувствую в каждой Вашей бытовой газетной строке?

Думаю — да, и все-таки этого — никогда не будет.

<sup>1</sup> Блаженно и глуповато (фр.).

Говорю не о даре — его у Вас через край, — говорю не о поэтической основе — она видна всюду, — кажется, говорю о Вас, человеке.

Я, кажется, знаю: чтобы стать поэтом, стать тем поэтом, который Вы есть, у Вас не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим. Случай — Чехова, самого старшего — умного и безнадежного — из чеховских героев. Самого — чеховского.

Что между Вами — и поэтом? Вы, человек. Привычка к шутке, и привычка к чужой привычке (наклонная плоскость к газетному читателю) — и (наверное!) лень — и величайшее (и добродушное) презрение ко всем и себе, — а может быть, уж и чувство: поздно (т. е. та же лень: она, матушка!).

Между Вами и поэтом — быт, Вы — в быту, не больше.

Не самообольщаюсь: писать всерьез Вы не будете, но мне хочется, чтобы Вы знали, что был все эти годы (уже скоро — десятилетия!) человек, который на Вас радовался, а не смеялся, и вопреки всем Вашим стараниям — знал Вам цену.

Рыбак рыбака видит издалека.

Марина Цветаева

— А дяди! А дамы! Любящие Вас потому что невинно убеждены, что это Вы «Марию Ивановну» и «Ивана Петровича» описываете.

А редактора! Не понимающие, что Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию! Что Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судия.

Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой. Уверяю Вас, что (статьи Милокова пройдут, а...) это — останется. Но мне-то, ненавидящей политику, ею — брезгующей — жалко, что Вы пошли ей на потребу.

— Привет!

# Библиографический комментарий

Выступая в печати со студенческих лет, Дон-Аминадо сотрудничал во многих журналах и газетах России; в 1910 г. в качестве корреспондента елизаветградской газеты «Голос Юга» присутствовал на похоронах Л.Н. Толстого. Его стихи, пародии, фельетоны, очерки, рассказ появлялись на страницах таких разных журналов и газет, как «Венское дело» и «Новый Сатирикон», «Красный смех» и «Будильник», «Раннее утро» и «Утро России», «Кулисы» и «Рампа и жизнь».

Первый сборник «Песни войны» выдержал два издания — в 1914 и 1915 гг.

В эмиграции, в Париже, вышли сборники стихов: «Дым без Отечества» (1921), «Накинув плащ» (1928), «В те баснословные года» (1951); сборник стихов и прозы «Нескучный сад» (1935), сборник рассказов «Наша маленькая жизнь» (1927); наконец, в 1954 г. в Нью-Йорке появилась книга воспоминаний: «Поезд на третьем пути».

При подготовке данного издания составитель пользовался всеми прижизненными публикациями Дон-Аминадо; кроме того, он опирался на такие солидные сборники произведений Дон-Аминадо, вышедшие в России в последнее десятилетие, как: «Наша маленькая жизнь». М.: Терра, 1994 (Составитель, автор вступ. статьи и комментариев В. И. Коровин) и «Чем ночь темней...» Афоризмы и эпиграммы. СПб. — Москва: Летний сад, 2000 (Составление и комментарий А.С. Иванова).

\* \* \*

Воспоминания и статьи о Дон-Аминадо печатаются по следующим изданиям: Бунин И.А. Публицистика 1918—1953 годов (Под общ. ред. О.Н. Михайлова. Вступ. ст. О.Н. Михайлова. М.: ИМЛИ РАН, Наследие. 2000. С. 262—263; Адамович Г. (1894—1972) «Чем ночь темней...» С. 405—408; Леонид Зуров (1902—1971) Дон-Аминадо (Нов журнал, 1967, № 90; Андрей Седых (1902—1994) «Далекие, близкие». М.: Московский рабочий, 1995. С. 87—91; Александр Бахрах (1902—1985) «По памяти, по записям». Париж, 1980. С. 115—119. З.А. Шаховская (1906—1996). В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 279—284.

**Дон Аминадо**  
**(А. П. Шполянский)**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

Том тридцать третий

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Художественный редактор *А. Мусин*  
Технический редактор *Н. Носова*  
Компьютерная верстка *О. Шувалова*  
Корректор *Е. Родишевская*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.  
[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

*По вопросам размещения рекламы в книгах обращаться в рекламный отдел издательства «Эксмо». Тел. 411-68-74.*

**Оптовая торговля:**

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.  
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**Мелкооптовая торговля:**

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.  
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел. (095) 780-58-34

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве:**

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.  
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.  
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.  
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.  
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.  
Москва, Волгоградский пр-т, 78 (м. «Кузьминки»). Тел. 177-22-11.

**ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА».** Киев, ул. Луговая, д. 9.  
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: [sale@eksmo.com.ua](mailto:sale@eksmo.com.ua)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:**

РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

**Сеть книжных магазинов «Буквоед».** Крупнейшие магазины сети «Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34 и Магазины на Невском, д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК»** представляет самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.05.2004.

Формат 84х108<sup>1</sup>/32. Гарнитура «Букмэн».

Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 24,36 + вкл.

Тираж 7000 экз. Заказ № 5412.

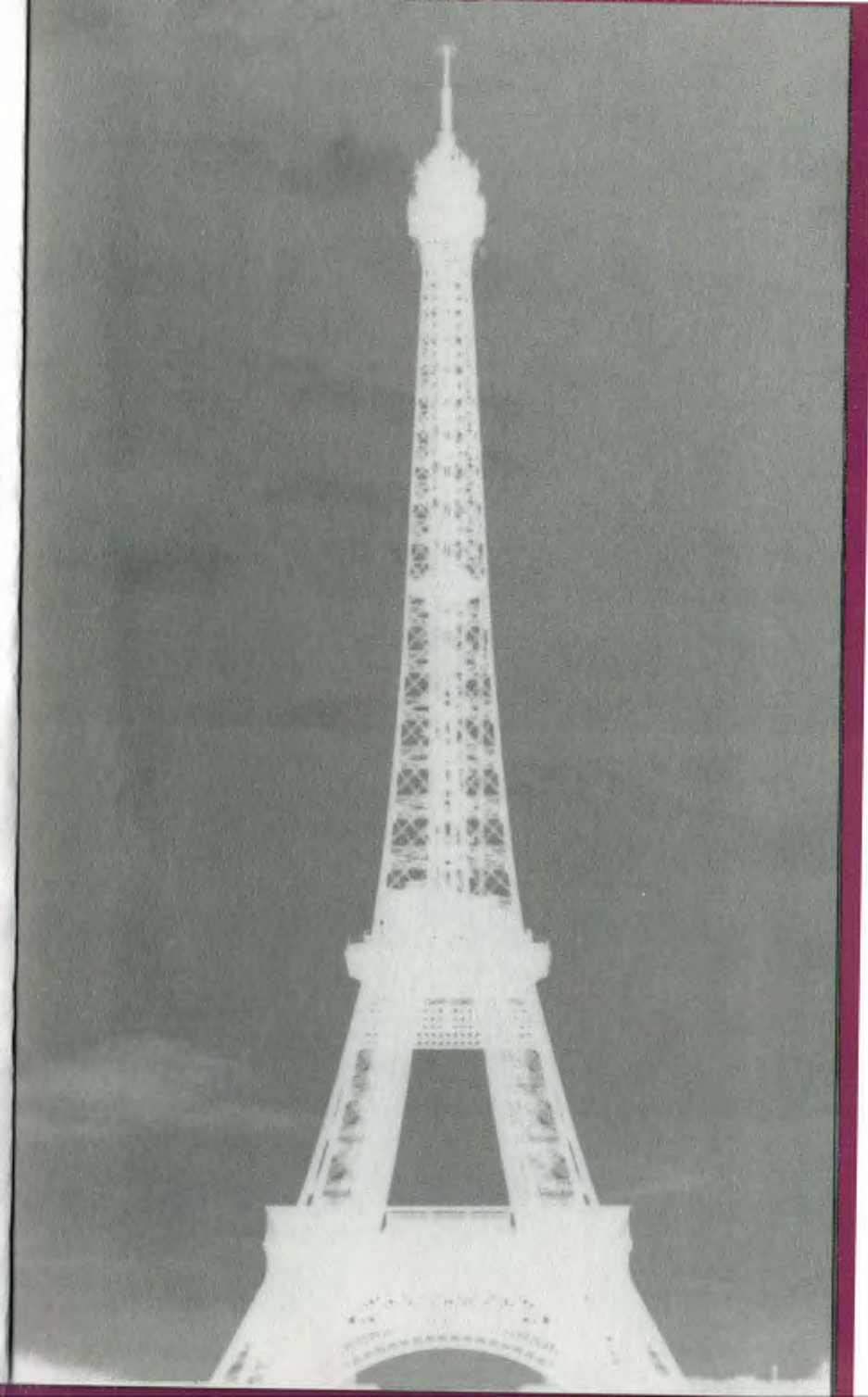
ISBN 5-699-06416-8



9 785699 064168 >

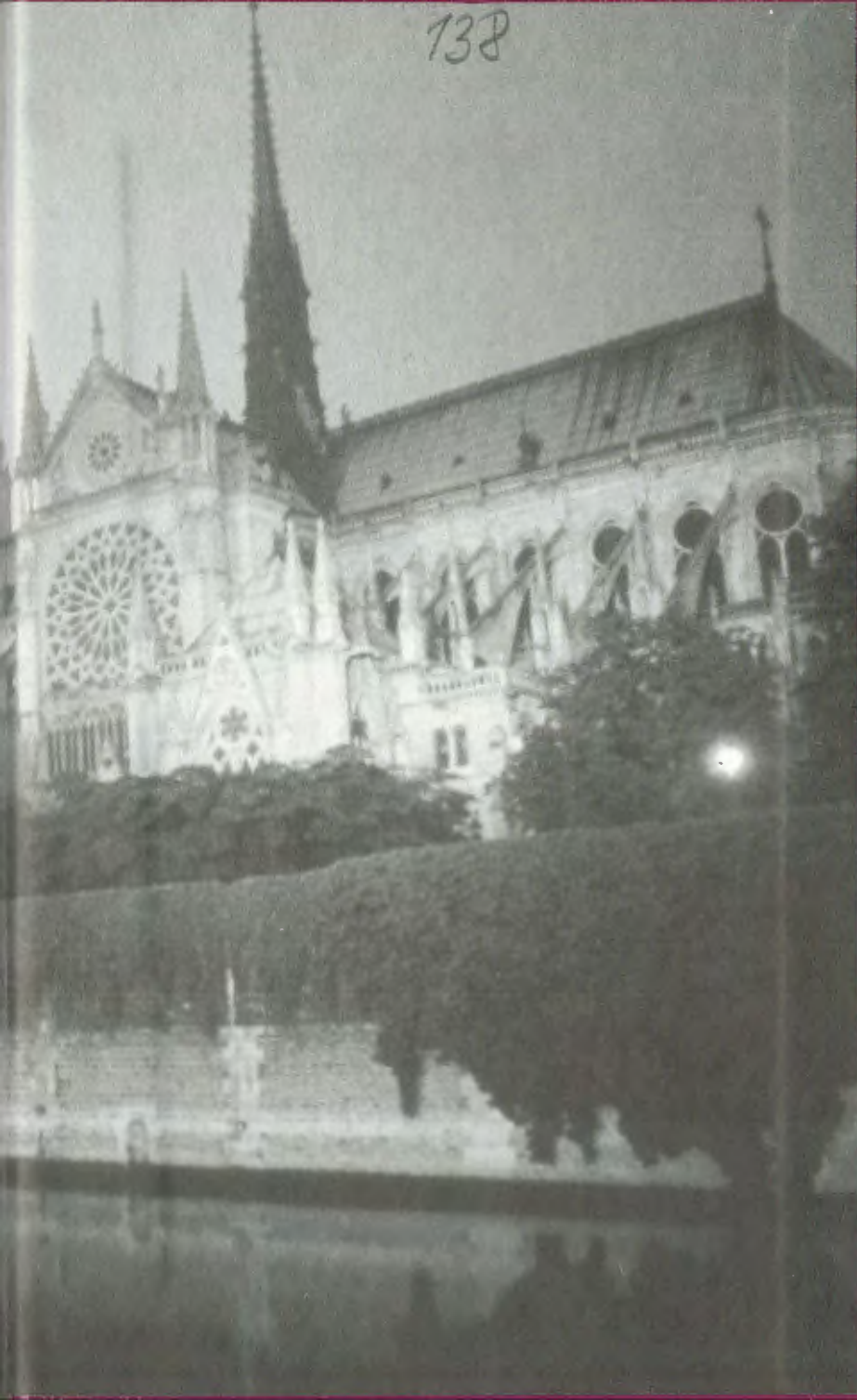
ОАО «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15  
Интернет/Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)







738





Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Дон-Аминадо

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Достаточно и трех пальм, чтобы  
почувствовать себя в оазисе,  
и достаточно одного дурака,  
чтобы почувствовать себя в пустыне.

Сначала народ безмолвствует,  
потом становится под знамена,  
потом в очередь, потом — опять  
под знамена и потом снова  
безмолвствует.

Лучше быть относительно правдивым,  
чем приблизительно честным.

Дон-Аминадо



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века